ГЕННАДИЙ СЕМЕНИХИН

КОСМОНАВТЫ ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ

ГЕННАДИЙ СЕМЕНИХИН

РОМАН

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА · 1966

Р2
С30

Автор этой книги писатель Геннадий Александрович Семенихин, перу которого принадлежат известные широкому кругу читателей романы «Летчики», «Над Москвою небо чистое» и повесть «Пани Ирена», длительное время изучал жизнь коллектива людей, готовивших первые космические старты, присутствовал в районе приземления кораблей «Восток-3» и «Восток-4», сопровождал космонавтов в ряде их поездок по стране и за рубежи нашей Родины.

Роман «Космонавты живут на земле» — первое художественное произведение о людях молодой героической профессии. Герои его — вымышленные. Вместе с тем содержание романа во многом навеяно реальной действительностью.

7-3-2
256-66

Посвящается нашим первым летчикам-космонавтам и тем, кто сделал возможными их полеты, чьи имена еще не названы человечеству

Это не история «звездного городка» и не рассказ о судьбах героев космоса, чьи имена обошли весь мир. Этот роман повествует больше о завтрашнем дне, чем о сегодняшнем, и поэтому не удивительно, что правда переплелась в нем с вымыслом и догадками. Полагаю, что люди, которые во много раз лучше автора знают детали и подробности жизни и подготовки космонавтов, не осудят его за это жестоко.

А теперь о Леше Горелове и его товарищах...

ГЛАЗАМИ АВТОРА ИЗ 19... ГОДА

Человек в оранжевом, демаскирующем его комбинезоне раскачивался под куполом парашюта. Внизу на сотни километров окрест расстилалась по-летнему знойная степь. Это была та самая степь, что приняла первых наших космонавтов. Именно на нее, твердую и безводную, кое-где кочковатую, а кое-где пеструю от высокой травы или черную от саксаула, опускался парашютист.

В голубом настое душного воздуха сверкающий комбинезон далеко был виден и самолетам, и вертолетам, кото-

рые уже искали парашютиста, да и просто всем людям, для кого эта степь была родимым краем. На козырьке гермошлема у космонавта алели крупные буквы — «СССР». Этот космонавт стартовал с того же самого космодрома, что и другие его предшественники. Только он пошел гораздо дальше их по неизвестной звездной дороге. Он первым побывал в том далеком пространстве, где не был еще никто, и первым с близкого расстояния увидел в иллюминатор своего космического корабля другую планету. На долгие годы, а если говорить точнее — на всю жизнь запечатлелась в его глазах стылая черная поверхность чужого небесного тела, изрезанная многочисленными впадинами безмолвных гор, воронками кратеров, темными безднами морей. И он, повидавший это, спешил теперь назад, чтоб рассказать обо всем людям.

Человек опускался на парашюте, и одно это уже было необычным, потому что все последние космические полеты завершались приземлением экипажей в кораблях. Но Земля на этот раз слишком волновалась за судьбу своего сына, и за несколько часов до финиша на командном пункте было принято решение, чтобы он катапультировался. Не было полной уверенности, что после встречи с метеоритами и всех перенесенных испытаний посадочная система космического корабля сработает безупречно...

Если бы человеку, который сейчас мирно раскачивался под шелковым куполом парашюта, задали года три-четыре назад вопрос — возможен ли облет нашей ближайшей соседки Луны непосредственно с космодрома, — он бы ответил отрицательно. Он знал наперечет все статьи и научные работы на русском и английском языках, доказывающие, что полет к далеким мирам возможен лишь с орбитальных космических станций. Он и сам в часы досуга рисовал такие станции и людей в скафандрах, которые в открытом космосе монтируют громоздкие корабли. Если бы его спросили (да его об этом и спрашивали на занятиях), как выводятся корабли на орбиту и как в условиях невесомости собирается по отдельным частям корабль, способный достигнуть другой планеты, он, вероятно, наговорил бы множество таких интересных вещей, что непосвященные приняли бы его за ученого, отдавшего науке десятки лет.

Но вот прошли эти три-четыре года, и молодой человек, обладавший к тому же не внушающим доверия кур-

носым лицом, на сверхмощном корабле «Заря» отправился с космодрома Байконур в трудный и опасный путь. Он получил задание облететь Луну, находясь в трехстах километрах от ее поверхности, передать на Землю телевизионные снимки и сделать записи в бортовом журнале о том, как вел себя корабль в непосредственной близости от другого небесного тела.

Несколько дней длился этот полет, и никто не был на сто процентов убежден, что завершится он благополучно. Когда на третьи сутки после старта «Заря» вышла на окололунную орбиту, тысячи газет на всех языках и во всех красках, какие только можно употребить в полиграфии, отметили это событие. Репродукторы оглушили людей коротким сообщением: «Советский ракетоплан «Заря» начал облет Луны. По предварительным данным, полет происходит по орбите, близкой к расчетной. Минимальное и максимальное удаления корабля от поверхности Луны равны расчетным».

Космонавт знал, что первый виток вокруг Луны должен был быть и единственным. Но когда наступило время уходить с лунной орбиты снова к Земле, он вдруг почувствовал сильную тряску и, взглянув на приборы, понял, что «Заря» по-прежнему прикована к Луне и начала второй виток. Скорость космического корабля изменилась, и он, похолодев, подумал, что «Заря» пройдет теперь совсем низко над незнакомой безмолвной Луной. Это уже не входило в предварительные расчеты. Космонавт попытался связаться с командным пунктом и не смог. Радиосвязь не работала.

А орбита тем временем все изменялась и изменялась... Привязанный к пилотскому креслу, космонавт прильнул к иллюминатору и увидел яркую от непонятных вспышек Луну. Холодная радуга голубого сияния росла и ширилась над ней. Это была та сторона планеты, где господствовал двухнедельный день и температура соответствовала ста двадцати градусам жары. «Лишь бы не угодить в такое пекло!» — подумал космонавт. Весь мир в эти часы говорил только о нем, но было ли космонавту от этого легче, если один-единственный, оторванный от всего живого, шел он на сближение с чужой планетой?! Боялся ли он смерти? В эти минуты бешеного полета вокруг Луны он не мог оторвать глаз от жуткой панорамы, возникавшей в овальном иллюминаторе. Он читал лунную кар-

ту, мысленно сличал ее с той, какой уже несколько лет располагало человечество, искал в ней неточности и старался их тут же запомнить. Это входило в задание.

Но в задание не входило думать о своих близких и о последних минутах, проведенных на Земле. А он думал. Что бы он ни делал — смотрел ли в иллюминатор, вел ли записи в бортжурнале или при помощи ручного управления ориентировал корабль в черном бездонном пространстве, — он не переставая думал о Земле. И ему рисовалась деревянная лестница со свежевыкрашенными сосновыми ступеньками, вспоминались минуты расставания с любимой... Над маленьким городком стлалась тогда ночь, и в темноте он скорее угадывал черты дорогого лица, чем видел его. Женщина стояла в простеньком домашнем халате с короткими рукавами. Она положила руки ему на плечи и долго их не снимала, борясь с желанием заплакать. Он и это тоже угадывал и ласково, с глухим, не очень естественным смешком сказал:

— Ты знаешь, от твоих рук парным молоком пахнет.

— Почему? — удивилась она.

— Потому что ты вся земная. Ты для меня Земля, понимаешь?

Она благодарно кивнула.

А у подъезда его уже ждала черная «Волга», и человек, сидевший за рулем машины, ничем старался не обнаружить себя, чтобы не нарушить этих последних минут прощания. Потом хлопнула дверца, и «Волга» ушла. А женщина долго еще стояла под ночным небом.

...«Заря» уходила на новый непредвиденный виток. Он промчался над Луной на достаточно большой высоте и от этого несколько успокоился. Но и на третьем витке его корабль не смог сойти с лунной орбиты. Мучительные и долгие эти витки повторились еще четырнадцать раз. А потом корабль, вышедший из повиновения, вдруг стал послушным, и космонавт взял курс к Земле. Он видел ее на расстоянии почти четырехсот тысяч километров, и, окруженная зыбким голубым ореолом, то светлеющим, то темнеющим, она и отсюда казалась сказочно красивой. Радиосвязь по-прежнему не работала, но он старался себя убедить в том, что по огромной кривой летит теперь к дому, к Земле.

Когда «Заря» прошла более половины пути, за ее бортом все осветилось яркими вспышками. Можно было по-

думать — тысячи доменных печей распахнулись в один и тот же миг, чтобы вылить расплавленный металл. Это над Луной пронеслась метеоритная буря, опаляя ее молчаливую поверхность. Мелкие метеориты все же настигли его. Внезапно словно крупный град застучал по обшивке корабля. Внутри стало жарко, и он догадался, что терморегуляторное устройство выходит из строя. Он знал, как его исправить в аварийной обстановке, и, обливаясь потом, слабея от угнетающей жары, принялся за ремонт. Стрелка термометра то становилась на свое место, показывая, что в кабине почти комнатная температура, то снова поднималась вверх.

Еще на Земле Горелов твердо знал — он идет в полет без полной гарантии, что вернется. Он был летчиком, и несколько лет назад даже в обычном тренировочном полете смерть едва не подкараулила его. Тогда он ее избежал. Сейчас он тоже делал так, чтобы все обошлось хорошо. Усталость родила какое-то необычное спокойствие, и космонавт опасался, как бы оно не перешло в апатию. Нет, он не боялся погибнуть, но теперь ему очень хотелось доставить на Землю пленку кинофильма и бортовой журнал, снова подняться по сосновым ступенькам и еще раз сказать любимой женщине, что ее руки пахнут парным молоком.

Почти двое суток не было радио- и телесвязи. Но когда в иллюминаторе померкли последние отсветы метеоритных вспышек и до цели осталось менее пятидесяти тысяч километров, Земля с ним снова заговорила. Он и представить себе не мог, как она его ждала и тревожилась. Он еще боролся с усталостью от длительной невесомости и перенесенных испытаний, а сотни радиостанций и телевизионных установок дарили народам мира его голос и размытое на экранах изображение лица. Он отчаянно сражался за жизнь, продолжая регулировать расстроившуюся термоустановку, грозившую впустить в ограниченную металлическую пилотскую кабину поток жары, сметающей все живое, а в далекой знойной Алабаме томная негритянская певица уже пела грудным контральто модную, сразу облетевшую все континенты песенку: «Ты лети к Земле, курчавый бэби...» Где-то в Канзасе спичечный король уже выпустил первые миллиарды коробок с его изображением, а итальянские виноделы обсуждали крепость нового сорта коньяка, которому было дано его

имя. В центре Мюнхена завсегдатаи кафе и сосисочных отставляли от себя тяжелые кружки с темным пивом, когда передавался очередной сеанс радиосвязи с ним. В эти минуты замирало движение на Бродвее, на Елисейских полях и у знаменитого Бекингемского дворца, и даже невозмутимый венецианский лодочник, которому до смерти надоело возить туристов, сушил весла, показывая большой палец:

— Горелов брависсимо!.. Горелов бьен... виктория... карашо!

И только на его родине все выглядело серьезнее и проще. Она словно бы притихла, смятенная тревогой, когда космический корабль потерял связь. Не было на ее бескрайнем пространстве ни одного равнодушного. В полярной тундре два каюра, мчавшиеся навстречу друг другу по ледяному полю, останавливали свои упряжки только затем, чтобы разжечь трубки, и, прессуя табак одеревеневшими от мороза пальцами, спрашивали:

— Радио еще не говорит?

— Молчит парень.

— Неужели случилось с ним что-нибудь?

— Не может. Пока что все наши ребята возвращались на Землю. Поди, уже откочевал от Луны.

— Э-ге-й! Далеко еще ему до Земли кочевать.

И снова в хрупком настое полярного воздуха звенели колокольчики и трудолюбивые лайки в разные стороны уносили упряжки.

У горячих мартеновских печей в эти тревожные часы тоже бывал перекур, и седоусые мастера окружали плотным кольцом агитатора так, чтобы он не мог выбраться. Агитатор, обычно какой-нибудь вихрастый парнишка, которому еще и в подручные-то было рано, отводил стыдливо глаза, покашливал. Да и что он мог сообщить, если все радиостанции хранили тревожное молчание...

— Ну, так что ты нам скажешь?! — обрушивался на него кто-либо из пожилых мастеров.

— Если насчет новой гидростанции или годового плана по нашему заводу...— вывертывался хитровато парнишка.

— Да я тебя не про годовой план спрашиваю. Мы его сами как-нибудь выдаем! — гремел в ответ голос. — Я про Горелова хочу знать.

— Про Горелова... — вяло тянул парнишка. — Так я же о нем не больше вашего знаю.

Кольцо размыкалось, и молодой агитатор виноватой походкой уходил от своих товарищей по цеху, словно он был причиной того, что нет связи с Гореловым... Все эти люди, не имевшие прямого отношения к судьбе космонавта, и вообразить себе не могли, сколько горечи, опасений и еще неясных надежд переживали в эти часы те, от кого зависел исход полета Горелова. На всех контрольно-вычислительных пунктах ни на секунду не затихала работа. Сотни самых сложных и совершенных машин искали в необъятном космосе корабль, чтобы удерживать его постоянно на экране. Шли экстренные заседания ученых и главных конструкторов, на которых знатоки космонавтики решали, как помочь «Заре» завершить сложный полет и благополучно возвратиться на Землю. Конструктор этого корабля дни и ночи не смыкал глаз. Беспокойными нервными шагами расхаживал он по кабинету и, вглядываясь в сереющий за окном рассвет, думал о Горелове.

Земля принимала все меры, и она победила.

На рассвете в кабинет Главного конструктора ворвался ответственный дежурный. На его усталом бледном лице сияла не оставлявшая сомнений улыбка.

— Появилась связь? — спросил Главный конструктор.

— Так точно, — доложил дежурный. — Горелов передал, что отрегулировал термоустановку.

— Температура в кабине?

— Двадцать шесть градусов.

— Превосходно. Состояние?

— Пульс и дыхание удовлетворительны.

Главный конструктор опустился на диван, тихо сказал дежурному:

— Открой пошире окно, Егорыч. Не видишь разве, какой сегодня рассвет?

А в восемь утра, когда было передано короткое сообщение и люди узнали, что радиосвязь с кораблем «Заря» возобновилась, ликованию не было границ. Это ликование ворвалось и в черный космос, в небольшую кабину корабля, только что прошедшего сквозь все радиационные пояса. Вращая ручку динамика, Горелов словно бы листал огромную книгу, перебирая короткие и длинные волны. Пестрая смесь шумов, прорезаемых то оркестрами, то песнями, то горячими речами на митингах, оглушила его, и от одного сознания, что окончилось наконец почти

двухсуточное грозное одиночество, что Земля вновь заговорила, ему, усталому и обессиленному, стало покойно. Алексей улыбался, слушая веселую неразбериху эфира:

«...Трудящиеся Карагандинской области досрочно закончили внеплановую смену, на которую вышли в честь выдающегося полета к Луне нашего соотечественника летчика-космонавта Алексея Горелова».

«...Колхозники Тарасовского района, Ростовской области...»

«...Ахтунг, ахтунг, камрад Горелоф...»

«...У краковского рабочего Янека Бронского родился сын. Он назвал его Алексеем в честь космонавта».

«...Миллионер Джек Белл назвал только что отстроенный на берегу Атлантического океана отель-пансионат — «Луна». Самый дорогой семикомнатный номер будет носить имя советского космонавта Алексея Горелова».

«...Советские судостроители присвоили имя Алексея Горелова...»

«...Ты лети к Земле, курчавый бэби...» — пела негритянская певица.

Потом все смолкло, и он услышал голос своего командира — Сергея Степановича Мочалова. Генерал, видимо, очень волновался, потому что никогда раньше Горелов не слыхал, чтобы он заикался.

— «Заря», я — «Родина»... Мы тебя ждем. Посадка будет обеспечена всеми мерами безопасности... А сейчас тебя дадут по телевидению. Будешь говорить с членом правительства.

Усталым тихим голосом Горелов отвечал члену правительства, посылал приветы народам своей страны. И когда посылал эти приветы, думал о своих близких друзьях: о Юрии Гагарине и генерале Мочалове, о Володе Кострове и Марине Бережковой, об оставшихся на Земле Жене Светловой и Андрее Субботине... И еще вспомнился ему далекий авиагородок, приютившийся на излучине Иртыша, лесенка с деревянными ступеньками и любимая женщина. Он представил, как будут в эти часы ломиться к ней журналисты, а она, самая ему близкая и единственная, та, что знает последние перед отъездом на космодром его слова и мысли, гордо и холодно выйдет навстречу и, тряхнув высокой прической, скажет:

— Огорчу вас, дорогие товарищи. О космонавте Горелове ничего рассказать не могу. Не по адресу обратились.

Он еще раз усмехнулся, представив, как она будет певуче выговаривать все гласные.

А потом снова последовали команды от генерала Мочалова и Главного конструктора «Зари», донесся ободряющий голос Юрия Гагарина и, наконец, приказ перейти на ручную систему управления.

Перед его лицом, чуть поодаль, так, чтобы было удобно глазам, была расположена приборная доска с аккуратно вмонтированными в нее глобусами Земли и Луны. «Луна» была уже выключена, а основной глобус, так хорошо с детских лет известный каждому, действовал. Передвигая две небольшие ручки, Горелов мог с предельной точностью определить свое местонахождение. Он был еще над Африкой, когда ответил генералу Мочалову:

— Вас понял. К вхождению в плотные слои атмосферы готов.

Неясная тревога охватила его. Сутками длился этот тяжелый полет, далеким казалось возвращение, и, пока требовалось бороться за судьбу корабля и свою судьбу, он был почти спокойным. Но сейчас «Заря» находилась над той небольшой африканской страной — предшественники его начинали спуск. Все они благополучно приземлились. «А я?» — прошептал Горелов.

Всего несколько минут оставалось в его распоряжении до того момента, когда он должен покинуть корабль. Он опробовал крепления ремней, связывавших его с пилотским креслом. Принимая последний раз пищу, Горелов неосторожно разломил бутерброд, и теперь несколько крупных крошек плавали над его головой в кабине. Это было опасно — крошки могли попасть в дыхательное горло. Он достал небольшой пылесос и несколько секунд гонялся за ними. Потом посмотрел на показания прибора, регистрировавшего облучение. Нет, космическая одежда выдержала, и беспокоиться было не о чем. Он все сделал, все предусмотрел. И все-таки не в состоянии был побороть волнение. Уже не было в кабине изнуряющей температуры, к которой ни одна термокамера не могла заранее подготовить человека, спокойным и ясным казался весь остаток пути, а тревога росла и росла.

— «Заря», вы вошли в плотные слои, — донесся с Земли голос Главного конструктора, проговорившего эти слова настолько ровно, что Горелов даже вздрогнул от удивления.

«Неужели они так спокойны и ни капельки не тревожатся за мое приземление? — спросил он себя. — Видимо, на Земле даже не могут представить, что я увидел и пережил за эти сутки».

Как и у всякого человека, счастливо избежавшего многих опасностей, громкий внезапный стук способен порой вызвать шоковое состояние, так и у Алексея Горелова момент отделения от корабля вдруг пробудил непонятную нервозность. Сколько раз он готовился к этому, совершая парашютные прыжки и удачно приземляясь при самых различных изменениях ветра и облачности на самые различные площадки, узкие и порой неудобные. Он был единственным из маленького отряда космонавтов, кому парашютная подготовка давалась так легко. Но сейчас, после перенесенных испытаний, он с тревогою думал: «А что, если случится беда? Сломанные ноги, а то и разбитая голова! Как тогда потомки помянут меня, космонавта, не сумевшего донести до человечества первые сведения о Луне!»

Шли секунды вхождения в плотные слои атмосферы, когда сгорала термоустойчивая обшивка и за бортом «Зари» бушевала температура в десять тысяч градусов. Космонавтам, отправляющимся в полет, настойчиво рекомендовали не открывать в этих случаях шторки иллюминатора. Алексей знал, что многие из его предшественников все же нарушили этот наказ, и тоже поддался искушению. Нажав указательным пальцем кнопку, он заставил шторки разойтись в стороны и жадно прильнул к литому жароустойчивому стеклу. Сказочными фиолетовыми и красными языками металось за обшивкой корабля пламя, съедая остатки термозащитного слоя. Это зрелище трудно было с чем-либо сравнить. Но странное дело — багровые всполохи огня успокаивающе подействовали на космонавта. Все вдруг стало гораздо проще, и склонный к юмору Леша Горелов неожиданно подумал: «Я же не тринадцатый командир космического корабля по счету, а двадцатый. Если тринадцатый пробился сквозь такие бушующие языки и не сгорел, — двадцатый сгореть не имеет права!»

И он опять нажал кнопку. Шторки задернулись. А потом пришла с Земли команда приготовиться к прыжку, и космонавт проделал все от него зависящее, что должно было предшествовать отделению от корабля. Залпа ката-

пультного устройства он почти не ощутил, до того задубели нервы. Да и притом длительные тренировки на центрифуге приучили и не к таким перегрузкам. Просто он увидел над собою ярко резанувшее по глазам ослепительное голубое небо — как говорится, без единого облачка — и вспомнил, как жаловались на здешнем аэродроме летчики на то, что им не хватает в году пасмурных дней, чтобы отработать программу обучения в сложных метеорологических условиях. «Поэтому нас, космонавтов, тут и выбрасывают», — отметил он про себя.

Щелчок рукоятки — и металлическое кресло освободило его. Показалось, даже купол парашюта облегченно вздрогнул от жаркого голубого карагандинского воздуха. Алексей увидел внизу кустики саксаула, желтые бугорки песчаных дюн, пестрый горькополынный травяной покров. Он был летчиком и имел зоркие глаза. Взгляд его охватывал степь на десятки километров вокруг с жадным любопытством и волнением. «До чего же ты красивая, Земля!» — чуть не воскликнул Горелов.

И тут же вспомнил, какой выглядела она, когда «Заря», подчиняясь движению рулей ручной автоматики, вписывалась в лунную орбиту. Оттуда родная планета казалась желто-голубым шаром. Такой она была на всем протяжении полета от Луны назад, когда вырастала в своих очертаниях. Голубой ореол вокруг нее не менялся, только становился все ярче да ярче. «Любая — ты хороша! — прервал себя Алексей. — Голубая, желтенькая, серая. Важно, что ты послала меня ввысь, а теперь принимаешь назад в строгом соответствии с законом всемирного тяготения. Вот я и опять твой».

Мерно раскачиваясь под шелковым куполом парашюта, Горелов смотрел вниз, на степь, на тянувшийся в стороне кишлак с низкими саманными постройками и несколькими кирпичными домами. Если бы кто-нибудь из репортеров смог увидеть сейчас, каким было его лицо под твердым козырьком плексигласа, опущенным в гермошлеме, он никогда не написал бы наивных строк о ребячливой веселости и необыкновенной бодрости космонавтов, возвращающихся на Землю. Он увидел бы смертельно уставшего человека с темным лицом и отеками под глазами, обросшего бородой, очень некрасивого, потому что лицо его сейчас походило на неподвижную, застывшую маску, и только в глазах отражалась огромная работа мысли.

Да, это спускался Человек. Человек, облетевший Луну, первым проникший в ее таинственное пространство. Он еще не ступил подошвами твердых, подбитых специальными шипами ботинок на родную землю, но был уже навсегда на ней прославлен.

Впрочем, об этом сейчас ему некогда было думать. Земля проближалась. Горелов отметил, что ветер несколько изменил направление и относит его южнее, чем он предполагал, к небольшому сероватому озерцу, видневшемуся среди нескончаемой жаркой равнины. Мимо озера, петляя, шла профилированная дорога. Была она из тех, что славятся обильно взлетающей пылью, иначе бы космонавт ни за что не заметил бы длинного шлейфа за мчавшейся по этой дороге автомашиной. «Это еще не за мной, — отметил он, — за мной не могли так скоро».

Подтягивая стропы, он начал управлять парашютом перед приземлением. Уступая напору жаркого воздуха, послушно заколебался над его головой серебряный купол. Алексей дернул за шнурок на гермошлеме, и тотчас же бесшумно скользнул вверх твердый козырек, защищавший его не так давно и от высокой температуры, и от космических лучей. В лицо плеснулся прохладный на высоте родниково чистый воздух. Ярче заиграли перед глазами степные краски.

Горелов отметил: на часах, прикрепленных к левому рукаву оранжевого опознавательного костюма, было ровно двенадцать. Легкий удар ногами о твердую землю отозвался в голове веселым звоном. Космонавт упал на высушенную ветрами и солнцем травку, соревнуясь с упрямым ветром, стал гасить купол парашюта. Он легко выиграл это соревнование. Грудой ласкового шелка стал на его глазах парашют.

— Живой! — выкрикнул вдруг космонавт, поддаваясь неожиданному приливу буйной радости, овладевшей им после только что пережитого волнения. — Живой! Я, Алешка Горелов, вернулся!!

Лежа на животе и не снимая мягких перчаток, он изо всей силы забарабанил кулаками по давно не знавшей дождя, потрескавшейся от солнца земле. Потом рупором поднес ко рту ладони и что есть силы закричал, сотрясая жаркий воздух:

— Зе-емля! Я на Земле! Жив! Здравствуй, старенькая!

После опасностей, пережитых им в одиночестве, и утомительного состояния длительной невесомости ему сейчас безудержно хотелось радоваться. Космонавт слушал, как его хрипловатый голос далеко разносится по степи.

— Вот мне и ответила Земля. Эхом ответила! — снова засмеялся он. — Интересно, кто же меня встретит первым?

Удобно вытянув замлевшие ноги, Горелов не торопясь снял перчатки, расстегнул оранжевый, уже совершенно ненужный ему демаскирующий комбинезон. Его движения стали точными, и только быстрота их выдавала еще не прошедшее окончательно волнение. Можно было подумать, будто он в учебном классе, под руководством инструктора выполняет упражнение по подгонке космического костюма. Комбинезон мягко упал на землю, и теперь Горелов выглядел белоснежным, потому что под демаскирующим его нарядом был другой — мягкий защитный костюм. Он дернул застежки-«молнии», сбросил и его. Затем медленно встал на ноги и опасливо сделал шаг, второй, третий...

Нет, они были твердыми, первые его шаги по земле! Только звенело что-то в ушах. А может, это пели степные жаворонки. Большой черный орел низко и медленно пронесся над ним, распластав широкие крылья. Видимо, гордого кочевника возмутила пестрая одежда космонавта, потому что он буквально повис над его головой и застыл на какое-то время. «Совсем как на картине», — подумал Горелов и вспомнил о своем этюднике и о не законченном перед стартом портрете любимой женщины.

Рации у него не было, а уже полагалось дать о себе знать. Он достал из комбинезона ракетницу и хотел послать в небо зеленый огонь, но услышал гудение мотора. Прямо по целине к нему мчалась голубая «Волга», невероятно подпрыгивая на солончаковых неровностях. Наверное, у водителя во время этих прыжков не раз вырывалась из рук баранка, но вопреки всему машина продолжала упрямо продвигаться вперед. Ее капот, увенчанный белым оленем, был уже в нескольких метрах, когда Горелов разглядел, что машиной управляет женщина. Ему и от этого стало весело — он всему сейчас радовался.

Да и не могло быть иначе, потому что он был летчиком. А летчики быстро отходят после любых потрясе-

ний и любят шутить, где бы они ни находились: в столовой ли, на аэродроме, у себя дома или в воздухе. Даже там, переговариваясь по радио, нет-нет да и отпускал кто-либо из них шутку, за что потом, на земле, получал от командира взбучку.

Губы космонавта сушил знойный ветер, врывавшийся в открытый гермошлем. Они дрогнули в мягкой улыбке. «Вот и появился человек, который встречает меня первым, — обрадованно подумал он и тут же шутливо пробормотал: — Вот тебе на! Откуда эту нимфу несет ко мне по бездорожью?»

Машина затормозила и тотчас же оделась облаком душной пыли. Хлопнула дверца, и худенькая девушка в спортивных брюках и курточке на «молнии» подбежала к нему. Ее светлые кудряшки прилипли к потному лбу. На левой щеке виднелось небольшое пятнышко крови. Она восторженно улыбалась, едва удерживаясь, чтобы не броситься ему на шею.

— Товарищ Горелов... Алексей Павлович! Простите, но это же, конечно, вы!

Космонавт громко рассмеялся. Ему было сейчас бесконечно приятно стоять на земле, широко расставив ноги, и видеть перед своими глазами молодое счастливое лицо этой неожиданно появившейся девчонки.

— Вы догадливы, — заметил он.

— Да при чем тут догадливость! — воскликнула девушка. — Я вас столько ждала... то есть, простите, конечно, не только я, а все люди. А тут счастливый случай — еду на нашей изыскательской машине за почтой и вдруг вижу, спускается на парашюте в оранжевом комбинезоне человек. А по радио уже сообщили. Ясно, что вы. Я как хватила напрямик... Может, вам надо оказать какую помощь? Я не только шофер, я и фельдшер в нашей экспедиции. Вера Чупракова — моя фамилия.

Горелов развел руками.

— Нет уж, милая девушка. Это я должен вам оказать помощь. Смотрите, у вас и лоб и щеки в царапинах.

— Да это пустяки, — потупилась она конфузливо, — дорога, сами видите. Отказываюсь от медпомощи.

— Тогда подойдите поближе, — настаивал Горелов.

— Зачем? — смешалась она.

— Да расцелую я вас, Вера Чупракова! — закричал

он радостно и так громко, что она даже оглянулась по сторонам. — Вы же первая землянка, которую я вижу. Сами должны понимать, как это приятно после стольких часов одиночества!

Не дожидаясь согласия, космонавт притянул к себе растерявшуюся девушку, но тут же понял, что гермошлем помешает ее поцеловать. Он все же обнял ее, и так крепко, что она даже вскрикнула.

— Ладно, ладно, — весело сказал Горелов, — больше не буду, а то ваши косточки действительно затрещат. И не смущайтесь. Я же это по-братски. Если бы вы знали, как мне приятно слушать сейчас человеческий голос! Лучше всякой музыки, честное слово! Вы говорите... Говорите как можно больше, о чем угодно, а я буду слушать... только слушать.

Но Вере Чупраковой не пришлось выполнить его просьбу. Над их головами в эту минуту зародился неясный нарастающий гул. Низко над степью, отбрасывая легкую, не поспевавшую за ним тень, пронесся белый реактивный истребитель, такой короткокрылый, что показался стрелой в оправе. Сделав крутую «горку», самолет взмыл к солнцу, а с трех сторон стали приближаться с рокотом вертолеты. Один из них, окрашенный в синий цвет, начал снижаться. Горелов неотрывно следил за ним.

— Это за вами, — прошептала девушка. — А сфотографироваться вместе вы позволите?

— Конечно, — похлопал он ее по плечу. — Как захотите, так и буду позировать.

Вертолет уже повис над ними. Было видно, как четырехлопастный винт мелькает в воздухе. Распахнулась дверца, и чья-то рука сбросила вниз узкую веревочную лестницу. В небольшом проеме двери показался один человек, за ним — другой. Оба они сошли на землю. Первый, высокий и сутуловатый, был военврач. Узнал Горелов сразу и второго. Моложавый, но уже начинающий полнеть генерал, в темных защитных очках и полевой гимнастерке, бросился к нему бегом, не разбирая дороги, не замечая ни такой неожиданной здесь голубой «Волги», ни растерявшейся вконец девушки. Тяжело дыша — скорее от волнения, чем от бега, — генерал остановился в трех шагах от Алексея и, растопырив для объятия руки, сказал:

— Иди сюда!

Горелов не двинулся с места. Он поднял ладонь к нагретому солнцем гермошлему и, как того требовал устав, начал рапортовать:

— Товарищ генерал, на корабле «Заря» летчик-космонавт Советского Союза майор Горелов...

Он должен был коротко сообщить о том, что завершил первый в истории человечества облет Луны, произвел киносъемки и в тяжелых условиях отремонтировал терморегуляторную установку, а теперь вернулся на родную землю и готов к любым новым заданиям. Но уставной рапорт не получился. Алексей вдруг вспомнил, как бушевали в черном бездонном космосе губительные солнечные вспышки и какой отчужденно холодной была поверхность Луны, когда он делал вокруг нее непредвиденные витки... И — осекся, ощутив, как неожиданный комок стиснул горло. Он не понял, отчего взмокло лицо: от непрошеных слез или от пота. Он глотал воздух, стараясь побороть паузу. Но генерал не принял необходимого в таких случаях положения «смирно», так и остался стоять с широко разведенными руками. Потом сделал еще один шаг к нему и требовательно, совсем уже, что называется, генеральским баском повторил:

— Ну, иди, что ли, Алешка... кому говорю!

Горелов бросился к генералу, ткнулся ему в грудь жестким гермошлемом, вдохнул запах полевой гимнастерки, поблекшей уже от здешнего солнца.

— Спасибо, Сергей Степанович! — сдавленно воскликнул он. — Всем спасибо...

И ему представилась вся его еще не очень большая, но вовсе не легкая и не простая жизнь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ РОДНОГО ПОРОГА

В мае 1961 года первый космонавт мира Юрий Гагарин, возвращаясь в Москву, должен был проехать по пути небольшой исконно русский городок Верхневолжск. У каждого города своя судьба и своя биография. Есть она и у Верхневолжска, уютно прилепившегося к правому берегу Волги на небольшой ее излучине, после которой она выпрямлялась и несла пароходы, буксиры и самоходки-баржи вниз к Костроме, Ярославлю и дальше до самой Астрахани. Ближайшая от того места, где когда-то возник городок, железнодорожная станция — за тридцать километров. Леса местами выбегают здесь на оба волжских берега, и в тихоструйных водах постоянно купаются отражения берез, сосенок и черных, гордых в своей непоколебимости дубов. Как не похожи друг на друга были эти деревья! Березки, например, всегда стояли словно озорные подбоченившиеся девчата, насмешливые ко всему происходящему на их глазах. Сосны высились над ними спесиво и, шурша мохнатыми ветвями, рассказывали порой такие небылицы, что тем хоть со стыда сгорай. Каждая из них — ни дать ни взять как свекровь, случайно попавшая на сходку молодых девчат, в число которых затесалась и ее собственная сноха. Дубы стоят

величаво и молчаливо, убежденные в своей вечной мудрости, считая недостойным для себя судить тех или других.

Сказывали, что когда-то давно леса эти насадил вернувшийся из ссылки русский инженер. К семье в Петербург, по указу царя, его больше не допустили, и он скоротал свою жизнь на этих берегах, в чахотке и исступленных заботах о молодых лесонасаждениях. Так это было или не так, судить теперь трудно, но вымахали замечательные эти леса, дожили до наших дней и стали такой гордостью Верхневолжска, что на заседаниях местного исполнительного комитета на тему об их охране была произнесена не одна горячая речь и сочинен не один протокол.

На картах крупного масштаба Верхневолжск отсутствует. Однако это вовсе не означает, что его летописцам и рассказать-то не о чем. Много лет назад по всей Волге, от верховья и до устья, славились его искусные сапожники. Сапоги, хоть юфтовые, хоть из хрома, хоть с напуском и шикарными короткими голенищами, или модные дамские ботинки с высокой шнуровкой, местные умельцы делали так, что не один заезжий купчик богател на заказах и поставках. А квас, которому не было равного ни в Твери, ни в Нижнем Новгороде! А медовуха и брага, появлявшиеся по праздникам! Да и пряники местные со штемпелем известного по всей Волге купца Буркалова тоже что-то значили, хоть и были похуже вяземских и тульских.

Это был местный воротила, владевший верхневолжскими капиталами. И над пакгаузами пристани, и над пивоваренным заводом, и над единственной в городе деревообделочной фабрикой висели железные и деревянные вывески с намалеванной аршинными буквами его фамилией. И никаких «и сыновья» или «и К°» в придачу к ней на вывесках не значилось. Просто — «Буркаловъ И. Г.» и все тут. Купец щеголял в грубых холщовых рубахах и юфтовых подкованных сапогах, запросто поднимал с грузчиками огромные тюки, если надо было для вдохновения показать им «русскую силушку». Был он в меру богомольным, но, когда входил в запой, поминал господа бога такими словами, что местный отец Амвросий не раз поговаривал об отлучении его от церкви. Доходили эти разговорчики и до самого Игната Гав-

риловича, и когда в пьяном виде встречал тот духовника, то издевательски потрясал толстенным, набитым до отказа сторублевками бумажником из заморской крокодильей кожи и несусветно орал:

— От бога меня грозишься отлучить, длиннобородый! Накось, выкуси. А вот это видел?! Да я за эти червончики какого хошь себе бога выберу, хоть языческого, хоть лютеранского!

Высокий, нескладный отец Амвросий дрожащей рукой спешно осенял себя крестным знамением, мотал головой:

— Изыдь, окаянный, анафема тебя забери! В аду синим пламенем гореть будешь.

— Что? — хохотал купец. — А ты видал, каким синим пламенем моя буркаловская водка горит? Да такого ни в аду, ни в раю не сыщешь, долгогривый!

Буркаловские запои, или, как он сам их именовал, «циклы», доходили обычно до десяти дней. Потом с вытаращенными рачьими глазами приползал он из какого-нибудь притона, заросший и весь сгорающий от озноба и, ни к кому не обращаясь, твердил:

Свят, свят, свят,
От мозгов до пят.
Брысь, не наводись...

Его управляющий, тонкий и чопорный немец Штаубе, называл этот момент «наваждением» и удовлетворенно потирал руки, потому что хорошо усвоил, что бросивший на время все свои дела Буркалов после «наваждения» крикнет своей дряблой, увядшей жене коротко, но повелительно:

— Мать! Березовый веник!

После лютой бани, смывавшей бесовскую алкогольную накипь, Буркалов целый месяц работал как вол, питался одними крепкими щами да гречневой кашей с парным молоком, вплоть до вступления в очередной «цикл».

Рассказывали, будто бы однажды по прошествии серьезного и более затяжного, чем все предыдущие, «цикла» Игнат Гаврилович почувствовал себя плохо и слег. Вызвав фельдшера, велел поставить двойную дозу банок. Но и банки не помогли. Тогда не на шутку обеспокоенный Буркалов на лихой тройке доехал до чугунки и с первым же поездом отправился в Питер. Там он пришел на прием к знаменитому, на весь мир известному доктору.

— На что жалуетесь, почтенный? — спросил его седой старик с умными, насмешливо скользнувшими по одутловатому лицу Буркалова глазами.

— Да вот в грудях какие-то хрипы появились, — сознался верхневолжский магнат, — одолевают.

— А ну-ка, разденьтесь до пояса.

Купец разделся, и доктор долго выслушивал через стетоскоп его могучую волосатую грудь.

— Вопрос к вам один, почтенный, — жестяным голосом сказал знаменитый доктор. — Опишите хотя бы кратенько свой образ жизни.

— Это весьма легко, — согласился Буркалов. — Образ жизни у меня, значит, как и у всех купцов. Я не какой-нибудь там небокоптитель, мне каждая копейка дорога. Месяц как проклятый работаю, ну а после, дело известное, — десятидневный цикл. Потом опять месяц... Купец не ангел.

— Вот и продолжайте вести подобный образ жизни, — посоветовал доктор. — До ста лет проживете.

Однако дожить до ста лет Буркалову не пришлось. Когда грянула Октябрьская революция, в маленьком, затерявшемся в дремучих просторах России Верхневолжске было еще некоторое время тихо, и только на деревообделочной фабрике несколько наиболее грамотных рабочих стали поговаривать, что не худо бы учредить местный Совет, как это сделано в других городах, дать Буркалову и нескольким другим, более мелким богатеям по шее да и зажить по-новому. Сам купец находился тогда в завершении очередного «цикла». Когда ему, посиневшему от пьянства, втолковали в трактире постоялого двора о том, что произошло в Питере, купец побледнел, вызвал к себе управляющего Штаубе и, матерно выругавшись, сказал:

— Ну вот что, господин иностранец. Бери десять тысяч целковых и сматывай на все четыре стороны. Думаю, что западная подойдет тебе лучше всего. А мне самую лучшую тройку заложи. Цыгана поставь коренником. На фабрику поеду. С рабочими хочу объясниться.

И, выпив для лихости со своими забубенными собутыльниками еще четверть водки, въехал Буркалов на фабричный двор, где его уже ждала сурово притихшая толпа.

— Люди! — дико закричал он. — Каюсь перед вами. Нету для меня ни ада, ни геенны огненной. Был я дейст-

вительно эксплуататором, грабил вас и наживался на вашем труде. Люди, берите все, что у меня есть, потому что это ваше. Берите фабрику и все мои капиталы, берите баржу и мельницу. Ненадобно мне трех каменных домов и двух флигелей. Оставьте только одну каморку да в простые рабочие, а то и в грузчики определите, если сочтете возможным.

С этими словами сел Буркалов на тройку и уехал заканчивать свой очередной «цикл». И никто не знал, о чем в ту пору думал первый богач Верхневолжска, потому что сентиментальностью он не страдал, дневников никаких не вел и писем покаянных не писал. Но когда наутро члены только что созданного первого городского Совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов, посудив и порядив, решили объявить купцу свою волю — признать его эксплуататором, но за чистосердечное раскаяние и публичное отречение от своих, на горе народном нажитых капиталов в домзак не заключать, а допустить к физическому труду на фабрике во благо молодой Советской республики — и поехали в трактир постоялого двора, их встретил бледный, встревоженный половой.

— Нам немедленно Буркалова!

— Нельзя-с, — дрожащим голосом ответил половой.

— То есть как это нельзя-с? — передразнил его старый краснодеревщик Мешалкин. — Или не видишь, что перед тобой весь Совет рабоче-крестьянских депутатов.

— Вижу, но только все равно нельзя-с к Игнатию Гаврилычу.

— Да по какой же это причине? — гремел Мешалкин.

— А по той самой причине, — бледными губами пояснил половой, — что они-с, то есть Игнатий Гаврилыч, в настоящее время находятся в петле-с. Замертво.

— Ну! — только и выдохнул краснодеревщик. — Значит, не совладал он со своей совестью все-таки.

— Совесть совестью, — прибавил переплетчик Лысов, — но и кровушки-то народной он досыта попил. Похоже, и в Волге воды прибавилось от горемычных мужицких слез. Не одну сотню людей пустил Буркалов по миру...

А на следующий день над лабазами, мельницей, фабрикой и пароходством с грохотом, под народное «ура»

уже сбивали тяжелые железные и деревянные вывески, на которых с твердым знаком на конце красовалась одна и та же надпись: «Буркаловъ И. Г.»

Новые рассветы и новые песни пришли в древний Верхневолжск. Гражданская война не обошла его стороной, оставила и шрамы свои. В городском сквере появилась красноармейская братская могила с белой мраморной плитой. А над высоким правым берегом вырос через несколько лет памятник первому председателю горсовета, убитому из-за угла кулаками. После Великой Отечественной невдалеке от центральной площади, все в том же скверике, где были похоронены герои гражданской войны, появился скромный бюст летчика-штурмовика, уроженца города: на горящем самолете он врезался в танковую колонну фашистов. Напротив этого бюста была воздвигнута Доска передовиков промышленности и сельского хозяйства. И бронзовый летчик прищуренными глазами как бы одобрительно глядел на нее...

Главная буркаловская фабрика разрослась и стала предприятием областного значения. Появились еще две фабрики: обувная и ткацкая. Педагогический и зооветеринарный техникумы наводнили город ребятами и девчатами из близлежащих деревень. И не беда, что не было по-прежнему Верхневолжска на больших картах. Никто в нашей стране не мог, право, приуменьшить значение этого тихого и милого старорусского городка, раскинувшегося на волжском берегу. А когда его пересекло новое асфальтовое шоссе, жизнь тут забила еще бойчее.

О том, что Юрий Гагарин проследует через Верхневолжск, в райкоме партии и горисполкоме узнали накануне. И хотя уже завершался рабочий день, известие это облетело моментально все предприятия, школы и дома, наполнило городок необыкновенным ликованием. Ткачихи успели сшить для космонавта нарядную рубашку с волжскими орнаментами. Обувщики, каким-то чудом узнавшие, какой размер обуви носит первый космонавт Земли, изготовили прекрасные светлые полуботинки. Будущие педагоги оборвали весь свой техникумовский сад и собрали букеты роз, ярче любых космических светил. В другом — зооветеринарном — техникуме самодеятельный оркестр разучил песню на слова местного поэта и готовился встретить ею космонавта. Футболисты общества «Волгарь» рады были преподнести гостю туго надутый

мяч, тот самый, что влетел в ворота мастеров большого волжского города в решающем матче на кубок области. Для такого случая были мобилизованы и шесть духовых оркестров. При въезде в город уже натягивали алый транспарант с ликующей надписью: «Добро пожаловать, покоритель космоса, в славный Верхневолжск!»

Секретарь исполкома принес председателю на подпись проект специального постановления, обязывающего строго-настрого всех обитателей города «держать на привязи собак и коз, не выпускать на улицы кошек, кур и прочую живность, дабы не создавала она беспорядка». Но председатель, прочитав замысловатый текст, только головой покачал, сострадательно про себя подумав: «Эх, Нил Стратоныч, оно и видно, что тебе шестьдесят пятый. На пенсию пора». И осталась, к неудовольствию старика, незамеченной его личная инициатива, после чего он удалился из кабинета с демонстративным вздохом.

Когда подготовка к приезду высокого гостя достигла своего апогея, зашевелились в Верхневолжске и «тени прошлого». «Тенями прошлого» председатель исполкома Павел Ильич Романов, офицер Балтийского флота в запасе, называл маленький штат единственной действующей здесь церкви, состоящей из священника — старого, одинокого отца Григория, — не менее дряхлого дьячка, пономаря и псаломщика в одном лице — Антипа, да еще такой же пожилой одноглазой дьячихи. Они вдруг ударили в колокола, не заглянув, как говорится, в святцы, — ударили неведомо по какой причине: святого праздника в этот день не было, а скликать к вечерне весьма редких прихожан было еще слишком рано.

— Нил Стратоныч, — попросил огорченный председатель своего секретаря, — узнайте, пожалуйста, по какому это поводу оживились «тени».

— Я постараюсь, — согласился секретарь.

Он ушел, а Павел Ильич Романов впал в мрачное беспокойство. Он прекрасно знал, что от отца Григория можно было ожидать любой сумасбродной выходки. Меньше всего отличался этот служитель культа раболепием перед именем господним, покорностью и набожностью. Странный это был человек. В сорок первом году он служил в небольшом приходе на Смоленщине. Похоронив в сорок восемь лет попадью, жил одиноко в ветхом домишке с сыном Егором, которого любил больше

всего на свете. В сорок первом Егору исполнилось четырнадцать, он окончил в городе семилетку, мечтал о техникуме и не очень твердо обещал погостить летом у отца. Но когда грянула война, мальчик все-таки завернул в родное село да там и остался, потому что начались дни оккупации. Отец и сын выходили у себя в подполье четырех раненых командиров, а потом вместе ушли в партизанский отряд, по смоленским и брянским лесам исколесили немало дорог и участвовали не в одном рисковом деле. Григорий давно ничем не обнаруживал тяготения к церковной службе, только по вечерам, от бессонницы или после ужина, сотворял под прощающие усмешки партизан крестное знамение.

В марте сорок третьего сын его Егор был убит при взрыве железнодорожного моста. Раненный в ногу Григорий на руках принес в партизанский отряд стынущее тело юноши, сам вырыл могилу.

После освобождения Смоленщины он покинул родные места, чтобы не растравлять душу, и принял приход в Верхневолжске. Чудной это был поп. Прихожан не баловал, а самой богомольной Авдотье Салазкиной, пришедшей в разгар полевых работ за отпущением грехов, без обиняков сказал:

— Катись ты к чертовой матери, старуха! Ты ни богу свечка, ни черту кочерга. Работать в поле надо, иначе ты ни мне, ни всевышнему не нужна.

Эта шальная выходка долго была предметом шуток у горожан, давно забывших дорогу в церковь, а Павел Ильич Романов, встретив после этого отца Григория, остановил его и сочувственно сказал:

— Эх, Григорий Онуфриевич, не по нраву вам служба господняя. Я же вижу прекрасно, как ею тяготитесь. Давно бы надо бросить да добрым делом заняться. Мы бы помогли.

Однако или не уловил отец Григорий добрых ноток в его голосе, или притворился непонимающим, он резко тряхнул седой гривастой головой и не допускающим возражения басом ответил:

— Ведомо мне, что делаю. Отрицаю бренность мирскую, ибо верую. Против Советской власти вовеки веков не шел и помыслов таких не имел, но услужение господу считаю сейчас первым своим делом. — Сказав это, он прищурился и посмотрел на Романова тепло и грустно,

совсем как на своего сообщника. Вздохнул и прибавил: — Да и куда же я могу сейчас пойти в мои годы? Нет, уж, видно, до конца дней своих придется мне вечный грех за Егорку замаливать.

И удалился, подволакивая простреленную фашистами ногу.

Непонятным он был человеком, и не без основания поручил Павел Ильич Романов своему секретарю разведать замыслы «теней прошлого».

Нил Стратоныч вскоре вернулся и доложил о затее отца Григория. Оказывается, вызвал тот к себе своего единственного служку Антипа и напрямик спросил:

— Слышь, дьячок. Ведомо тебе или нет, что по нашему городу сам Гагарин проезжать будет?

— Ведомо, батюшка, — тощим голосом протянул дьячок, стараясь уловить, к чему клонит его суровый немногословный наставник.

— Ну и какого ты на этот счет мнения?

— Думаю, отец благочинный, что полеты в космос не по божьему велению совершаются.

— Ну и дурак же ты, дьяк! — мрачно изрек отец Григорий. — Тебе бы во времена великой инквизиции существовать, а не в двадцатом веке. Юрий Гагарин — это русский богатырь. Он повыше любого апостола.

— Батюшки-светы!.. — задохнулся дьячок.

— Да ты пообожди креститься, — брезгливо отмахнулся отец Григорий. — Что дьяк ты плохой, то мне ведомо. Но знаю я, что как звонарь ты первостатейный мастак.

— Еще бы, отец Григорий! Было время, в самом Успенском соборе по молодости на пасху так отбивал!.. Большой колокол гудом гудет, а маленькие, как лихие плясуны, динь-дилинь, динь-дилинь... Искусство, скажу я вам.

— Вот и надо встретить Колумба космоса отличным благовестом.

— Будет исполнено, отец Григорий, — осклабился дьячок, польщенный похвалой. — Я его малиновым звоном угощу. Знаете, какой благовест сочиним! Средний колокол — тот это так торжественно, басовито, настоящей, что называется, октавою... А маленькие такие трели будут исполнять, что прослезиться можно. Голосочки у них этакие сладенькие, как малиновая настоечка, кою вы,

батюшка, распивать у меня иногда келейно соизволите.

— Ладно, давай малиновый звон, — решил отец Григорий, не предполагавший, что Павел Ильич Романов будет докладывать о его затее первому секретарю горкома.

— Ну и пускай, — поморщился первый секретарь, выслушав его. — Не будешь же ты их по рукам и ногам за это связывать. Пусть побалабонят. Ты лучше скажи мне: встречу у городских ворот и вручение хлеба-соли предусмотрел? Нет? Ну вот видишь. А это гораздо важнее, чем беспокоиться о чудаковатом попе.

Романов быстро связался с хлебозаводом, и там ему пообещали изготовить такой каравай, какого еще не едал ни один именитый начальник, а подносить его было поручено лучшему бригадиру хлебозавода Нине Токмаковой, девушке рослой, румяной и черноглазой.

...Поздно, очень поздно погасли в эту ночь огни в городских учреждениях. Огромная ярко-желтая луна повисла над Волгой, навела через нее сказочную переправу.

Гулко прогудел проплывший без захода к портовому причалу пассажирский экспресс, прохладный послеполуночный ветерок трепал повешенный у въезда в город алый стяг с приветственными словами в честь первого космонавта. Даже влюбленных парочек на скамейках городского сада было вполовину меньше обычного, а те наиболее стойкие, что пришли, и то на этот раз больше говорили о космосе, чем о земных своих чувствах и радостях. Где-то на окраинах беспокойно лаяли собаки, да еще в прибрежном лесу сонно вскрикивала и умолкала ночная птица. Утомленный ожиданием, Верхневолжск медленно погружался в сон. Лишь на самой окраине в деревянном домике с голубыми стенами и резными наличниками курносый двадцатилетний парень сидел за маленьким столиком, и на листе бумаги рождались под его пером тугие неповоротливые фразы. Нет, он писал не стихи, потому что никогда не стремился стать поэтом,— он писал прозу, и она ему очень трудно давалась. Перед ним лежала небольшая почтовая открытка с изображением смеющегося человека, известного теперь всему миру. Завтра этот человек появится в Верхневолжске.

Двадцатилетний парень внимательно и даже пытливо вглядывался в лицо первого космонавта и ладонью ворошил свои курчавые волосы. Парень меньше всего думал

о встрече с Гагариным. Он сам хотел стать космонавтом и слагал об этом до невразумительности длинное письмо.

Парня звали Алеша Горелов.

* * *

В Верхневолжске самой лучшей, предназначенной для встречи высоких гостей машиной была зеленая «Волга», которую рачительный Павел Ильич Романов берег как зеницу ока. На этот раз ее водителю была поставлена задача не отставать от колонны машин, сопровождающих Гагарина. Такую же инструкцию получили водители машин секретаря горкома и председателя исполкома. Они должны были составить головную часть колонны и привезти Гагарина к деревянной трибуне на центральной городской площади, верно служившей для митингов на всех революционных праздниках.

Уже был подготовлен список ораторов и заучены ими речи. Словом, все хлопоты были закончены, каждый из устроителей встречи знал, что и когда ему делать. В лучшей столовой города собирались накрыть «руководящий» стол, а сам Павел Ильич Романов даже спич заготовил. И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался звонок из области:

— Имейте в виду. Гагарин к вечеру должен быть в Москве. В вашем городе он задерживаться не будет. Так что никаких митингов и встреч не затевать. Ясно?

— Ясно, — упавшим голосом произнес председатель исполкома. — Ну а хоть хлеб-соль вручить можно?

— Это можно, — согласились на другом конце провода.

К полудню городская площадь бурлила от народа. По обеим сторонам пятикилометровой центральной Первомайской улицы шпалерами в несколько рядов выстроились встречающие. Весь город высыпал на улицы. После обеда над Верхневолжском пронесся ливень, неожиданно шумный и озорной. Он вымочил до нитки всех, не пощадив ни старых ни малых, и едва лишь закончил свою бестактную проделку, как засияло солнце и высушило мгновенно все мостовые, так что не попавшему под этот ливень трудно было понять, отчего в жаркий сухой день толпятся на улицах совершенно мокрые люди.

Было уже около пяти вечера, когда по рядам, от окраины до центральной площади, пронеслось: «Едет!» Именно в эту минуту колонна из нескольких легковых машин замедлила скорость перед въездом в город. На переднем открытом кабриолете в наброшенном на военную форму пыльнике стоял Гагарин. У наспех сооруженной арки и протянутого над нею транспаранта машина остановилась, и Юрий Гагарин, сойдя на землю, принял хлеб-соль из рук розовощекой Нины Токмаковой и чинно ее расцеловал. Павел Ильич Романов, заготовивший от имени городского исполкома пространную речь, ограничился лишь двумя-тремя приветственными фразами.

— Дорогой Юрий Алексеевич! — сказал он. — Когда вы снова полетите в космос, возьмите в кабину своего корабля тепло наших сердец и сосуд с волжской водой. Тепло наших сердец будет двигать вашу ракету лучше любого надежного топлива до самых далеких космических миров, а глоток волжской воды придаст вам в космосе силу и бодрость.

Гагарин запросто подошел к Романову, чтобы поблагодарить его за добрые слова, но надо же было так случиться, что именно в эту самую минуту над еще далекой отсюда городской площадью, над Волгой-рекой и окрестностями Верхневолжска, в сухом терпком воздухе грянул колокольный звон. Дружно рявкнули большие, отлитые из меди, басовитые колокола и вслед за ними, словно стая гончих, преследующих на охоте зверя, зазвенели, затренькали те самые «малиновки», которыми погрозился угостить высокого гостя дьяк Антип. Председатель исполкома болезненно сморщился, а Юрий Алексеевич, вопреки всеобщему замешательству, удивленно спросил:

— Послушайте, а это по какому случаю? Разве сегодня какой-нибудь престольный или Никола-летний?

— Да нет, это они в вашу честь, — совершенно растерявшись, сознался находившийся ближе всех к космонавту исполкомовский секретарь Нил Стратоныч.

Высокий гость громко расхохотался и покачал головой:

—Вот дают! Однако, пора нам и в путь.

Он снова занял место в кабриолете, и процессия тронулась.

Колонна машин проезжала через город на очень маленькой скорости. Гагарин стоял в автомобиле, привет-

ственно подняв руку. На его сероватом от усталости и дорожной пыли лице светилась улыбка. Он с интересом разглядывал потонувшие в зелени палисадников дома, ловил восторженные взгляды парней и девушек, улыбался цветам, которыми забрасывали его машину. Пышные белые и алые розы, букетики полевых ромашек, васильков и маков бились о борта кабриолета. Некоторые из них, брошенные неумелыми руками, попадали не в него, а во вторую машину. На ней ехали два кинооператора, снимавшие встречу космонавта в Верхневолжске, и тучный, одетый в легкий белый костюм спецкор центральной газеты, сопровождавший космонавта. Его лицо с явно обозначившимся вторым подбородком не было сонным и флегматичным, как у некоторых толстяков. Напротив, плотно сжатые губы и складки в углах рта подчеркивали энергию. Он держал в руках раскрытый блокнот, но ничего в него не записывал, лишь наблюдал за всем происходящим выпуклыми серо-голубыми глазами.

Как только кортеж машин приблизился к центральной площади, все шесть верхневолжских духовых оркестров взорвались торжественным встречным маршем. Студенты, рабочие, мальчишки и старики пенсионеры восторженно скандировали из толпы:

— Га-га-рин, Ю-ра! Сла-ва! Га-га-рин!

Юрий Алексеевич продолжал приветственно махать рукой. Усталая улыбка не гасла на его губах. На скрещении двух улиц — Первомайской и Ленинской — стиснутая могучим людским потоком колонна вынуждена была на некоторое время остановиться. Именно в это мгновение из толпы бросился к машине космонавта смугловатый курчавый юноша. Был он в летних песочного цвета брюках и в красной старомодной ковбойке, какие уже давно не носят молодые люди в больших городах. Закатанные выше локтей рукава обнажали сильные руки. В правой из них белел конверт. Настойчиво работая локтями, юноша уже пробился в самый первый ряд встречающих и очутился ближе многих других к машине космонавта.

— Юрий Алексеевич! Гагарин! — закричал он, стараясь обратить на себя внимание. — Возьмите это, Юрий Алексеевич!

Но сквозь медь шести духовых оркестров Верхневолжска и приветственные крики горожан его голосу не суж-

дено было пробиться. Правда, на какое-то мгновение их взгляды встретились: взгляд прославленного на весь мир героя и никому не известного провинциального парня. Может быть, интуитивно почувствовал Гагарин, что этот парень рвется к нему не просто так, а хочет сказать свое, выстраданное. Но что? В следующую минуту внимание гостя было привлечено уже иным, и он потерял из виду этого нескладного, неожиданно возникшего почти у самой дверцы автомобиля парня. А тот, уже оттиснутый на второй план, все еще кричал:

— Юрий Алексеевич, возьмите письмо!

Гагарин дружески улыбнулся одному ему и закрыл ладонями уши, давая понять, что ничего не слышит. Видимо, «пробка» на площади была ликвидирована, и торжественный кортеж легковых машин двинулся дальше.

Обдав парня горячим настоем бензиновых паров, рванулся передний автомобиль. В последней надежде парень бросился за второй машиной. Занятые своим делом кинооператоры не обратили на него ровным счетом никакого внимания. Тучный журналист в это время лениво прожевывал яблоко. Только его выпуклые глаза насмешливо и вопросительно скользнули по лицу юноши.

А тот в последней надежде обратился к нему:

— Возьмите хоть вы, товарищ. Юрию Алексеевичу передайте.

Рванулась мимо него и эта машина. Ветер разлохматил редкие волосы на голове журналиста. Толстяк недоуменно крикнул:

— Ну что там еще, молодой человек? Может, и вы в космос проситесь?

Кому-то понравилась эта шутка, и за своей спиной юноша услыхал смешки. Он подавленно отмахнулся:

— Эх, не поняли вы меня, товарищ.

Но уже промчалась колонна во главе с космонавтом, и никто не мог услышать его горького вздоха.

Медленно растекалась толпа...

Как знакомо каждому из нас ощущение огромной приподнятости, рожденное присутствием на каком-либо выдающемся событии! Пусть ты слушаешь речь видного политического деятеля, пусть встречаешь героя, или чествуешь убеленного сединами ученого, или сидишь на стадионе, когда твои соотечественники-футболисты выигрывают важный и трудный международный матч, — все

равно ты до самого конца события ощущаешь себя полноправным участником происходящего. Но вот померкли торжественные краски исторического дня или вечера, и, оставшись наедине с самим собой, вновь вернувшись к своим заботам, ты убеждаешься, что ты — это ты, а герой — это герой, и был ты всего-навсего небольшой частицей всеобщего ликования, которым сопровождалось событие. И самому себе в таких случаях ты кажешься в сравнении с промелькнувшим героем значительно меньше, чем есть на самом деле...

Так бывает в жизни. Но чувство, владевшее верхневолжским парнем, не сумевшим пробиться к Юрию Гагарину, было гораздо сложнее. Острая обида искала выхода. Прислонившись спиной к каменному забору, отделявшему от площади местный парк, стиснув от горечи губы, он, казалось, оцепенел. Мимо пробегали принарядившиеся девчонки, проходили в серой замасленной робе рабочие — им еще предстояло после встречи провести в цехах по два-три часа. Музыканты несли под мышками тромбоны, валторны и геликоны. Местный поэт, обиженный тем, что его так и не представили Колумбу космоса, на ходу размахивая руками, читал своим случайным попутчикам те самые стихи, которые он должен был прочесть Гагарину. Постепенно затихал многоголосый гомон и предвечерняя обычная тишина возвращалась в растревоженный Верхневолжск. Опустела, обезлюдела улица, а парень все стоял и стоял, думая о чем-то своем, неизвестном и непонятном для других. Пальцы стискивали конверт. Внезапно они разжались, и конверт упал в прибитую сотнями прошедших людей уличную пыль. Парень тотчас же нагнулся и поднял его. Поднес к глазам. На конверте округлыми большими буквами было написано: «Первому космонавту мира майору Ю. А. Гагарину от А. Горелова».

Шевеля губами, перечитал он надпись и вдруг с яростью разорвал конверт на мелкие клочки. Потом кинул их в стоявшую рядом желтую урну, над которой розовела жестяная дощечка: «Окурки и мусор бросать сюда».

* * *

Алексею еще не исполнилось и двенадцати, когда его мать, Алена Дмитриевна Горелова, перестала ждать мужа. Уже давно все окрестные вдовы, кто мог только, определили свои судьбы, а она все ждала. Еще не со-

старившаяся в свои тридцать восемь лет, лишь чуть располневшая в бедрах, была Алена Дмитриевна хороша той неяркой, но неотразимой красотой, какой далеко не всех русских женщин одарила природа. Длинная пышная коса до пояса так и осталась не обмененной ни на какие модные прически, к которым Алена Дмитриевна относилась без всякого уважения. Губы свои она только раз или два за всю жизнь, и то из озорства, подводила помадой, а в последние годы считала, что это для нее, вдовы, непристойно. Но может, поэтому губы ее так и не вяли, были розовыми и душистыми.

Лишь в дни самых жарких полевых работ, чтобы не нарождались новые морщины (они и без того уже свились от горя в углах рта у Алены), она густо мазала лицо кислым молоком. И солнце ее щадило, не старило. Когда она, полногрудая и стройная, проходила в праздник в цветастом платке по окраинным улицам или вечером на полевом стане пела с девушками и бабами песни, на нее заглядывался не один молодой мужчина.

Работала после войны Алена Дмитриевна все в том же совхозе «Заря коммунизма», где в юности встретилась в полеводческой бригаде с веселым городским парнем, приехавшим по комсомольской путевке в совхоз из самого Ленинграда.

Помнится, дежурила она одна на стане, и появился неведомо откуда этот ладный, чуть запотевший парень, с такими бесшабашными синими глазами, что в них было страшно глядеть, — совсем как в глубокий колодец. Комбайн стоял рядом, в высокой сизой пшенице — она в тот год вымахала такой, что человека в полный рост могла спрятать.

— Эй, молодица, дай-ка попить! — закричал Павел.

Она поднесла ему железный ковшик и молча смотрела, как молодой комбайнер черпал им из деревянного, перехваченного обручами бочонка студеную ключевую воду и жадно пил, так что по смуглой от загара шее — на ней бились мраморные жилки — проливались за расстегнутый воротник струйки.

— Ух, до чего и прелесть твоя вода! — сказал он, отдавая ковшик и норовя задержать ее руку в своей. — А еще разок попить к тебе прийти можно?

Усмехнулась Алена, только бровью-дугой повела:

— Отчего же. Вода у нас волжская, бесплатная.

— А я знаю, красавица, — вдруг выпалил парень, — тебя Аленушкой кличут.

— Смотри ты, вещий какой! Кому Аленушка, а кому Алена Дмитриевна.

Ничего не ответил комбайнер, а вечером, когда за волжский бугор уже пряталось солнце и тени скользили по жнивью, разыскал ее в поле, отбил от подружек и, дерзко заглядывая в глаза, спросил:

— Слушай, ты веришь в любовь с первого взгляда? Так это она ко мне пришла. Не сыщу я больше такой, как ты, если тебя потеряю. Иди за меня. Завтра же в загс явимся.

— Так ты и ступай один в этот самый загс, — отрезала Алена.

Но никакие насмешки не могли сломить упрямого парня. Стал он услужливым и кротким, ласковым и неназойливым, как иные кавалеры, добивавшиеся Алениного расположения. За лето он так понравился Алене, что всем было ясно — после уборки не миновать свадьбы.

Так оно и случилось. Легко и счастливо зажили молодые. У Павлуши были золотые руки, перед которыми ничто не могло устоять. Не без помощи дружков поставил он на окраине Верхневолжска небольшой светлый домишко с голубыми наличниками, на премиальные обзавелся мебелью: что купил, что сам смастерил. Даже самодельный радиоприемник осилил и поставил в самой большой комнате. Словом, хоть петь, хоть работать, хоть любить — был он щедрой души человек.

И в домике под цинковой крышей не ждали по веснам аиста, потому что не мог бы он, поджарый, принести сюда большего счастья, чем то, что уже тут поселилось.

В конце сорокового почувствовала себя Алена Дмитриевна тяжелой, и Павел не знал, куда деваться от радости. А потом пыльная фронтовая дорога властно позвала его, как и всех других парней и мужиков из Верхневолжского зерносовхоза. И уже без него, в горькую лихую осень сорок первого, родился сын Алешка. Вместо подарка на крестины прислал отец армейскую газету со своей фотографией на первой странице, где он был снят в полном танкистском облачении, а короткая подпись гласила, что при освобождении Калуги командир среднего танка лейтенант Павел Горелов уничтожил около десяти

вражеских орудий и награжден за это орденом Боевого Красного Знамени.

Она тогда прослезилась, но вовсе не потому, что ее поразил орден и растрогало лаконичное описание подвига. Она прослезилась от радости, что он жив и здоров, и всю ночь думала о том, как много еще таких боев предстоит перенести ее Павлуше.

Когда хромой почтальон Яков разносил по улице почту, она вздрагивала, боясь, что вместо письма получит дурное известие. Но время шло, а от мужа по-прежнему приходили короткие ласковые письма. Подрастал Алешка. Ему было около года, когда в душную августовскую ночь усталая после полевых работ Алена была разбужена громким стуком. Простоволосая, почти нагишом, она выбежала в сенцы и, задыхаясь от радостного предчувствия, спросила:

— Кто?

И услышала такой незабытый голос:

— Да открывай, не бойся, Аленушка. Я это.

Она так долго шарила в темноте, силясь сбросить три крючка и цепочку, что он не выдержал и засмеялся:

— Да что ты, или засов позабыла снять!

— Руки дрожат, Павлуша, — призналась она, унимая заколотившееся сердце.

— Не надо, ласточка. Живой я, здоровый, не волнуйся.

Когда в проеме двери на фоне высокого звездного неба увидела Алена окутанную сумерками фигуру мужа с заплечным солдатским вещевым мешком, охнула, чуть не ударилась о дверной косяк. Неподатливыми руками ввела мужа в дом, разула, раздела. Сколько радости испытала она той ночью! Оказывается, Павел был отпущен на побывку перед новым наступлением за какой-то новый подвиг, и только на двое суток. Утром он брал на руки розового Алешку, щекотал колючей щекой и, жмурясь от счастья, рычал, приговаривая:

— Медведь пришел, парень.

* * *

Два дня побывки! Их и не заметил никто по-настоящему в дружной семье Гореловых. А потом в такую же душную ночь Алена снова проводила мужа на фронт. И растаяла в сумерках высокая солдатская фигура.

Осенью сорок третьего она получила похоронную. Товарищи Павла рассказали в письме, что на глазах у них его танк был подожжен термитным снарядом и, не выходя из боя, врезался в дот, мешавший продвижению пехотинцев.

Хромой Яков три дня не решался переступить порог ее дома, а как только вошел, она сразу все поняла по его виновато опущенным глазам.

— Ты тово, Алена Дмитриевна... — хрипло пробормотал старик, — ты это самое... не больно убивайся-то. Всякое на фронте случается. Иной раз человека погибшим считают, а он жив... сквозь пламя и воду и огненные реки пробьется. Ты повремени убиваться. И потом сыночек у тебя какой, Алена! Кто же ему крылышки отрастит, если мать этак убиваться будет... Не у одной тебя горе, доченька. До всего народа добралось оно в эти годы.

И она была благодарна Якову за добрые слова. И долгие годы после этого старалась себя уверить, что, может, не все еще потеряно и что муж ее терпит беды и лишения в фашистских лагерях, а потом вернется. Дважды за Алену Дмитриевну сватались, но она гордо отказывала и выходила к сватам в черном траурном платье, сшитом на первую годовщину гибели Павла. Бесплодная надежда оставила в ней какие-то слабые, не убитые временем ростки. Но в 1952 году, накопив деньжонок, вместе с подросшим Алешей она съездила на место гибели мужа на юг Украины и действительно на берегу Днепра, около деревни, указанной в похоронной, нашла серый гранитный обелиск, обнесенный свежевыкрашенной оградой, и на мраморной плите прочла надпись, не оставлявшую больше никаких сомнений: «Здесь 12.9 1943 года геройски погиб танковый экипаж в составе старшего лейтенанта П. Н. Горелова, механика-водителя старшины Боровых Г. Х. и башенного стрелка Косенко А. Г. Вечная память героям!»

Она села на небольшой пригорок, а десятилетний Алеша, сжав кулачки, остался стоять и не вытирал слез, катившихся по загорелым щекам. Он не всхлипывал, стоял молча, будто вслушивался, как гудит под крутояром растревоженный седой Днепр и чайки, задевая крыльями гребни волн, мечутся над его серединой. Потом, хмуря широкий лоб, скупо сказал:

— Уйдем, мама. Здесь тяжко.

Вот в этот день и погасли окончательно слабые ростки надежды в душе у Алены Дмитриевны. Весной следующего года вышла она замуж за старшего агронома совхоза, вдового сорокапятилетнего Никиту Петровича Крылова. Был он лысоват, низкоросл, но лицом недурен, и настрадавшаяся за долгие годы вдовьей своей жизни Алена надеялась если не на любовь, то на доброе отношение и ласку. И все, может быть, между ними так бы и было, если бы не Алешка. Она долго скрывала от мальчика правду. Когда агроном все чаще и чаще стал наведываться в голубенький домик на Огородной, Алеша не задал матери ни одного вопроса. С угрюмым любопытством приглядывался он к малознакомому пожилому мужчине, и в глазах у него появлялась недетская печаль. Соседки уговорили Алену Дмитриевну отвести в день свадьбы сына к дальней родственнице, жившей на другом конце Верхневолжска.

— Не надо его сердечко испытывать, — говорили они, — пусть лучше потом узнает, когда все совершится. Твоя свадьба для него не радость.

Алена подумала и согласилась.

На свадьбе было много тостов и песен. Когда подгулявшие гости опустошили за ужином огромный жбан с крепкой брагой и нарядно одетая, почему-то невеселая Алена сидела в центре стола рука об руку с агрономом, случилось непоправимое. В те минуты, когда гости нестройно кричали «горько», а жених в черной тройке с нафиксатуаренными редкими, на пробор зачесанными волосами целовал Алену, неожиданно появился в разодранной рубашке Алеша.

Мальчик остолбенело остановился в дверях, не зная куда девать свои не по росту длинные руки.

— Подойди, сыночек, — тихо сказала совершенно трезвая мать. — Ты видишь Никиту Петровича, сыночек?

— Вижу, — глухо отозвался он.

— Никита Петрович теперь мой муж, и ты должен называть его папой.

— Папой? — пересохшим голосом спросил Алеша.

— Да. Папой, — при всеобщем молчании повторила мать.

Алеша не тронулся с места. Он застыл, остановленный какой-то ему одному понятной думой. Решив, что неловкая пауза прошла, гости уже стали наливать «по

новой». И вдруг Алеша подошел к портрету отца, висевшему на стене над празднично накрытым столом. Павел Горелов в танковом шлеме и гимнастерке с боевыми орденами, чуть прищурившись, смотрел со стены на шумевших гостей.

— Мама, ты хочешь, чтобы я называл Никиту Петровича папой?

— Да, сынок, — повторила Алена Дмитриевна строже.

— А это кто же, мама? — спросил Алеша, рукой показывая на портрет, и, захлебнувшись жалобным плачем, бросился куда глаза глядят из дома.

Прошло несколько недель. Алеша и вида не подавал о случившемся. Он исправно помогал матери, относил ей на покос обед, а иной раз и ужин, встречаясь с агрономом дома и в поле, коротко и сдержанно обменивался ничего не значащими фразами. Никита Петрович попробовал было задобрить пасынка и однажды позвал в кино. Но Алеша спросил, какая идет картина, и тотчас же соврал, что уже несколько раз ее видел. Никита Петрович попытался действовать строгостью, но и это не помогло. Он запретил Алеше задерживаться на улице с ребятишками по вечерам, играть в футбол, чтобы не изнашивать обувку. Но Алеша по-прежнему возвращался домой поздно, влезал через окно, открытое матерью в его каморку, и, раздевшись, долго вздыхал под одеялом.

Однажды он услышал доносившиеся из спальни приглушенные шорохи и голоса.

— Как там ни суди ни ряди, а нехорошо получается, — прокуренным баском говорил агроном, — я, конечно, не в претензии к тебе, Алена, но и ты пойми меня правильно. Надо с первых шагов к порядку и уважению парня приучать. Иначе не наладим мы с тобою хорошей семейной жизни. Это я говорю точно.

— Так чего же ты хочешь? — сквозь слезы спросила Алена. — Взял бы да и побеседовал с ним первый.

— Это я, разумеется, сделаю, — закашлялся Никита Петрович, — но и ты, Алена, не сиди сложа руки. Должна тоже мне помощь в этом оказать.

— Какую же, например?

— А вот с портретом хотя бы.

— Это с каким же портретом?

— А с тем, что висит в нашей комнате.

— С Павлушиным, что ли?

— Сняла бы ты его, Алена. Я, пойми, плохих чувств к погибшему твоему мужу не питаю. Грешно бы это было. Да и сам жену имел, покойницу ныне. Но посуди сама, раз я занял в твоем доме его место...

— Так тебе, значит, мертвый уже помешал, — сдавленным голосом перебила его Алена.

Но Крылов, не собиравшийся, по-видимому, ссориться, вкрадчивым шепотом поправился:

— Да нет, не поняла ты меня, женушка. Это я к слову.

— Так вот что, Никита Петрович, — тихо и решительно произнесла Алена Дмитриевна, — о портрете этом больше я от тебя чтобы ни слова. Где он есть — там ему и быть, пока я жива. Понял?..

Голоса в спальне сбились на неразборчивый шепот, а Алеша, лежа со стиснутыми губами, с горечью думал, зачем это хорошая и добрая его мать, говорившая об отце всегда одни только ласковые слова, пустила в их дом этого пожилого, чужого ему примака, пропахшего табачным дымом. «Еще отцом его называй, — зло подумал мальчик, — а фигу не хотел?»

И пошли у отчима с пасынком раздоры, да такие, что хоть святых выноси. Отчим — слово, пасынок ему — два. Ни наяву, ни во сне не мог простить Алексей этого замужества своей матери. А когда заметил, что Никита Петрович всякий раз морщится, если речь заходит о его отце, невзлюбил его еще больше. И однажды вспыхнула меж ними крутая ссора, приведшая к недобрым последствиям.

Была у отчима блестящая иностранная зажигалка. Никогда он сам не служил из-за своего плоскостопия ни в армии, ни на флоте; трофейную эту зажигалку кто-то ему подарил. Стоило только нажать кнопку, крышка зажигалки распахивалась, и оттуда выскакивал маленький чертик, извергающий изо рта огонь. Очень она приглянулась мальчику. Во время летних каникул, когда агроном находился в поле, взял Алеша ее на игрище с ребятами, да и потерял где-то.

Отчим приехал с поля ночью злой и усталый. Были у него на уборочной какие-то свои заботы и неприятности. Разве мало их у агронома, отвечающего за такое большое хозяйство, каким был совхоз «Заря коммунизма»! Наскоро похлебав щей и молока, захотел он перед

сном выкурить папироску. Потянулся за своей любимой зажигалкой — на месте ее нет. Долго сопел агроном, рылся во всех ящиках и вазах — нигде не нашел. Тогда, как к последней решительной мере, прибегнул к допросу Алешки. Зажег в его комнате свет и по тому, как тот вздрогнул, сразу понял, что не спит он, а только притворяется спящим. И мгновенно вспыхнула у Никиты Петровича безотчетная злость.

— Слышь, Алексей, очнись-ка на минуту.

— Ну чего вам? — неохотно открывая глаза, протянул мальчик. Он уже с тоской ожидал неизбежной развязки. — Может, завтра меня спросите? Глаза слипаются.

— Ты мою зажигалку, случаем, не брал? Весь дом перерыл, отыскать не могу.

— Брал, — глухо сознался Алексей, не пытавшийся врать.

— Почему же на место не положил? — недобро покосился на него отчим. — По-моему, если уж взял чужую вещь, то по крайней мере, должен положить ее на место. Это как минимум. Так ведь, кажется?

Мальчик неловким движением опустил на пол босые загорелые ноги, не поднимая головы, подавленно буркнул:

— А у меня ее нет, Никита Петрович.

— Как так нет? — взорвался отчим. — Что же, ее святой дух забрал, что ли?

— Я ее потерял, — еле слышно пробормотал Алеша. — Мы с ребятами в казаки-разбойники играли, а потом борьбу на Покровском бугре устроили. Там в траве она и пропала. Целый час я ее искал, Никита Петрович. И куда только могла деться!..

Отчим неловко вытер со лба холодный пот, чувствуя, что злое удушье мешает ему говорить.

— По-по-те-рял? — тихо переспросил он. И вдруг сорвался, закричал тонким фальцетом: — Когда чужую вещь берут без спросу и она исчезает — это не называется потерял. Украл!

— Я не вор! — вскинув голову, обиженно сказал Алексей. — Я не вор, — повторил он. — Если беда случилась и я потерял вашу зажигалку, это еще не значит, что я вор. Я копилку свою раскрою и все деньги вам верну, какие она стоит, эта самая зажигалка. Я в долгу у вас не останусь.

— Молчать! — заорал Никита Петрович и в исступлении стал снимать с себя ремень. — Я тебе сейчас покажу, как чужие вещи без спроса брать. Живо отучу.

Он занес над своей лысоватой головой ремень и стал медленно приближаться к мальчику. И тут случилось неожиданное. Бледный Алешка метнулся к двери, схватил черный задымленный рогач, каким мать вынимала из печи кастрюли и сковороды, и воинственно встал на пороге.

— Не троньте! — крикнул он звенящим голосом. — Слышите, не троньте! Меня еще никто сроду не бил: ни отец, ни мать. Хоть в милицию ведите, если вором считаете, а бить не смейте.

— Отец, говоришь, не бил, — злым шепотом продолжал отчим, — отец не бил... А я тебя огрею, да так огрею, что навек отучу воровать!

Свистнул ремень, и пряжка шмякнула об пол в полуметре от босых мальчишеских ног. Пока озверевший отчим замахивался снова, Алешка как штык выставил вперед рогач и сухими гневными глазами ожег Никиту Петровича.

— Слышите, не троньте, иначе и я вдарю. И на то, что вы взрослый, не посмотрю.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не заскрипела за спиной у мальчика дверь и на пороге не появилась усталая, вернувшаяся с совхозного поля с последней машиной мать.

— Батюшки-светы, да что же у вас такое делается! — воскликнула она, испуганно хватаясь за голову. — За какие-такие преступления ты его, сиротинку, пороть собрался, Никита?

Агроном опустил ремень.

— Полюбуйся. Жулик у нас растет, Алена. Жу-лик! Он у меня зажигалку украл.

— Да не украл я, мама, — ставя на место рогач, протянул Алешка совсем уже другим, жалким и плаксивым, голосом. — Я ее только на полчаса поиграть взял и сам не знаю, как она выпала.

Алена Дмитриевна видела нахохлившуюся, решительную фигуру сына, его торчащие на голове, начинавшие курчавиться волосы, видела немытый пол, кровать со смятым одеялом. Неожиданно ей показалось, будто под кроватью что-то блеснуло.

— Погоди-ка, сынок, — тяжело дыша, сказала мать, — что это там у тебя под коечкой виднеется? Слазь, посмотри.

Алеша нагнулся, достал из-под своей кровати не что иное, как ту самую зажигалку, и протянул отчиму.

— Вот она, — сказал он обрадованно. — Зря я считал ее пропащей. Возьмите свою зажигалку.

Агроном сконфуженно засопел.

— Он тебя ударил? — спросила мать.

— Не-е, — протянул Алеша. — Я вовремя отскочил. Его пряжка вот тут только кусочек краски с пола соскребла.

— Хорошо, Алеша, — как-то неестественно спокойно сказала мать. — Выдь на несколько минут из дому. Надо нам с Никитой Петровичем перемолвиться.

Когда дверь за мальчиком закрылась, Алена Дмитриевна скинула с головы платок и с побледневшим лицом шагнула к мужу.

— За что же ты руку на него поднял, Никита? — спросила она тихо. — За что ты сиротинку вором-разбойником назвал? Или тебе мало, что он до сих пор по отцу погибшему тоскует? Кто тебе дал право над душой его измываться? Разве не он из школы табель с одними пятерками и четверками принес? Разве не о нем в пионерском отряде самые добрые слова говорят? За что же ты его острой пряжкой хотел секануть?

— Но позволь, Алена... он же мою вещь без спроса взял.

— Не позволю! — повысила она голос. — Слышишь, не позволю! Была промеж нами любовь, горькая, но была. А теперь ее нет. Вот что я тебе скажу, Никита. Пойди верни мальчишку и немедленно перед ним извинись за то, что вором напрасно обозвал. Дескать, так и так, не будет больше этого, чтобы я руку на тебя подымал, и точка.

— Но постой, Алена! — взорвался поначалу оторопевший агроном. — Может, мне еще в ногах у него поваляться прикажешь, ручки ему поцеловать?! Нет уж, извини. Пусть я погорячился, вышел из себя. Но ведь если малец не почувствует крепкой мужской руки, он вовсе от порядка отобьется. Так что не гневись, но я Алешу в строгости и повиновении держать буду.

— Значит, не извинишься?

— Нет.
— И правым себя продолжаешь считать?
— В известной мере, да.
— Тогда не о чем нам говорить, Никита. Сына калечить я никому не позволю. Подумай получше, а завтра будем решать.

Всю ночь проплакала Алена Дмитриевна, проклиная горькую свою долю. Не спал всю ночь и Никита Петрович, беспрерывно вышагивал по комнате, прикуривая от папиросы папиросу.

На рассвете он упаковал свои вещи в большой коричневый чемодан, перенес его в совхозную контору — красный кирпичный домик в самом дальнем конце Верхневолжска, в свой кабинет. А через месяц, будто назло Алене Дмитриевне, он снова женился.

* * *

На самой окраинной из городских улиц — Огородной, где жили Гореловы, почти напротив их калитки, чернела водоразборная колонка. Была она во все времена года местом постоянных сходок, на коих бабы с коромыслами и без коромысел, гремя ведрами, окликали друг дружку, охотно останавливались на несчитанное время, делились последними новостями и только потом, все обсудив и разложив по полочкам, осанисто возвращались к своим домам. В войну здесь можно было узнать, когда и в какой дом принесли с фронта похоронную, к каким счастливцам завернул на побывку муж или сын, какая вдова, нарушив благочестие, в горькой полынной утехе впустила на ночь проходящего военного и подарила ему короткую свою любовь, кого из верхневолжцев, обитателей этой окраины, произвели в новое звание или же прославили боевыми орденами.

И теперь здесь тоже судачили бабы. После того как Никита Петрович ушел от Алены Дмитриевны, их разрыв не однажды обсуждался у колонки, под звон тугой струи, падающей в ведра.

— Слышь, Матрена, — обращалась старуха с кирпичным лицом к своей соседке, — а это правда, что Аленка из-за сынка со своим агрономом разошлась?

— Болтают, правда.

— Вот аспид треклятый! И что за молодежь такая

растет! Нешто можно, чтобы сын лишал свою мать последнего бабьего счастья? Если бы не он, чего бы им не пожить. Алена еще в годах и телом справная. Агроном этот тоже серьезный и обстоятельный.

— Да полно тебе брехать, — подходя к колонке и со звоном снимая с коромысел ведра, резала ее под самый, что называется, дых костистая, с басовитым голосом соседка Гореловых пятидесятилетняя Аграфена, всегда миловавшая и жалевшая Алешку, — жмот жмотом твой агроном! Мало того, что примаком в дом ихний вошел, так еще в ежовых рукавицах держать всех решил. Почти ни копеечки на хозяйство — все свои оклады в сберкассу норовит сносить. Кому такой колорадский жук, спрашивается, нужен?..

Разговоры эти долетели и до Алены Дмитриевны. Оставшись в одиночестве, она первое время как-то потускнела, пригорюнилась, но потом отошла и стала еще сердечнее относиться к сыну. Алешка, чувствуя себя виновником происшедшего, не знал, как ей только угодить. Он и на базар сам бегал, и воду носил, и с курами возился, и даже полы научился мыть.

Осенью ушла Алена Дмитриевна из полевой бригады на курсы счетоводов, а потом стала работать в совхозной конторе, до которой от их домика рукой подать. Незаметно бежало время. Сын по-прежнему хорошо учился, слыл среди школьных товарищей справедливым и рассудительным.

Был он уже в седьмом классе, когда вспыхнула у него страсть к рисованию. Мальчик стал посещать школьный кружок, приходил оттуда поздними вечерами. В маленькой его комнатке появились краски, холсты и даже этюдник.

По ночам при тусклом свете электрической лампочки Алеша так разрисовывал классные стенгазеты дружескими шаржами, что, уходя на работу, мать не могла смотреть на них без улыбки. Часто уходил Алеша то на Покровский бугор, то в городской сад или на совхозные поля с альбомом и карандашами, чтобы сделать наброски.

Однажды, когда он уже спал, Алена Дмитриевна, покончившая со стиркой, присела к маленькому столику, заваленному учебниками, и раскрыла один из его альбомов. Первый же карандашный рисунок заставил ее заинтересоваться. Возле водоразборной колонки стояли не-

сколько женщин, и она тотчас же узнала высокую Аграфену, ее соседку Дуняшку, даже ее дворового пса, прозванного за свою черноту Вороном. Перевернула страницу, там комбайн на косовице и знакомый им дядя Федор на рулевом мостике. Еще страница — Волга и пароход, плывущий под высоким правым берегом.

— Как похоже все, — обрадованно сказала она и посмотрела на курчавую голову спящего сына.

С одной стороны, она радовалась, что это увлечение оберегает Алешу от опасных уличных забав, а с другой — рисование казалось ей делом совсем-совсем зряшным. Иной раз она и вздыхала:

— Эх, Леша, Леша! Пятнадцатый годок тебе пожаловал. Пора бы уж и дело какое присматривать.

Сын на нее не обижался. Он только улыбался застенчиво:

— Подожди, мама. Москва и та не сразу строилась. Придет время — выберу дело себе по душе.

Однажды — было это дождливой осенью — вызвали ее в школу.

Ждать долго не заставили, сразу провели к директору. Не успела она присесть на обитый коричневым дерматином стул, вошел в кабинет еще один человек, немолодой, с буйной, успевшей поседеть шевелюрой, в пестром костюме и рубашке с вольно расстегнутым воротом. Пристально оглядел ее живыми глазами.

— Познакомьтесь, Алена Дмитриевна, — вежливо сказал директор, — это Павел Платоныч, наш учитель рисования.

Учитель присел рядом и легонько притронулся к ее локтю.

— Давно хотел с вами поговорить, Алена Дмитриевна. У вашего сына Алеши большие способности к рисованию. Если он будет их упорно совершенствовать — далеко пойдет. Он уже сейчас маслом пишет. Такой этюд недавно закончил!

Она положила заскорузлые, с набрякшими от труда венами ладони на колени и в растерянности сказала:

— А я-то думала, пустяки, игрушки. Я ему так об этом и говорила.

— Вот и напрасно, Алена Дмитриевна, — покачал головой ее собеседник и длинными точеными пальцами стал застегивать ворот своей рубахи, — совершенно напрасно.

— Так а что же я должна сделать? — растерялась она окончательно. — Вы уж извините меня, пожалуйста. Все-таки я не очень-то грамотная, не во всем научилась разбираться.

— Прежде всего вам надо серьезно отнестись к начинаниям сына, — убежденно сказал учитель. — Смотреть на его рисование как на серьезное дело. Мы организуем в школе небольшую студию. Алеша будет одним из ее, так сказать, зачинателей.

Недели через две Алеша радостный прибежал из школы и развернул перед матерью золотыми буквами написанную грамоту.

— Мама, смотри. Это мне за рисунки. Первую премию дали. И еще фотоаппарат «Зоркий» в награду. Его на днях привезут.

Она читала двоившиеся буквы, и складывались они в короткий текст, извещающий, что решением жюри облоно первая премия на конкурсе «Юный художник» присуждена ученику седьмого класса Верхневолжской средней школы № 5 Алексею Горелову за картину «Обелиск над крутояром».

— Дай-ка очки, я еще раз прочитаю, Алешенька, — сказала мать, чтобы незаметно от сына прикрыть очками мокрые глаза.

На следующее утро у черной водоразборной колонки острая на язык бабка Додониха уже шумела, обращаясь к своей товарке:

— Слышь, Аграфена, а это правда, что гореловскому Алешке в области диплом за картину выдали?

— И не в области, а в самой Москве, — гордо подтверждала верная их соседка, — и не только диплом, но и премию. Золотые часы с именной надписью.

Вечером мать спросила:

— Сынок, а что на ней нарисовано, на этой твоей картине? Ты бы хоть мне ее показал, что ли.

— Непременно, мама, — обрадовался Алеша. — Но ее только через неделю с выставки возвратят. И мне там кое-что поправить хочется.

— Зачем же поправлять, сынок, если картину твою премировали?

— Чтобы тебе показывать, мама, — смеялся сын, — ты же для меня выше любого жюри. Я хочу, чтобы картина еще лучше стала. Тогда покажу.

Алексей сдержал слово. Дней через десять он принес большой, размером в оконную раму, плоский сверток, туго перетянутый шпагатом. Алена Дмитриевна, стиравшая в корыте белье, отняла от него руки, покрытые мыльной пеной.

— Это что, сынок?

— Картина, мама.

— Та самая?

— Ну конечно.

— И можно уже смотреть?

— Нет, подожди. Тут надо кое-что приготовить. Я для тебя все как на настоящей выставке хочу сделать.

Он прошел в свою крохотную комнату, разрезал веревки и с шуршанием отбросил в сторону оберточную бумагу. Насвистывая, он двигался по комнате, ставил картину то в одном, то в другом месте, стараясь определить, откуда на нее будет падать больше света, чтобы краски от этого на холсте как можно ярче заиграли. Наконец понял, что дневного солнца явно не хватает, потому что, блеклое и вялое, оно уже падало за Волгу. Тогда он затворил ставни и включил электричество. Картина ожила. Он обрадовался и мгновенно сменил сорокасвечовую лампочку на стосвечовую. Старательно завесил картину белым полотном и весело позвал:

— Мама. Готово.

Алена Дмитриевна вынула руки из мыльной пены, старательно их ополоснула и вытерла мохнатым полотенцем.

— Где же твоя картина, Алешенька, показывай, — сказала она, входя в его комнату. — Да тут же только белое рядно.

— Это так надо, мама. — А теперь стань чуть подальше, к дверному косяку, и смотри, — командовал приободренный Алексей. — Раз, два, три. — Он сдернул белое полотно и торжественно прошептал: — Вот это и есть мой «Обелиск над крутояром».

Мать пораженно вздрогнула, да так и застыла.

На холсте алел закат. Яркое солнце догорало под розовыми перистыми облаками, наполовину утонув в водах широкой реки. Неспокойной была эта река. Сизые чайки над ее серединой низко припадали к белым гребешкам волн. Крутым яром обрывался правый берег над водой. Желтыми языками выступали глиняные оползни на не-

приветливом и почти голом обрыве. Лишь кое-где виднелись низкорослые жесткие кусты орешника, которым, по всему видать, очень неуютно было тут гнездиться. На берегу ветер безжалостно мотал ветлы одинокой ивы. Кривое дерево опускало их до самой земли. Под этой ивой, в безлюдной унылой степи, сиротливо стоял солдатский обелиск, увенчанный маленькой пятиконечной звездочкой.

Столько таких обелисков было на нашей земле! Но этот, при виде которого так дрожало сердце, был единственным для Алены Дмитриевны. У этого обелиска, спиной к зрителю, стояли две скорбные молчаливые фигуры: высокая женщина в темном платье, повязанная по-крестьянски скромным, таким же темным, как платье, платком, и мальчонка в полосатой рубашке и стоптанных дешевых полуботинках, подпоясанный черным ремешком, курчавый, с немного оттопыренными ушами. В этих фигурах было так много горя, что Алена Дмитриевна вздохнула:

— Алешенька! Так это ты отцову могилу нарисовал? Ой как похоже, аж плакать хочется.

Но она не заплакала. Она только притянула к себе голову сына и, глядя на него темными глазами, стала гладить мягкие кудри. Вдруг она увидела его словно впервые, и чем-то новым поразил ее сын. Она заметила, что стал он и выше ростом, и раздался в плечах, а над прямой, тонкой, как у отца, полоской упрямого рта уже пробивался не детский мягкий пушок, хотя и реденькие, но настоящие мужские усики. Да и голос будто сломался. Стал резче и громче.

Как завороженная, вглядывалась мать в каждую черточку бесценного лица.

— Ой, Алешка! Да ты у меня совсем большой. Вот-вот тебе уже и бритва понадобится. — Она поцеловала его в губы, а потом в щеки, как прежде, и грустно прибавила: — Большой-то большой, а справить тебе одежонку как следует не в силах. Вон и пиджачишко подызносился, и ботинки на ладан дышат.

— Не надо, мама, — остановил ее смущенно Алексей, — ты же сама сказала, что я не маленький.

— Для меня ты навсегда останешься маленьким, сыночек, — покачала она головой. — А картина твоя и верно очень жалостливая и серьезная. Может, и правду ска-

зал твой учитель Павел Платоныч, что в художники тебе надо подаваться.

— Это я еще не решил, мама, — смущенно засмеялся он и обнял мать.

— Ой, Алешка, — счастливо зажмурилась она. — Кем бы ты ни стал, одно скажу: славное у тебя сердце, сынок! Не попорть его. Пусть оно всю жизнь будет добрым и справедливым к людям.

* * *

Разорвав в клочья белый конверт и выбросив его в урну, Алексей Горелов невеселой походкой человека, которому вдруг стало нечего делать, отправился бродить по городу. Единственно, чего бы он сейчас не желал, так это встречи со своими знакомыми и друзьями. Более года не был он в своем родном городе. Многое за это время изменилось в его жизни, и сейчас, испытывая большое огорчение, он меньше всего хотел подвергаться расспросам. Это заставляло юношу опасливо косить глазами по всем сторонам, искать тихие переулки, покидая бойкий центр. И все-таки раз он чуть было не попался. Когда сворачивал в тихий переулок, его окликнул школьный дружок Витька Пермяков:

— Горюн, да ты откуда и какими судьбами? Целый век тебя мы не видели. Почему в штатском? Хоть бы рассказал о своем житье-бытье. Я бы тебя кружечкой пива угостил, но очень спешу. У нас с Катенькой Рыжовой поход на танцы запланирован. Так что извиняй. Завтра к тебе забегу.

Алексей облегченно вздохнул и быстро зашагал вдоль зеленых, серых и голубых заборов, увитых плющом, сдерживающих напор сирени или попросту голых, каких немало в любом провинциальном городке. Ему хотелось уединиться.

Было у Алексея заветное место, куда он приходил в минуты своих радостей и печалей,— знаменитый Покровский бугор. Честное слово, во всем Верхневолжске нельзя было найти более живописного уголка, и, право же, горисполкому давно надо было разбить здесь скверик со скамеечками. А впрочем, может, и правильно делает мудрое городское начальство, что не переделывает тут природу, не отягощает пейзаж голубыми скамеечками, урнами,

клумбами и прочими атрибутами. Здесь чертовски хорошо и так! Плохо только, что, прежде чем попасть на Покровский бугор, нужно больше километра прошагать от центра. Вот почему не так-то много на бугре народу. Это либо ватага играющих мальчишек, разбегающихся по домам при первых признаках темноты, либо две-три влюбленные парочки, уже настолько уверовавшие в прочность своей любви, что им попросту нечего стало делать в шумном городском парке. Да еще забредет сюда иной раз пенсионер или не столь давно отстраненный от должности неудачливый начальник — задумчиво поглядит в заволжскую даль, будто в зеркало своей жизни, подумает, попечалится и уйдет, вдоволь надышавшись речным воздухом...

Алеше Горелову хоть в этом повезло — в тот день на Покровском бугре никого не было. Видно, встреча Гагарина была тому причиной.

Алексей подошел к самому обрыву и замер, завороженный красками наступающего вечера. «Нет, такого мне на полотне не изобразить!» — грустно признался он самому себе.

Под подошвами его коричневых запыленных полуботинок с легким шуршанием осыпался грунт. Пыльные струйки убегали вниз и терялись в высокой траве. Справа и слева стояли литые, как свечи, сосны — словно подпирали бугор. А впереди, ровная и раздольная, распахнулась матушка-Волга. Было заметно, как под бугром, на ее серой поверхности, закипают струйные заверти, оставляя след. Солнце уже успело перебросить через реку, прямо от обрыва и до левого низкого берега, поросшего ивняком и осокой, широкий золотой мост. Где-то за излучиной, еще невидимый, три раза прогудел пароход, а потом показался и сам, белоснежный и сияющий огнями всех трех палуб, совсем не похожий на своих отцов, дедов и прадедов, что еще лет пятнадцать назад шлепали плицами по волжской глади. На большой скорости приближался пароход к городу, следуя куда-то к Ярославлю, Горькому, а потом, видно, и к самой Астрахани. С самой верхней палубы любовались волжскими пейзажами десятки пассажиров, и, когда пароход поравнялся с бугром, Алеша, как в прежние годы, созорничал, рупором сложил у рта ладони и крикнул во всю мочь:

— Э-ге-й! Люди! Доброго вам пути!

Эхо подхватило его басок, услужливо донесло до самого заречья и замерло.

— Небось и не услыхали, — засмеялся Алеша.

Но кто-то из стоявших на палубе, очевидно, заметил его невысокую плотную фигурку и помахал приветственно белым платком. И уже с опозданием эхо доставило:

— И тебе тоже богатырем быть волжским!

— Ишь ты! — польщенно покачал головой юноша.

В это время пароход попал на солнечную дорожку и мгновенно преобразился, весь, от верхней палубы и до самого низа, засиял золотыми бликами.

— Красотища-то какая! — прошептал Алеша.

И он подумал о том, какая поистине могучая и сильная русская река Волга, сколько селений и городов обосновалось на ее берегах, сколько великих людей родилось, выросло, совершило подвиги и навеки закрыло свои глаза, а она все течет и течет, такая же юная и древняя, неспособная растратить свою красоту и мудрость.

«Великие люди... — размышлял про себя Алексей. — Как много их связано с Волгой! Ленин, Горький, Степан Разин, Пугачев, Чкалов... А вот я, простой российский парень Алешка Горелов. Ну что из меня выйдет, какой дорогой пойду, если не постою за свое заветное?»

Покровский бугор был для него не только любимым местом, откуда открывался взору волжский пейзаж. Разве забудет он, например, ту ночь, когда целым классом, взявшись за руки, долго бродили они по улицам Верхневолжска, пока не перепели все им известные песни, какие только можно было петь хором. Потом вчерашние десятиклассники, но с этого вечера уже не школьники, а взрослые люди, которым предстояло самим решать свою судьбу, сбились веселой стайкой на этом бугре. Розовело утро, и горизонт за левым берегом уже подернулся нежным сиянием, звезды начали тускнеть, одна только луна была такой же безжизненно выразительной и висела низко-низко над ними...

Володька Добрынин прутиком помешивал в костре золу — там пеклась обугленная в мундирах картошка, каждому по штуке. Посмотрев на ночное светило, изрек:

— Ишь как близко от нас проплывает! Кажется, рукой достать можно.

— Видит око, да зуб неймет! — говаривал в таких слу-

чаях дедушка Крылов, — засмеялась востроглазая, щуплая Леночка Сторожева.

— Да на кой она вам черт сдалась! Вот не понимаю, — пожал равнодушно плечами Алеша, — огромная стылая глыба, и только. Горы и пропасти на ней небось безлюдные, и ни одного живого существа. Даже и рисовать-то ее неохота.

— Эй, ребята! — закричал в эту минуту Володя Добрынин, угреватый высокий парень в нескладно сидевших на переносице роговых очках. — Картошка поспела!

— А соль? — послышался почти испуганный голос.

— Порядок, — хлопнул себя по карману Алеша, — в наличии.

— Запасливый, ты, Горюн, — засмеялась Леночка, — с тобой и на необитаемом острове не пропадешь.

— А ты попробуй, останься, — хохотнул рыжий Васька Сомов, явно намекая на то, что Леночка неравнодушна к Алеше, — с милым рай и в шалаше.

— Ладно, ребята, давайте без банальностей, — строго остановил его Добрынин, — принимайтесь за картошку.

— И за песню! — воскликнула звонкоголосая необидчивая Леночка и первая затянула:

Эх, картошка, объеденье, денье, денье,
Пионерский идеал,
Тот не знает наслажденья, денья, денья,
Кто картошки не едал.

Припев, всем классом подхваченный, дружно взлетел над притихшей, объятой рассветом рекой, и ему испуганно откликнулся за перекатом сонным коротким гудком невидимый буксир-плотовоз. Потом они втроем — Алексей, Леночка и Володя — отбились от ребят, сели на край оврага и стали швырять вниз мелкие камешки. Алеша смутно угадывал, что нравится Леночке, но не знал, что подслеповатый нескладный Володя Добрынин давно уже любит ее. Поэтому они и ходили всегда втроем, снискав у одноклассников звонкое прозвище «триумвират».

— Ребята! — остановил их Добрынин. — В сторону всё! Давайте о будущем своем говорить.

— А как это? — наивно спросила Леночка.

— А вот так, — приподнимаясь, продолжал Володя. — Десять школьных лет нам твердили: дети — цветы нашей жизни. Нам вытирали носы, штопали носки и ставили за-

платы на штанишках. Нас кормили супами, котлетами, пирожками, а по праздникам — сладостями. Мамы и папы снисходительно гладили нас по головкам или угрожали ремешком, смотря по их настроению и по нашим проделкам. Наши любимые педагоги Наталья Петровна и Сергей Алексеевич выставляли нам все баллы от двух до пяти — в зависимости от заслуг. Это были десять чудесных лет, ребята. Но они промелькнули. Нам уже никто не скажет: цветы нашей жизни. Нас уже будут спрашивать. Сперва потихоньку, легонько, ласково, а потом все строже и строже: а как ты вступил в жизнь? А что ты собираешься в ней сделать, чему отдать силы? Мы же не разочарованные в жизни Онегины и Печорины. Мы пойдем вперед. По этой вот звонкой рассветной росе пойдем.

— Сказал тоже! — добродушно ухмыльнулся Алеша, которому вообще-то понравилась пылкая Володина речь. — Откуда ты взял, что роса — звонкая?

— Алешка, не перебивай! — прикрикнула Леночка. — Он хорошо говорит.

Добрынин снял очки, посмотрел благодарно близорукими глазами на Леночку и стал протирать стекла.

— Звонкая роса — это, конечно, образ, — поправился он, — но лично я свою судьбу уже решил. Буду сдавать на геологический.

— Я тоже решила, — поспешила Леночка. — Поеду на Сахалин. Постараюсь пройти в педагогический.

— Эка у вас все в рифму получается, — засмеялся Горелов, — педагогический, геологический...

— А ты что надумал? — мягко окликнула его девушка.

— Нашла кого спрашивать, — снисходительно бросил Володя Добрынин, — у нашего Горюна все как по нотам расписано. Первый дипломант областной художественной выставки. Звучит? Его примут в какое-нибудь высшее художественное, а то и в академию живописи. Лет десять пройдет, а там, гляди, при встрече и шляпу снимать не будет. Станет каким-нибудь знаменитым пейзажистом, заслуженным деятелем искусств и тэпэ и тэдэ...

Алексей выплюнул изо рта камышинку, рассмеялся:

— Все как по нотам, говоришь? Ой, Добрыня, не угадал. Я действительно уже определился. Но только...

— Не в художественное? — воскликнули оба в один голос.

— Нет, не в художественное. Хотя не скрою, наш Павел Платоныч даже осерчал, узнав об этом.

— Так куда же?

— Сегодня был в райкоме, — издалека повел речь Алеша.— Ну вот и они, райком комсомола то есть, рекомендацию обещали дать...

— Куда же, Алеша?

— В школу военных летчиков. Ни больше, ни меньше.

Леночка бурно захлопала в ладоши:

— Алешка! Ты будешь военным летчиком? Вот здорово! Вот прелесть! Это же действительно звучит, мальчики: военный летчик Алексей Горелов. Только не обманешь? Слово сдержишь?

— Сдержу, — засмеялся Алеша.

...И он не обманул.

Вскоре в поздний вечерний час пришел он домой, позвал мать в свою маленькую комнатку.

— У меня к тебе дело, мама. Важное.

Она хлопотала у печи, готовя ужин. Пришла сразу, будто сердце подсказало, что разговор предстоит действительно серьезный. Грустными задумчивыми глазами смотрела на еще более возмужавшего сына. «Уже не школьник. Скоро упорхнет куда-нибудь. Разве удержишь? Да и надо ли держать?»

— Я тебя слушаю, сынок.

— Мама, помнишь, ты говорила, что пора бы мне и к делу какому прибиваться серьезному?

— Я тогда не понимала, сынок, что твои рисунки тоже серьезное дело, — тихо вымолвила Алена Дмитриевна и, словно ища себе поддержки и оправдания, обвела глазами стены, увешанные пейзажами и портретами Алешиной работы.

— Так я и определился, мама, — торжественно возвестил Алексей. — Меня в летную школу берут. На, почитай.

Он протянул ей небольшой листок с машинописными строчками. В них говорилось, что сын погибшего офицера-фронтовика Алексей Павлович Горелов «должен явиться в военное училище летчиков для сдачи экзаменов и прохождения медицинской комиссии не позже десятого августа...» Стояла подпись: начальник авиаучилища Герой Советского Союза гвардии полковник Ефимков.

Мать побледнела, поднесла к лицу сухие натруженные ладони.

— Не пущу! Отец в танке сгорел, а ты на самолете разбиться хочешь. Знаю я эти реактивные! Их и на картинке смотреть-то жутко.

— Мама, — укоризненно остановил ее Алексей, — ты еще ремень со стены сними.

— И сниму! — угрожающе выкрикнула она.— Ни разу в жизни не снимала, а сейчас сниму.

Алеша еле дал ей договорить. Кинув на стол бумагу, он схватил ее за руки и закружил по комнате.

— Ну, бей, мама! — кричал он в радостном исступлении. — Всыпь как следует своему непутевому сыну, только прости. Все равно уже ничего не изменишь.

— Да постой, сумасбродный! — оттаявшим голосом воскликнула она. — Давай лучше сядем да поговорим обо всем толком.

— Вот это уже деловой подход, мама.

— А как же твои картины, сынок? Я-то уж думала, в художниках себя будешь пробовать.

— Этого у меня никто не отберет, мама, — улыбнулся Алексей, — даже если до генерала дослужусь, все равно рисовать буду. А реактивные истребители — это же мечта! Скорость за тысячу, пушечки такие, что никто в наше небо не полезет. А форма, мама, у военных летчиков какая! Да и оклад притом ничего. Тебе помогать как следует стану...

— Так-то оно так, сыночек, — грустно согласилась Алена Дмитриевна, — только кто еще из твоего класса в летчики пошел?

— Никто, мама.

— Значит, один ты?

— А какое мне дело до других! — кипятился Алеша.— Каждый по душе должен выбирать себе место в жизни. Ох и трудно же тебя агитировать, мама!

Они долго просидели за этим разговором. Электрическая лампочка горела уже зря, потому что лез в окна без спроса веселый верхневолжский рассвет, и мать, поцеловав сына в лоб, сказала ему, как маленькому:

— Ложись спать, сынка. Угомон до тебя придет.

...Кажется, совсем недавно все это было. А потом? Словно сон, промелькнула бурная курсантская жизнь с подъемами и отбоями, тревогами и занятиями, с по-

летами на учебных и учебно-боевых острокрылых машинах и даже с двумя внеочередными нарядами, полученными за пререкания со старшиной.

Из застенчивого паренька превратился Горелов в крепкого, обветренного аэродромными ветрами юношу. Его выносливости и способности переносить безболезненно в воздухе перегрузки завидовали товарищи.

Алексей закончил школу с отличием, получил назначение в один из южных гарнизонов и тридцать суток отпуска. Все шло гладко, размеренно. Он и подарки матери привез, и новенькой, хорошо пригнанной формой лейтенанта поразил. И вдруг это краткое посещение Гагариным их городка... «Вот и прощай, мечта, — грустно подумал он, — завтра в часть».

...Вдоволь надышавшись прохладным речным воздухом, проводив последний окаемок солнца, скрывшийся за горизонтом, Алеша пошагал домой. Густые сумерки заволокли Огородную улицу, когда он распахнул калитку. Мать уже давно пригнала козу и успела ее подоить. На столе Алешу ожидал стакан теплого молока, вареники со сметаной и холодные щи. Мать села с ним вместе, потом встала, откуда-то из-за печи достала нераспечатанную бутылку.

— Может, выпьешь, сынок «столичной»? — спросила она нерешительно. — Никогда раньше этим зельем тебя не потчевала, но теперь ты большой. Может, ради встречи надо?

— А ты, мама, выпьешь? — вопросом на вопрос ответил Алексей.

Она испуганно отстранилась:

— Что ты, сынок! Я ее никогда не пью. А ты — как знаешь. Говорят, летчики все пьющие.

— Кто это тебе так расписал нас, мама? — засмеялся Алексей.

— Бабка Додониха давеча у колонки говорила. У ней двоюродный племянник в самолетных механиках служил, так вот она на него ссылалась.

— Неисправима твоя бабка Додониха.

— А разве не так?

— Нет, мама, — весело пояснил Алеша, — тот, кто любит эти бутылочки, долго в реактивной авиации не полетает. Они по самому дорогому бьют — по сердцу. А без него, сама понимаешь, какой из человека летчик,

— Ну а ты как?

— Только по большим праздникам да когда товарищей много собирается, — признался Алексей, — один же, ей-ей, в рот не беру.

— Вот и не надо, — одобрила мать, и он понял, что, предлагая водку, она очень хотела, чтобы он отказался.

Седенькая, немного ссутулившаяся, нажившая за эти два года одинокой жизни новые морщины, сидела напротив мать. Алеше стало ее жалко, и он сказал, желая доставить ей приятное:

— Мне тут подъемные выдали, мама. Целых сто двадцать рубликов. Это всем выдают, когда к новому месту службы направляют. Для расходов по переезду. Ну а какие у меня расходы? Ты их возьми, эти деньги.

— Что ты, милый! — счастливо заулыбалась Алена Дмитриевна. — Мыслимо ли? Вдруг самому какая нужда!

— Хоть половину возьми, мама, — настаивал Алеша, — сама же говорила, осенью крышу крыть.

— Половину я, пожалуй, возьму, если велишь, — согласилась она. — На крышу действительно надо.

— Вот и чу́дно.

Алеша хотел уже укладываться спать, но она, стараясь придать своему голосу предельное равнодушие, все-таки спросила:

— Давеча ночью ты письмо какое-то писал перед тем, как на встречу с Гагариным пойти. — Она прищурилась и в упор смотрела на него исподлобья.

Алексей отодвинул от себя пустой граненый стакан.

— Сознаюсь, мама. Я действительно хотел передать это письмо в руки космонавту. У меня к нему была большая просьба — взять в их часть.

— В космонавты! — всплеснула руками Алена Дмитриевна. — Господи боже, как был ты дитем неразумным, Алеша, так и остался. Да ведомо ли тебе, что сейчас с такими просьбами к нему тысячи валят? На что же ты, лихая головушка, рассчитывал?

— На суворовскую поговорку, мама. Смелость города берет.

Алена Дмитриевна только вздохнула. Ей понравился даже этот его наивный порыв. Улыбаясь, она рассматривала лицо сына. Если бы не вздернутый отцовский нос да не вьющиеся волосы, оно было бы, возможно, строгим и

сосредоточенным, но нос и кудряшки делали его добрым и веселым.

Где-то в темном углу методично потрескивал сверчок, да комар еще вился под желтым шелковым абажуром вокруг лампочки. Мать задумчиво вздохнула:

— Алешка, Алешка, какой ты у меня страшный фантазер! Вот и отец твой был таким. Что ни получим, трактор или сеялку, — непременно задумается и какое-нибудь из своей головушки усовершенствование предложит. Только у него фантазия дальше сеялок и комбайнов не шла, а ты, мой милый, до самых звезд хватил. Иди-ка спать лучше. Небось замучили вас в училище летном ранними подъемами. Хоть на побывке-то отдохни.

* * *

Глубокой ночью, прогрохотав на стрелках, скорый поезд подкатил к небольшому степному полустанку и, высадив единственного пассажира, обдав белесым паром невысокую кирпичную постройку, важно проследовал дальше.

Оставшись на перроне, этот единственный пассажир поставил на стертый, с выбоинами асфальт объемистый чемодан, положил на него армейскую шинель и, стряхивая остатки сонливости, потянулся. На больших электрочасах было половина четвертого. Вдыхая предутренний воздух, пассажир прислушался, как замирает за поворотом грохот колес.

Полустанок был нем, блекло горели на перроне дватри фонаря, и только фигура железнодорожника, выходившего встречать и провожать поезд, свидетельствовала, что здесь все же теплится жизнь.

— Товарищ! — решительно окликнул его военный. — Как бы мне до Соболевки добраться?

В руке у железнодорожника почему-то был старомодный фонарь, и он, не доверяя бледному электрическому свету, высоко его поднял, чтобы получше рассмотреть говорившего.

— До штаба дивизии, что ли? — переспросил он ворчливо.

— Ну да, — растерялся Алеша.

— Так бы и говорил, лейтенант, — засмеялся железнодорожник, — а то темнишь, будто я у тебя военную тай-

ну выпытываю. Соболевка-деревня это одно, а Соболевка-аэродром — другое. Деревня — вправо, а аэродром и штаб дивизии — влево. Ты лучше подожди, пока светать начнет, а то не туда вырулишь. У них недавно ночные кончились. Сейчас небось еще самолеты по стоянкам растаскивают. Через часок, перед первой утренней сменой, техники двигатели станут опробовать. Вот тогда и шагай на шум, лейтенант.

— А вы откуда все с такими подробностями и авиационными терминами знаете, дядя? — не удержался от вопроса Алеша. — Можно подумать, сегодня ночными полетами руководили.

— Сегодня не руководил, — мрачно ответил железнодорожник, — а было время — помощником руководителя на старт действительно выходил. И кажется, на СКП не был лишним.

— А почему же фонариком теперь машешь?

— А ты про миллион двести слышал? — хмуро спросил незнакомец. — Знаешь, что это за цифра и с чем ее едят?

— Да, вроде знаю. На такое количество людей армия наша сокращалась.

— Вот и я вошел в это количество.

Железнодорожник презрительно повернулся к лейтенанту спиной, дошел до двери и сильнее, чем полагалось человеку в спокойном состоянии духа, дернул ее на себя так, что пружины завизжали. Но прежде чем сутулая спина незнакомца скрылась за дверью, до лейтенанта донесся его сердитый голос:

— Желаю тебе, лейтенант, в катастрофы авиационные не попадать. И в миллион двести раньше времени тоже.

Дверь захлопнулась, и на перроне воцарилась глубокая тишина. Пожав плечами, лейтенант взял свои вещи и, обогнув здание полустанка, вышел на небольшую, вымощенную булыжником площадь. Ни одной машины, ни одной повозки... Он сел на скамью, дремотно зажмурил глаза. Тихо и пустынно вокруг. «Вот и началась твоя самостоятельная жизнь, Алексей Павлович Горелов», — сказал самому себе лейтенант.

Мрачный железнодорожник оказался прав. Едва лишь развиднелось, километрах в трех слева от полустанка ожил невидимый аэродром, наполнился тонким свистом

турбин, гудом автомашин, появившихся на подъездных путях. Желтые конусы от фар стали вспыхивать то в одном, то в другом направлении, и по ним да по реву двигателей лейтенант точно определил расположение аэродрома.

За какие-нибудь сорок минут Алеша дошел до проходной и, доложив о себе дежурному по гарнизону, получил от него самые точные координаты:

— Видите аллейку, лейтенант? Шагайте по ней и упретесь в красный кирпичный дом. Там найдете всех — от комдива и до начпрода включительно, который укажет маршрут в летную столовую.

Алексей усомнился:

— Комдива в такую рань все-таки, думаю, там нет.

Но разбитной старший лейтенант с повязкой дежурного на рукаве лишь усмехнулся:

— Другого, может, и нет, а наш на месте. Наш с утренней зорькой начинает, с вечерней кончает.

И Горелов покинул дежурку.

Чахлые, спаленные за лето жарким солнцем акации росли по обеим сторонам асфальтовой аллеи. В конце она раструбом упиралась в длинное трехэтажное здание, видимо старое, потому что в отличие от рядом стоящих аэродромных построек было оно не из блоков, а из цельного красного кирпича. Над крышей возвышалась такая же красная, с большими окнами для обзора вышка командного пункта, увенчанная выгоревшим на ветру флагом Военно-воздушных сил.

Длинный коридор первого этажа хранил прохладное молчание. У зачехленного полкового знамени стыла фигура часового, и Алексей с курсантской старательностью откозырял: не часовому, конечно, а знамени, под которым предстояло служить.

Не сведущие в армейской жизни люди склонны иной раз иронизировать над слишком частыми, по их мнению, козыряниями, положениями «смирно» и командами «Вольно», без каких и на самом деле невозможно обойтись в армейской жизни, подчиненной сухим, на первый взгляд, уставам и правилам. Но честное слово, есть что-то трогательное, полное глубокого смысла в том, что, увидев Знамя части, тянет молодой человек в военной форме руку к виску. И безошибочно можно сказать: значит, глубоко сидит в таком парне сознание своего долга и уваже-

ние к багрянцу пролитой под этим знаменем на полях сражений крови.

Шагая по коридору, Алеша читал дощечки на плотно закрытых дверях: «Начальник политотдела полковник Ремизов», «Начальник штаба подполковник Савалов». И только на обитой кожей двери было написано просто: «Командир дивизии».

Алеша, не раздумывая, открыл эту дверь и очутился в пустой приемной. Другая дверь, ведущая в кабинет командира, была приотворена, и оттуда доносился чуть-чуть сердитый бас:

— Как вы поставите «пятерку» в плановую таблицу, если сами утверждаете, что ее еще в воздухе полагается опробовать! Так дело не пойдет. Надо, чтобы все на уровне было... Как не хватило времени?.. Что же, у командира дивизии кладовая времени, что ли? Мне и на свои дела двадцати четырех часов еле-еле хватает. Но укладываюсь. Так что и вы постарайтесь.

Стукнул телефонный рычаг под опущенной трубкой, и Горелов понял, что настала минута действовать. Приоткрыв дверь, он с порога громко произнес:

— Разрешите?

— Да, да, — прогудел из комнаты бас.

Горелов поднял голову и чуть было не протер ладонью глаза, до того фантастическим и нелепым показалось то, что он увидел. За зеленым сукном массивного письменного стола, заставленного пластмассовыми макетами стреловидных реактивных истребителей и огромным аляповатым чернильным прибором с быком из белого мрамора, сидел начальник авиаучилища полковник Ефимков. Кузьма Петрович Ефимков, с которым ни дать ни взять он расстался месяц назад, выслушав его немногословное, но довольно-таки соленое напутствие о том, как должен порядочный честный летчик шагать в двадцатом веке по авиационным стежкам-дорожкам.

Был Ефимков в форменной рубашке с матерчатыми погончиками. На спинке древнего резного кресла висел его китель с пестрыми рядами орденских планок и золотой звездочкой.

Озадаченный, Алексей молча смотрел на полковника широко открытыми глазами. Нижняя полная губа у Ефимкова потешно затряслась от смеха, и небольшие уси-

ки под крупным с горбинкой носом немедленно пришли в движение.

— Ну чего же не докладываешь-то? — любуясь замешательством лейтенанта, спросил полковник. — Язык к гортани прилип? Или я таким уж грозным стал, что ли?

— Да как же, товарищ полковник, — замялся Алексей, — только что меня провожали к новому месту службы, и к вам же, выходит, прибыл. Вам же и докладывать о прибытии приходится.

— Так и докладывай, не ленись.

Не зная, шутит комдив или говорит всерьез, Алексей принял положение «смирно».

— Товарищ полковник, лейтенант Горелов прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы.

— Вот так-то, — одобрительно сказал Ефимков и вышел из-за стола. Огромный, почти в два метра ростом, с широкими плечами, он дружелюбно полуобнял Горелова, усадил рядом с собой на дерматиновый диван.

— Значит, удивился, Горелов? Ничего. Привыкай к тому, что авиация — это прежде всего скорость. Пока ты отдыхал месяц на родине, твоего бывшего начальника вытряхнули с насиженного места и принять дивизию приказали, чему он, откровенно говоря, рад. Это, во-первых. Ну, а во-вторых... — Он задумался, прислушиваясь к реву выруливающих на старт истребителей, мельком скользнул взглядом по циферблату стенных часов, видимо, проверяя, точно ли выполняется плановая таблица. — ...Во-вторых, был у меня в свое время хороший командующий генерал Зернов. Любил повторять: «В авиации дорожки узкие, всегда пересекутся». Как видишь, все закономерно, хотя на первый взгляд и необычно.— Он встал и тяжелыми шагами из конца в конец промерил кабинет. — Куда же мне тебя определить, Горелов? Учился ты хорошо, летал тоже не худо. Ладно. Пойдешь служить в самый передовой полк, к майору Климову.

* * *

Нигде, пожалуй, не встречают так спокойно нового человека, как в авиации, где летная жизнь не замирает ни днем ни ночью.

Те, кому приходится по должности принимать новичков, давно к таким встречам привыкли и редко придают

им какую-либо торжественность. Просто они стараются окружить человека заботой и вниманием, чтобы тот как можно скорее ощутил себя своим среди ветеранов.

Комендант гостиницы, отданной в распоряжение офицеров-холостяков, заставил Горелова подняться на третий этаж, выдал ему ключ и сказал:

— Это запасной. Другой — у второго жильца, лейтенанта Комкова.

Комната была маленькая, метров двенадцать, не больше. Стол, платяной шкаф, две койки.

Горелов разделся, прилег отдохнуть, но тотчас же провалился в крепкий сон. Сказались и длинная ночь — он провел ее не сомкнув глаз, — и волнения, и дорога пешком с тяжелой поклажей...

Когда он очнулся, то сразу почувствовал, что в комнате не один. Глаз не открыл, услышал легкое поскрипывание стула. Вероятно, второй обитатель комнаты сидел за столом. Сначала Алеша предположил, что тот пишет или читает. Но минуту спустя до его слуха дошло шуршание бумаги, стук твердого предмета о стенки стакана и шорох, не оставлявший теперь никакого сомнения, — его сосед брился. Делал он это спокойно и деликатно, стараясь не шуметь. Но потом вдруг стал греметь стулом, бритвенной утварью и вдобавок ко всему засвистал какой-то сумбурный мотивчик, нечто среднее между «тореодор, смелее в бой» и футбольным маршем.

Алеша открыл глаза и тоже подчеркнуто откровенно заворочался на своей койке, так что сетка, провисавшая под его телом, отчаянно взвыла. Перед собой он увидел голую спину незнакомца, сплошь покрытую крупными рыжими веснушками. Спина заворочалась, и зоркие любопытствующие глаза посмотрели на Алексея из-под рыжего чуба.

— Проснулись, товарищ лейтенант! — весело окликнул его незнакомец. — А я здесь умышленно шумел, чтобы вы обед не проспали. Собирайтесь.

Горелов, смахнув с себя простыню, вскочил с койки на прохладный паркетный пол.

Оба они стояли в одних трусах, с интересом рассматривая друг друга.

— Давайте познакомимся, — предложил сосед, — все-таки я здесь абориген. Лейтенант Василий Комков, старший летчик.

— Лейтенант Горелов, младший летчик, — засмеялся Алеша. — Видите, какая между нами дистанция!

— Чепуха, — быстро возразил Комков, — помните, что говорил Наполеон о маршальском жезле, который в ранце у каждого солдата. А жезл старшего летчика добывается гораздо проще.

Алексей разглядел на столе броскую фотографию. В густых зарослях мандариновой рощи, весь окруженный ветвями, согнувшимися под тяжестью спелых плодов, стоит летчик в довоенной форме. В петлицах — шпала. Волосы — спелая рожь. Грудь в орденах.

— Какой яркий снимок! — вырвалось у Горелова.

— Это отец, — мрачно сказал Комков, — на отдыхе в конце сорок первого снялся. Его в Цхалтубо лечиться после ранения посылали. А потом, в конце того же сорок первого, он погиб над Севастополем.

— А у меня отец в сорок третьем погиб... на Днепре.

— Вот как, — потеплевшим голосом откликнулся Комков, — значит, и вы сиротой росли? Я о своем отце всего и помню, что запах армейского ремня да золотой краб на летной фуражке. Рябинки вот еще на лице у него были.

— А я вообще ничего не помню, — грустно признался Алеша, — совсем тогда маленьким был.

— Да, — вздохнул Комков, — скоро сами отцами станем.

— Не рано ли? — усмехнулся Алеша. — Лично я так нет.

— О! — засмеялся Комков. — И оглянуться не успеете, как все придет. Сначала любовь, потом взаимность, загс и прочее.

— Так у вас же всего этого еще нет. Вы на три-четыре года каких-нибудь меня постарше.

— Вот чудак, разве же это по заказу происходит? Любовь — это не пенсия за выслугу лет. Положитесь на мой личный опыт. Через полгода будете гулять у меня на свадьбе. Хорошая девушка. Честное слово, хорошая.

— Как зовут-то хоть? — спросил Алеша, тронутый счастливым блеском его глаз.

— Любашей, — охотно ответил Комков, — здешний финансово-экономический техникум кончает. Сейчас у них самые горячие денечки — экзамены идут. Жаль, сего-

дня ночные полеты. Я бы вас познакомил. Однако чего мы стоим, как два голых петуха? Пора одеваться и — в столовую.

После обеда они сразу возвратились домой. Жаркая погода вынудила обоих раздеться. Комков перед вечерними полетами прилег, как и полагалось летчику, но сон не шел, и он с удовольствием продолжал расспрашивать соседа об авиаучилище, из которого тот прибыл, об однокашниках — среди них могли оказаться и его знакомые. Алеша рассказал, как добирался в Соболевку, вспомнил мрачного ночного железнодорожника.

— Это капитан Савостин, — усмехнулся Комков. — Он в нашей дивизии служил. В прошлом году уволили.

— Плохо летал? — осведомился Горелов. — Или по пословице: четыре раза по двести, суд чести и миллион двести?

Василий пожал плечами:

— Да нет. Просто наступил кому-то на мозоль. А потом в порядке сокращения личного состава стали нас омолаживать. Полагалось людей физически слабых и старшего возраста с летной работы уволить. Ну а омолаживанием кто занимался в нашей части? Одни старички, которым, моя бы воля, давно пора на пенсию. Вот они вспомнили строптивость этого капитана и записали его в «миллион двести». Теперь ходит по перрону, фонариком машет, дежурный по станции, так сказать. Впрочем, не будем обсуждать, лейтенант, действия старших. По уставу не положено. — Комков замолчал, но всего на минуту-две. — Подойдите к окну, Алеша, и посмотрите на аэродром, — позвал он внезапно.

Горелов встал у раскрытого настежь окна. Отсюда, с третьего этажа, летное поле производило внушительное впечатление. Над выгоревшей, вылинявшей за лето травкой господствовал белый цвет металла. Самолеты с длинными фюзеляжами и непропорционально короткими острыми крыльями рядами стояли на бетонных дорожках. Техники и механики хлопотали около восьми машин, выведенных на первую позицию. Этим машинам с наступлением темноты предстояло раньше других подняться с бетонированной полосы, и Алеша подумал, что среди них, вероятно, стоит и машина его соседа по комнате.

— Ну как? — разомлевшим голосом спросил Василий.

— Нравится.

— Эффектное зрелище. Вы на какой матчасти кончали школу?

— На «мигарях». Но потом летал немножко и на этих.

— И что скажете?

— Еще не разобрался как-то. По-моему, эти сложнее.

— Люблю летать на «мигарях», — задумчиво резюмировал Василий. — Для меня они ясная и четкая конструкция. А эта труба все пожирает: и знания и силы. Из нее после полета выходишь мокрый как мышонок. А в воздухе чуть зевнул, и кажется, что не ты ею управляешь, а она тебя таскает. Иногда идешь на полеты такой усталый... Вот, как сегодня.

Горелов с каким-то жалостливым чувством посмотрел на Комкова. Зачем он так мрачно? Полузакрытыми были глаза соседа, и на веснушчатом его лице лежала печать невеселого раздумья. Тревога проникла в Алешино сердце.

— Я вас не понимаю, Василий.

— А чего же тут понимать? — ответил тем же дремотным голосом Комков. — Что сказано, то и сказано.

— Но позвольте откровенно...

— Давайте на самых максимальных оборотах откровенности. Мы же соседи и, думаю, скоро станем настоящими друзьями.

— Вот поэтому я и хочу, Василий, — нескладно начал Алеша. — Мне кажется, если вы хотите летать на «мигах» и чувствуете, что вот этот тип самолета вам противопоказан, откажитесь от полетов на нем.

Комков пошевелил сухими губами.

— Отказаться? Да вы что, Алеша. У нас все-таки воинская часть, а не кружок художественной самодеятельности. — В его усталом голосе прозвучала грустная усмешка. — Да и притом, что обо мне в полку подумают...

— Ничего не подумают! — запальчиво воскликнул Горелов, и кудряшки зашевелились на его голове. — Да как же можно ложное самолюбие приносить в жертву здравому смыслу?!

— А вы бы отказались? — прозвучал контрвопрос.

— Я бы?.. — Алеша запнулся.

— Вот то-то и оно! — вяло заметил Василий. — Два-ноль в мою пользу. Самое трудное — это победить самого себя. Многие полководцы именно потому и обрекали свои армии на полный разгром, а народы на страшные жертвы, что не могли в критическую минуту победить себя,

выйти и сказать: вот я такой и сякой. Вы мне верили и верите. Но вы не знаете самого главного: раньше я мог, а теперь не могу, освободите меня... Ладно, перестанем об этом говорить,— закончил Комков примиряюще.

Но сон к нему не шел, и усталый мозг снова настраивал на разговор.

— Я очень часто думаю о сегодняшней нашей авиации,— продолжал рассуждать Василий.— Огромные скорости. Перегрузки, от которых мельтешит в глазах, а лицо уродуют гримасы. И вместе с тем кабина — это целая лаборатория. Как же много требуется от тебя, чтобы пилотировать такой самолет! И силенки сколько, и знаний. Попробуй сейчас сядь в кабину, не зная физики, алгебры, теоретической механики. Не много налетаешься. Мне вспоминается, как нам новый наш командир, Кузьма Петрович Ефимков, про войну и поршневую технику рассказывал. Тогда, говорит, иные воевали по принципу: или грудь в крестах, или голова в кустах. Гашетки, ручка, сектора газа, педали — вот и все. Он, конечно, утрирует, но многое верно. Разве сейчас с семиклассным образованием сядешь на истребитель?

— И все равно так же, как и в войну, кроме знаний и физической подготовки, нужно еще одно условие, чтобы летать.

— Какое же?

— Призвание,— тихо произнес Алеша.

— Лирика это,— отмахнулся Комков,— об этом призвании хорошо у поэта одного сказано, вот забыл его фамилию:

Земля нас награждала орденами,
А небо награждало сединой.

А впрочем, давайте лучше завтра договорим. Мне и впрямь пару часочков не грех соснуть. Боржоми не хотите? В наш военторг позавчера завезли, так я пять бутылок взял.

Горелов поблагодарил и отказался. Дождавшись, когда Василий заснет, он вышел из гостиницы. Надо было сдать в политотдел открепительный талон, стать на вещевой учет, зайти к замполиту полка.

Когда через два часа он возвратился, Комков встретил его на пороге. На нем была уже летная курточка песочного цвета с поблескивающей «молнией».

— Вот и хорошо, что пришли. Я с собой ключ брать не буду, зачем он мне в кабине.

— Отдохнули хорошо? — поинтересовался Горелов.

Василий дружелюбно похлопал его по плечу.

— Да что вы меня, как замполит или полковой врач, исследуете? Это им по штату положено такие вопросы перед вылетом задавать.

— Я ваш сосед, — с улыбкой напомнил Алеша, но Комков и тут отпарировал:

— А дистанцию между старшим и младшим летчиком забыли?

— Не забыл, Василий. Только вы мне очень усталым сейчас кажетесь. Не надо бы вам сегодня на ночные. И задание сложное небось?

— Э-э-з, бросьте-ка причитать, батенька, — как говаривал один хирург, вскрывая совершенно здорового пациента. Задание как всегда: перехват в стратосфере. Наберу высотенку, атакую в стратосфере цель — и домой. Так что гуд бай, геноссе, если перейти на помесь английского с немецким, — засмеялся Василий. Он пытался произвести на Алексея впечатление бодрого, уверенного в себе человека, но тени усталости лежали полукружиями у его глаз. Поняв, что обмануть соседа не удалось, он вздохнул — хочешь не хочешь, а идти надо.

Дверь почти бесшумно затворилась, и вскоре быстрые шаги Комкова замерли в лестничном пролете.

Оставшись один, Горелов распаковал свой чемодан с нехитрым холостяцким имуществом. Потеснив в платяном шкафу вешалки соседа, нашел место для шинели и двух военных костюмов, штатских брюк и рубашек. Потом написал коротенькое письмо матери, сообщив, что доехал благополучно и вполне прилично устроился. Покончив с делами, разделся и в одних трусах сел у окна.

Быстрые южные сумерки плотно обволакивали степь, принося с собой после душного дня прохладный ветерок. Картина ночного аэродрома волновала. Алексей пожалел, что не захватил с собой этюдник, подрамник, краски, кисти. Ночной аэродром так и просился на полотно! Т-образные раздольные бетонированные полосы были окаймлены гирляндами зеленых электрических лампочек. Эта дорожка приветливо горевших огоньков бежала вперед, к самому краю летного поля, и казалось, дальше тоже отрывалась от земли, устремляясь вместе с самолетом к голу-

бому, ровно мерцающему звездному куполу ночного неба... То ласково зеленым, то предостерегающе красным, запрещающим посадку светом загоралось и гасло электрическое стартовое Т — издревле знакомый всем авиаторам посадочный знак. Очевидно, это электрики опробовали световую сигнализацию перед полетами.

Почти бесшумно, как большие светлячки, двигались во все стороны тягачи-буксировщики, специальные машины, полуторки, выделенные для обслуживания полетов, и немногочисленные легковушки, развозившие по аэродрому старших начальников. Прожектористы дали яркий желтый луч. Он постоял несколько секунд почти вертикально, не в силах достать до безоблачного звездного неба, а потом, разрубив надвое летное поле, лег точно на бетонированную взлетно-посадочную полосу. Стойкий, не колеблющийся свет выделил ровный ряд стоявших на линии предварительного старта истребителей. Черные фигурки летчиков, техников и механиков суетились около них с завидной муравьиной старательностью. Горелов подумал, что там среди них расслабленной походкой шагает и его сосед лейтенант Комков. «Не понравился он мне сегодня... — вздохнул про себя Алеша. — Почему он такой утомленный?.. А говорит любопытно. Интересный парень».

Алеша включил настольную лампу, к которой моментально устремилась целая эскадрилья комаров, взял со стола фотографию летчика в гроздьях мандаринов и на оборотной стороне прочитал выцветшую надпись: «Родная Катя! Энное время ты можешь за меня не волноваться. Очень трудно дался в бою тринадцатый «мессер». Не зря говорят, что тринадцать — чертова дюжина. А на том «мессере» был действительно нарисован рогатый черт, и пилотировал его какой-то ас, барон, что ли. Я получил в том бою легкое ранение и теперь не столько лечусь, сколько отдыхаю в Цхалтубо. Природа здесь чудо. Видишь, какие мандарины вымахали. Вот бы Ваську нашего сюда — дал бы им жизни. А о тебе и не говорю. О тебе можно пока только мечтать. Обнимаю и целую. Вечно твой Виктор».

Алеша бережно поставил фотографию на место, еще раз полюбовался худощавым лицом Комкова-старшего и тотчас же с грустью вспомнил обелиск над Днепром, белозубую улыбку отца на фотографии, хранившейся у ма-

тери. «Значит, мы оба выросли без отцов, — подумал он, — с Василием стоит подружиться».

Он выключил свет. Тем временем на аэродроме ночные полеты шли своим чередом. На стоянках запели турбины. Сначала послышался тонкий плавный свист, но вскоре обрел он силу и превратился в рев, водопадом обрушившийся на окрестности. Грозные языки пламени вспыхнули за соплами самолетов, и загудел на все голоса ночной аэродром. Одна за другой стали взлетать боевые машины. По мере их удаления гул турбин становился мягче и тоньше. К голубым звездам полуночного неба прибавлялись новые: красные и зеленые. Это горели на плоскостях истребителей заветные огоньки АНО[1].

Потом на летном поле наступило затишье. Только желтый глаз прожектора иногда вспарывал темень над широким полем аэродрома.

Сонная истома одолела Горелова, и он задремал. Алеше снился родной Верхневолжск, яркий летний день после дождика. Он, маленький, шлепая босыми ногами, смеясь, убегает от настигающей его матери. Впереди крутой волжский берег. Он смело кидается с обрыва в реку, долго летит вниз головой, а прохладная вода все не прикасается и не прикасается к нему. И вдруг небывалой силы взрыв наполняет уши режущей болью. Все уплывает в сторону: и мать, и река, и дождевые лужи. Горелов открывает глаза и видит непонятные багровые отблески, мечущиеся по стенам комнаты. Вскочив с кровати, он бросается к окну и каменеет. Его сон действительно был прерван страшным взрывом. За окном — аэродром, но таким еще никогда не видел его Горелов за короткую свою службу в авиации.

По тем же рулежным дорожкам, оглашая сиреной южную ночь, мчится белая «санитарка». Впереди — успевшая ее обогнать пожарная машина. Зябко сник луч прожектора, застыл неподвижно над восточной окраиной летного поля, и в блеклом его свете Алексею представилась зловещая картина. Он увидел яркий костер. Пламя корежило упавший на землю истребитель и так быстро пожирало легкий металл, что пожарная машина была уже явно ненужной.

В желтой полосе рассеянного света прожекторов по-

---

[1] АНО — аэронавигационные огни.

казались темные силуэты. Это люди со всех стоянок бежали к месту взрыва. Бежали изо всей мочи, хотя твердо знали, что случившегося уже не поправить и они совершенно бесполезны человеку, погребенному под грудой горящих обломков.

Охваченный смутным беспокойством, Алеша стремительно оделся и тоже побежал на аэродром. Ветер свистел у него в ушах, фары обгоняющих автомашин слепили глаза, а он бежал все быстрее и быстрее, еле успевая переводить дыхание. Когда он приблизился к месту падения самолета, шаги его стали медленнее, а дыхание тяжелее. Пламя, угасающее под струей из брандспойта, уже долизывало высокий стрельчатый киль. Пожарники разгребали обломки. Горелов, втиснувшись в кольцо людей, увидел, как один из пожарников положил что-то на развернутые носилки, а другой негромко, но так, что многие расслышали, произнес:

— Здесь еще кисть с часами.

И Алексей понял — речь шла о человеке. Нехорошее предчувствие сдавило грудь. В отсветах угасающего пламени появилась фигура замполита, коренастого, со шрамом во всю щеку, подполковника Жохова, которому несколько часов назад представлялся Горелов. Замполит, подойдя, скользнул горестными глазами по лицу новичка и глуховатым голосом курильщика проговорил:

— Зря пришли, лейтенант. Не надо бы вам...

Алексей почувствовал, как свинцовой тяжестью наливаются ноги. Мимо него на санитарных носилках пронесли небольшой комок, накрытый белой простыней, — так мало осталось от человека, находившегося в кабине истребителя, дышавшего и говорившего несколько минут назад.

На огромной скорости примчалась «Волга». Из-за руля выскочил всклокоченный и злой комдив. Он сегодня не был на ночных полетах и только что приехал из города, расположенного в восьми километрах от летного поля — там находилась его квартира. Кольцо людей разомкнулось, словно разрубленное, и по образовавшейся просеке Ефимков тяжело и угрюмо прошагал к обугленным останкам самолета. Безмолвными тенями его сопровождали замполит Жохов, инженер и командир полка — щеголеватый, с тонкой талией, черноглазый майор Климов. Не оглядываясь на них, огромный, как монумент, Ефимков односложно спросил:

— Климов, вы все время держали с ним связь?
— Да, товарищ командир.
— Что он радировал?
— На двенадцати тысячах метров, после выхода из атаки, передал: чувствую тряску. Потом на две минуты связь прервалась. Я несколько раз его запросил — почему молчите? В наушниках сначала послышался стон, затем он очень отчетливо, хотя и слабым голосом, ответил: «Мне плохо».
— Это я знаю! — грубо перебил Ефимков. — Еще какие детали вам известны?
— Надо прослушать ленту магнитофона.
— Спасибо за совет! — отрезал комдив, и даже в полумраке огромные его белки гневно блеснули. — Я вижу, майор, на вас очень плохо действует бессонница, если даете такие само собой разумеющиеся рекомендации. Почему не проконтролировали лейтенанта Комкова перед допуском его к ночному полету?
— Он недавно прошел ВЛК [1], — тихо сказал замполит Жохов, — кардиограмма была хорошей, да и все другие показатели на месте.
— На месте, на месте, — грозно проворчал Ефимков, — а где теперь это место? На кладбище, вот где.
Он повернулся к ним всей громадой своего мускулистого тела и медленно зашагал к «Волге». Неведомая сила оторвала в эту минуту тяжелые Алешины ноги от земли.
— Товарищ полковник!
Ефимков уже у самой машины удивленно попридержал шаг, открыв дверцу, скосил на Алешу глаза:
— Ты-то откуда здесь взялся, Горелов?
— Товарищ полковник, — заглатывая слова и от этого еще более волнуясь, заговорил Алексей, — виноват... Я виноват. Он перед полетом на усталость мне пожаловался, а я не настоял, чтобы он от задания отказался, и командиру сообщить стыдным посчитал. Виноват!..
— Ну и спасибо за откровенность, — отмахнулся досадливо полковник. — Час от часу не легче.
Хлопнула дверца. «Волга» с места взяла скорость и помчалась поперек аэродрома к слабо освещенным ночным окнам штабного здания.

---

[1] ВЛК — врачебно-летная комиссия.

* * *

Горелов не спал до рассвета. Лежа на спине, он воспаленными глазами смотрел в давно не беленный потолок.

Почему командир дивизии его не выслушал и не расспросил подробнее? Почему даже не выругал столь же резко, как майора Климова и замполита Жохова? Ведь он, лейтенант Горелов, больше всех виноват, только он мог предотвратить катастрофу, и не сделал этого. Почему он не забил тревогу, узнав о настроении Василия, не пошел к командиру полка или его замполиту? Пусть бы отстранили от полетов Комкова и тот бы надолго с ним из-за этого вмешательства рассорился. Но ведь он остался бы жить. Смеялся бы и рассуждал о полетах, женился на студентке Любаше, допил бы свой боржоми, которым запасся в военторге. Словом, носил бы по земле свою молодость, а потом зрелость и старость еще долгие годы.

А теперь обгорелые его останки, из каких и покажи-то для гроба не соберешь, унесли санитары. Как же это все так? Почему на него, Горелова, никто не обрушился как на виновника, почему он должен терзаться один?!

Алексей вскочил, зажег свет и заходил по комнате. Ему было тоскливо среди вещей, хранивших на себе прикосновения Комкова, согретых теплом его рук, расставленных в том порядке, в каком он любил. Виски трещали от боли.

— Василий, прости! — прошептал Алеша.

«Нечего сказать, хорошо же ты начал свою летную службу! — казнил он себя. — А в чем, собственно, говоря, твоя вина? — возник в его сознании другой, уверенный голос. — Что, собственно, произошло? Твой однополчанин, еще не успевший даже стать тебе другом, доверчиво открыл душу. Он поставил тебя в известность, что не хотел бы летать на истребителях этого типа, что его тянет назад, к «мигам», что на новых машинах он устает и уходит на полеты расслабленным. Ты посоветовал ему отказаться от очередного полета и был им же за это высмеян. Мог ли ты после всего этого, вопреки согласию Василия, идти к командиру полка и настаивать, чтобы его исключили из плановой таблицы, доказать, что этот человек, совершенно здоровый физически, не должен лететь? Что бы сказал о тебе тот же майор Климов, замполит Жохов, сам Комков? Они бы посчитали твое заявление наивным и несерьезным. Где же правда? Виноват я или нет?»

За окном серый рассвет. Мелкий неожиданный дождик прибивает тугими брызгами травку, а на обгоревших обломках разбившегося самолета капли дождя как следы. Мрачно молчит аэродром. В штабе полковник Ефимков перечитывает коротенькое донесение на имя командующего:

«В ночь на 7 июля 1961 года во время полетов на отработку перехвата воздушных целей старший лейтенант Комков В. В. с высоты двенадцать тысяч метров передал о появлении тряски в самолете. Через три минуты сообщил, что ему плохо. На этом связь с летчиком прекратилась. Самолет упал на восточной окраине аэродрома и взорвался. Старший летчик Комков В. В. погиб. Причина катастрофы: потеря летчиком сознания. Мною отдан приказ о проведении тщательного расследования».

Ночь плывет над страной. Ночь приносит радости влюбленным, победы писателям и ученым, избравшим для своего творчества это тихое время. В Соболевке она принесла смерть молодому человеку, рядовому летчику нашего Военно-воздушного флота. Василий Комков с огромной высоты падал на землю на тяжелом, уже не управляемом им истребителе. Он сгорел в одиннадцать ночи. Но огромна страна наша. И где-нибудь, в одном из больших городов, в этот час гремела в городском саду музыка, и какой-нибудь замшелый обыватель, увидевший, как летчик в возрасте Василия Комкова легко и красиво кружит в вальсе партнершу, наверно, произнес затрепанное:

— Ох и везет этим военным! И оклады, и пайки, и обмундирование. Не жизнь, а малина.

Ночь плывет над притихшим авиационным гарнизоном, заглядывает в тридцатую комнату гостиницы, где мечется еще один тоскующий человек и пересохшим от горя голосом самого себя спрашивает: «Кто же скажет — виноват я или нет?»

* * *

Еще не было и семи утра, когда побледневший и осунувшийся лейтенант Горелов остановился возле знакомой ему, обитой кожей двери с дощечкой: «Командир дивизии». Нет, у молодого летчика не дрожали коленки перед предстоящей встречей. Спокойно и уверенно толкнул он дверь.

Незнакомый лейтенант, дежуривший в приемной комдива, вопросительно поглядел на Алексея:

— Я вас слушаю.

— Мне надо видеть командира дивизии.

— Вас он вызывал?

— Нет, но у меня серьезное дело.

— Полковник занят в связи со вчерашним. Вы же знаете.

— Знаю. Я тоже в связи со вчерашним.

Дежурный пожал плечами и скрылся за дверью кабинета. Возвратился он очень скоро, почти тут же, и развел руками.

— Должен вас огорчить. Сказал: «Я в курсе, но принять сейчас не могу».

С низко опущенной головой поплелся Горелов в гостиницу. Что же делать, если полковник Ефимков, знавший его на протяжении двух лет, даже видеть его сейчас не хочет? Значит, слишком велика его вина.

Приближалось время завтрака, но Алеше и думать было противно о еде. Ощущая слабость, поднялся он к себе на третий этаж, не раздеваясь, лег. С фотографии, стоящей на столе, на него укоризненно глядел военный летчик со шпалой в петлицах и, казалось, говорил: «Не уберег. Как же ты это? А?»

— Да не мог же я. Честное слово, ничего больше не мог сделать, — прошептал Алексей, чувствуя звон в висках и сухость во рту.

Как он заснул — не смог бы сказать. Видимо, сон был хрупок, как и у всякого возбужденного человека. Гулких шагов по коридору Алеша не услыхал. Но когда еле-еле скрипнула дверь, вскочил и замер от удивления. Чуть пригибаясь в дверях, в комнату вошел полковник Ефимков. Снял с головы фуражку, обнажив на лбу дорожку бисерного пота, глазами поискал на столе место, куда бы ее положить. Мохнатые, с проседью брови его сомкнулись над переносицей, отчего озабоченность на загорелом лице комдива проступила еще больше. Подвинув к себе стул, Ефимков сел.

— Ну, здравствуй, — спокойно произнес он, оглядывая Горелова. — Чего ж это ты на кровать в брюках да еще обутым взгромоздился? Я, кажется, не этому тебя обучал. Конец света, что ли, пришел?

— Кошки на сердце скребут, товарищ полковник.

— Кошек гони, — мрачно изрек Кузьма Петрович, — конца света тоже не предвижу. А ну-ка, дай лоб. Что-то ты мне не нравишься, парняга. — Он положил тяжелую ладонь на лоб лейтенанту, потом потрогал его щеки. — Так и есть. Градусов тридцать девять, не меньше. Небось южную лихорадку подцепил, да и нервишки сдали. Врача к тебе пришлю, чтобы все на уровне было. Ну а теперь рассказывай, зачем ко мне в кабинет ломился?

Горелов сел на койку и откровенно поведал комдиву о своих мучениях. Ефимков невесело покачал головой.

— Полагается в авиации по закону, установленному самой жизнью: если чувствуешь, что не готов к полету, заяви об этом и от полета откажись. Если знаешь, что твой товарищ не готов к полету, тоже скажи об этом командиру.

— А я вот не сказал, — признался Горелов.

— Юридически к тебе нельзя предъявить никаких претензий. А вот с точки зрения человеческой совести...

— Надо меня судить, — перебил комдива Алеша, но полковник, поморщившись, мотнул головой.

— Надо бы, конечно, — сказал он спокойно, — если бы ты промолчал.

— А разве я не промолчал! — горько воскликнул Алеша. — Разве я сказал о своих сомнениях командиру полка, вам или врачу?..

— Чудачок, — усмехнулся Ефимков и зачем-то потрогал усы. — Врач немедленно бы подтвердил, что Комков физически здоров и нет никаких оснований не допускать его к ночному полету. Вот ведь фабула-то какая! — Полковник побарабанил пальцами по коленке, потом, помолчав немного, спросил: — Так, говоришь, он и стихи тебе читал?

— Читал, товарищ полковник.

— Какие же?

— «Земля нас награждала орденами, а небо награждало сединой».

— Неважнецкий симптом. — Ефимков достал из кармана старомодную трубку с искусно вырезанным чертом в том месте, куда кладут табак, набил ее и, не раскуривая, отвел влево руку. — Если летчик выходит на полеты, как тореадор на корриду, его нельзя и близко к боевой машине допускать. Жаль только, прибора такого нет, чтобы определять неуверенность.

— Мне он дал в руки такой прибор, — быстро возразил Алексей, — свою откровенность.

— Хрупкий прибор, — хмыкнул Ефимков, — и не всегда верный.

— Почему же?

— Да потому, что я тоже иной раз в кабину усталым сажусь. Только я себя в этих случаях переламываю и никому об этом ни гугу. Но попытался бы кто-нибудь отстранить меня от полета! Вот, брат, какая она штука, жизнь... тонкая!

— Значит, я все-таки виноват...

— Чудак, — покачал головой Ефимков, — сказано чудак, чудак и есть. Существуют такие ситуации, которые не только законам, но даже собственной совести — более тонкому инструменту — неподсудны. Дай-ка лучше огонька.

Откинувшись на спинку стула, комдив выпустил в низкий потолок тонкую струю дыма.

— Вам теперь плохо, товарищ полковник, — сочувственно промолвил Горелов, — только дивизию приняли — и катастрофа... могут и выговор.

— Выговора посыпятся, — подтвердил комдив, — за этим дело не станет. Да что — выговора. В них разве дело? Человека нет. Понимаешь, Горелов, — человека. А что такое человек? — спросил он разгоряченно. — Что может быть выше и сложнее? Мы придумали истребители, летающие на сверхзвуковых скоростях, кибернетику, в космос забрались. Но какой Главный конструктор в состоянии изобрести человека? Ни один. Потому что нет в мире более утонченного существа, чем человек. Одна нервная система чего стоит. Я уж не говорю о таком необыкновенном аппарате, как мозг. — Полковник снова сел, покосился на застеленную кровать Комкова. — На фронте у нас традиция была: если летчик не возвращался из боевого вылета, никто на застеленную кровать не ложился. Пусть и его койка так постоит.

— Хорошо, — шепотом откликнулся Алеша.

Ефимков вздохнул:

— Каково его матери... Ей за пятьдесят. Для слабого материнского сердца такое известие... сам понимаешь...— Докурив в молчании трубку, полковник встал, с хрустом разминая спину, прошелся по комнате. — Вот ведь, черт. Тебя-то я выслушал, а о своем деле позабыл. Я же к тебе тоже пришел по делу.

— По де-лу? — удивился Горелов.

Ефимков ласково потрепал его по плечу:

— Вот что, Алеша. По училищу знаю тебя как способного художника. Здесь у нас этого сделать некому. Ты видел Василия Комкова. Ты получишь его увеличенные фотографии. Комков был честным человеком. Погиб как солдат. При расследовании катастрофы выяснилось, что он до самой последней секунды за машину боролся. Даже в полусознательном состоянии. О катастрофе и не думал. Так ты вот что. Должен срочно большой портрет его написать. Я сейчас к тебе врача пришлю, пусть он тебя микстурами заморит, а потом за дело. Кисти и все прочее тебе из клуба доставят. Сможешь до вечера сотворить?

— Смогу, товарищ полковник.

— Вот и спасибо. Мы этот портрет над его гробом повесим. Через час на самолете мать его к нам ожидается.

* * *

До самого обеда просидел Алеша над мольбертом, воскрешая по памяти и фотоснимкам простое, бесхитростное лицо лейтенанта Комкова с мечтательными глазами и рыжим, густо на них падающим чубом. На душе было тоскливо. Он зябко ежился — то ли от малярии, то ли от всего перечувствованного. И возможно, поэтому Василий получился на портрете более грустным, чем был в короткой своей жизни. Алеша нарисовал Комкова в расстегнутой летной курточке, именно таким, каким он ушел из этой комнаты в свой последний полет. Посыльный по штабу принес в котелках обед, но Горелов только супу похлебал немного да пол-ломтика хлеба съел, запив его боржомом.

Зашел замполит Жохов, неторопливо, то приближаясь, то удаляясь, всматривался в портрет, одобрительно сказал:

— Как живой получается.

Алеша кивнул головой.

— Ну и хорошо.

После ухода замполита Алеша нарисовал над головой погибшего легкие облака, нежно тронутые солнцем, и, как ему показалось, выражение печали в глазах Комкова смягчилось.

Под вечер портрет был вывешен в прохладном и длинном вестибюле гарнизонного Дома офицеров. Его поме-

стили на стене, между двумя знаменами, приспущенными над красной крышкой гроба. Алеша отстоял свою очередь в карауле. Видел он седую плачущую женщину, старавшуюся из последних сил держаться на людях. И еще одна скорбная фигура в черном была рядом. Бледная девушка с неброским продолговатым лицом. И он понял, что это о ней так ласково говорил ему, уходя в свой последний полет, Василий.

Медные трубы духового оркестра, игравшего в зрительном зале, наводили грусть, и Алеша потихоньку ушел.

* * *

— Лейтенант Горелов, — объявил майор Климов на предварительной подготовке. — Сегодня пойдете на перехват воздушной цели ночью в простых метеорологических условиях. Будете атаковать в стратосфере.

Три десятка по-разному подстриженных голов одновременно обернулись к Алеше, сидевшему на задней скамье. В распахнутые окна учебного класса вливалось южное утреннее солнце. В руках у сосредоточенного, умевшего всегда с шиком носить армейскую форму майора Климова была тонкая и длинная, как бильярдный кий, указка.

— К полету готовы?

— Так точно, товарищ майор.

Горелов чувствует на себе подбадривающие взгляды однополчан и понимает, в чем дело. По сравнению с другими молодыми летчиками комдив дал ему очень сжатую программу ввода в боевой строй. Осторожный и уравновешенный майор Климов попытался было запротестовать. После катастрофы он стал заметно перестраховываться и не перегружал молодых летчиков сложными заданиями.

— Может, подождем с Гореловым? — осторожно спросил он у комдива.

Но полковник бурно обрушился на Климова:

— Горелов в нашей части уже не новичок. Мне истребители, которые кислое молоко возят, не нужны. Смелость, настойчивость, разумный риск. Только при этом рождается настоящий воздушный боец... да и авиационный командир тоже, — уколол он Климова, но тотчас же подсластил пилюлю: — Это я не о вас, майор. Мне сейчас случай из собственной практики вспомнился. Прислали к нам как-то

в авиаучилище из одной дружественной страны группу молодых людей для обучения. А надо сказать, страна эта хоть и маленькая по территории, но люди в ней настоящие. Приказал я по всем нашим авиационным канонам пропустить их через медкомиссию. Оказалось, что у троих зрение ниже среднего, а двое так вообще книжный текст только с очками читают. Что прикажете делать? Сообщили по всем правилам через МИД, что обучение командированных в Советский Союз молодых офицеров дело рисковое в связи с такой-то и такой-то причиной. Изложили все аккуратно, как положено в дипломатической переписке. И вдруг депеша из этой страны. Знаете, как премьер их ответил: «Если по земле ходят и не разбиваются, смогут и летать, не разбиваясь. Революция требует, чтобы они стали летчиками». И что же вы думаете? Стали-таки летчиками. Стали. Летают сейчас на «мигах». А вы говорите, с Гореловым воздержаться...

Присутствовавшие при этом разговоре офицеры заулыбались, а майор Климов только головой покачал.

— Ну, товарищ командир, вы всегда под корешок рубанете, когда и не ждешь. Включаю Горелова в плановую таблицу.

И вот теперь, под одобрительные реплики летчиков, майор Климов ставил перед Алешей сложную для него задачу. Это был первый в его жизни ночной перехват. Горелов волновался. Он до самых мельчайших деталей продумал задание, повторил расположение всех наземных ориентиров, какие только могли понадобиться, более часа просидел в тесной кабине, репетируя предстоящие действия — от взлета и до самой посадки. Словом, когда в сумеречный вечер он появился у подготовленного к взлету истребителя, вся динамика полета была для него предельно ясна. Приняв рапорт от техника и тщательно осмотрев машину, Алексей поднялся по лестнице-стремянке в кабину.

Кто не видел кабины современного реактивного истребителя, вооруженного ракетными подвесками, тот удивился бы: как может размещаться в ней человек, затянутый в тяжелый высотный костюм, увенчанный неуклюжим гермошлемом, делающим его похожим то ли на водолаза, то ли на древнего рыцаря? Но человек не только помещался на узком пилотском сиденье, а еще подстегивал парашютные лямки, соединял себя шнуром с радио-

сетью, чтобы вести переговоры с землей. Окруженный десятками сложных приборов, он должен был безошибочно с ними работать, ни на секунду не забывая, для чего предназначена каждая кнопка, каждый рычаг и тумблер. А это тоже требовало экономных, расчетливых движений.

Горелов давно научился действовать в узком пространстве пилотской кабины и ее теснота его не тяготила. Все-таки как-никак, а уже около года летал он на самолетах нового типа.

...Ночь опустилась на аэродром, было безветренно, и звездное небо ярко горело над Соболевкой. Металлический корпус истребителя сохранял дневное тепло. Тонкий запах нитролака и металла наполнял кабину. Горелов проверил все агрегаты, доложил по радио о готовности. Стрелка, отмерявшая секунды, бежала по циферблату быстро, и ему показалось, будто команда «Выруливать» прозвучала раньше положенного времени. На малых оборотах, слегка подпрыгивая, вытащил белый истребитель свое тяжелое тело на ровную бетонку и уже оттуда, по команде: «Старт-143», вам взлет», рванулся вперед, мгновенно набрав необходимую скорость.

Метнулись назад две ровные строчки ограничительных огней, темный купол неба навис над фонарем кабины. Алеша потянул на себя ручку управления, и широкий, как труба, нос истребителя вздыбился, становясь в крутой угол набора высоты. Коротких стреловидных плоскостей он сейчас не видел: они оставались за его спиной. Алеша невольно вспомнил Комкова, называвшего этот тип истребителя трубой. Действительно, машина, обладавшая огромной скоростью, чем-то напоминала трубу. Будто выпущенная из гигантского лука стрела, вспарывая небо, мчалась она ввысь.

Горелов очень скоро набрал заданную высоту и не успел еще перевести машину в горизонтальное положение, как с командного пункта штурман приказал:

— «Старт-143», цель выше. Курс прежний.

Движение рулей — и большая стрелка описала на высотомере круг. Настали для молодого летчика секунды, когда наводящие команды посыпались одна за другой. В эту ночь перехваты учебных целей выполняли и другие летчики дивизии, и Горелов, связанный с командным пунктом радиоканалом, чутко ловил свои позывные. По этому каналу он получал приказания, докладывал об

их исполнении. Эфир кипел пестрыми, малопонятными для непосвященных фразами.

«Вам курс триста тридцать, высота пятнадцать» — это командовали ему. «Высота заданная» — это уже сообщал он. И снова ему: «Цель на встречных, приготовиться к развороту влево». Потом он: «Разворот выполнен». И опять ему: «Цель справа, включите высокое».

Двадцатый век освободил летчика-истребителя от необходимости напрягать зрение, чтобы в ночных условиях увидеть цель при сближении и маневрировать перед атакой. Всю эту сложную работу теперь выполняет всевидящий радиолокационный прицел, и в кабине реактивного истребителя летчик, преследующий противника, больше похож на инженера, склонившегося над прибором, чтобы произвести опыт, чем на бойца.

Чуть ссутулившись, следил Алексей за пульсирующими метками на матовом экране, маневрируя в воздухе, загонял их в пространство, которое именуется на прицеле «лузой захвата». А когда верхняя и нижняя метки совпали, радостно воскликнул: «Захват произвел!» Потом нажал кнопку. Две метки на экране пропали, и вместо них появилась одна новая. Летчики ласково именовали ее в обиходе «птичкой». Теперь «противник» находился в центре сетки прицела. Еще небольшой маневр, и Горелов торжествующе передал:

— Цель атакована.

— Молодец, возвращайтесь, — сказала ему Земля.

Он увидел, как резко отвалил вниз самолет-цель, исчерпавший полностью свою миссию в этом ночном полете. Горелов хотел переключить радиостанцию на второй канал, связывающий его не с командным пунктом, а со стартом, но вдруг впереди, повыше себя, заметил еще один синий бортовой огонек. Охваченный небывалым азартом от радости, что первая ночная атака увенчалась успехом, он запросил КП.

— Снова вижу цель. На этот раз визуально. Разрешите повторить атаку?

С командного пункта не сразу дошел до него неуверенный голос:

— Если видите, повторите.

Горелов увеличил обороты турбины и потянул ручку на себя. Снова истребитель полез вверх. Зеленый огонь, подрагивая, манил к себе. Кажется, он вот-вот импульса-

ми забьется в прицеле, и тогда можно будет еще раз передать на землю: «Закончил вторую атаку». Но прошли две минуты, три, а метки на экране не появлялись. «Что за чертовщина?» — подумал Алеша. Все так же дразня Горелова, цель не приближалась и не удалялась. «Подожди, я сейчас тебя все-таки возьму, — упрямо подумал Алексей. — Быть не может, чтобы не взял на таком сильном перехватчике». Он еще круче задрал нос истребителя и неприятно похолодел от того, что машину, всю, от стабилизатора до капота, охватила мелкая дрожь. Глянул на доску приборов — стрелка давно уже перешагнула предельную высоту. В ту же минуту прозвучал строгий окрик земли:

— «Старт-143», немедленно снижайтесь!

А зеленый бортовой огонь неизвестного самолета все манил и манил. Казалось, набери еще с полтысячи метров, и тогда он никуда не уйдет.

— Разрешите еще пятьсот метров набор? — запросил Алеша.

— Запрещаю, — донеслось с командного пункта.

— Вас понял, — сообщил на землю Горелов и, опустив нос самолета, стал снижаться.

Через несколько минут он по всем правилам сел. Подбежал техник самолета и лаконично спросил, будут ли замечания.

— Полный порядок, — бодро ответил Горелов.

— Вас тут посыльный искал, — сообщил техник. — Передал, как только зарулите — немедленно к командиру.

— К какому командиру? — уточнил Алеша. — К командиру эскадрильи?

— Нет. К майору Климову велено.

Пожав плечами и предчувствуя что-то недоброе, Горелов зашагал по летному полю к разрисованной в шахматную клетку деревянной двухэтажной будочке, где размещался СКП [1]. Пока он дошел, последние самолеты вернулись с учебного задания и, оглушительно ревя турбинами, заруливали на стоянки. Электрическое Т и стартовые огни на взлетной полосе были выключены. Сразу на аэродром навалилась темень. Из приоткрытой двери выбивалась жиденькая полоска желтоватого света. Алексей распахнул дверь и скрылся в ее проеме. По узкой винто-

[1] СКП — стартовый командный пункт.

вой лестнице поднялся на второй этаж. В остекленной комнате, откуда был виден весь, до квадратного метра, аэродром, майор Климов, замполит Жохов и еще несколько офицеров собирались домой.

— Товарищ майор, — входя в комнату, отрапортовал Алексей, — лейтенант Горелов по вашему вызову явился.

Климов, сгоняя усталость, провел сверху вниз обеими ладонями по лицу. Тонкие его губы сжались.

— Доложите о выполнении перехвата.

— На высоте семнадцать тысяч восемьсот получил первую команду с КП, стал сближаться с «противником» и атаковал его в двадцать три сорок одну.

— А дальше?

— Дальше «противник» ушел маневром вниз, и я на время потерял его из виду. Потом увидел над собой левый его бортовой огонек и попросил у КП разрешение атаковать вторично.

— И атаковали?

— Нет, — смущенно признался Алеша.

— Почему же?

— «Противник» был впереди, выше меня. Я набрал максимальную скорость, поднял самолет еще выше и почувствовал тряску. В это время с КП приказали возвращаться.

— Как вы думаете, — кусая губы, поинтересовался майор Климов и покосился на замполита Жохова, который, отвернувшись, делал руками какие-то знаки присутствующим. — Почему же самолет одинакового с вашим типа сумел подняться выше, а вы нет?

— Я до сих пор ломаю над этим голову, — совсем не по-уставному развел Алексей руками. — Кажется, так близко до него оставалось, а у меня двигатель уже не тянул.

Едва он закончил нескладную свою речь, как все присутствующие оглушительно расхохотались.

— Ну и потешил! — вытирал слезы Жохов.

Потом, как по команде, замполит и командир полка с двух сторон приблизились к Горелову, обняли его, растерянного и недоумевающего, за плечи.

— Милый ты мой, — совсем уже по-домашнему заговорил Климов. — До этого самолета, который ты столь победоносно пытался атаковать, было, если верить нашей астрономии, по меньшей мере, всего-навсего несколько

миллионов километров, а система этого самолета, опять-таки в нашей астрономии, именуется Венерой. Вот за кем ты гонялся, дорогой мой!..

— Быть того не может! — воскликнул Алеша потрясенно.

Командир полка ободряюще похлопал его по спине:

— Ладно, ладно, иди отдыхать, космонавт. Задание выполнил хорошо. И за дерзость хвалю. А мастерство, оно сразу не приходит ни к кому.

* * *

В дружной семье летчиков, жадных до всяких подначек и острот, за Алешей после этого ночного происшествия прочно укрепилось прозвище Космонавт. В эскадрильской стенной газете появился разрисованный красками шарж. Ночное небо, осыпанное большими и малыми звездами, внизу летит космический корабль «Восток-1» с выглядывающим в иллюминатор Юрием Гагариным, немного выше его — «Восток-2» с застывшим в удивлении Германом Титовым, а еще выше, устремляясь к Венере, несется на своем реактивном истребителе Горелов с лихим выкриком: «Догони-ка попробуй». Подпись под шаржем гласила: «По небу полуночи ангел летел» и далее стояло обидное многоточие.

Горелов рассматривал рисунок, хмурился:

— Очень банально. Я бы и то изобразил себя лучше.

— А мы не знали, что ты так самокритику любишь, — засмеялся проходивший мимо секретарь комсомольской организации белобрысый летчик Лева Горышин, — так что считай, что стенгазета за тобой. Это я от имени комсомольского бюро.

Шли дни, такие быстрые, что едва поспеваешь срывать листки календаря. Горелов прочно усвоил напряженный ритм, каким жила его вторая эскадрилья. Незаметно он налетал уже на сложном самолете много часов. Полковник Ефимков, повстречавший его как-то на аэродроме, одобрительно пообещал:

— Вчера смотрел полковую документацию. Ты меня порадовал, Горелов. Такие показатели, что буду ставить вопрос о присвоении третьего класса. На уровне идешь. Так-то, парень!

А потом пришло время, и майор Климов зачитал новый приказ о несении боевых дежурств на аэродроме. Попала в него и фамилия Горелова.

Боевые дежурства! Чистое и веселое небо часто видим мы над своей головой. Под ним живут, работают и отдыхают миллионы. Ночью над мирными крышами наших домов плывут звезды, и, засыпая, мы редко думаем о том, что в эти самые часы на многих приграничных аэродромах люди в высотных костюмах и гермошлемах сидят в тесных кабинах боевых машин или в дежурном домике — если боевая готовность понижена. По первой же красной ракете могут подняться они с аэродрома. И плохо приходится воздушным пиратам — тем, что с потушенными бортовыми огнями пытаются иногда искать дороги к нашим большим, нарядно сверкающим в ночной темноте городам.

Для молодого военного летчика особо торжественна минута, когда командир, оглашая список офицеров, допущенных к боевым дежурствам, назовет и его фамилию.

В Соболевке летчиков, назначенных на почетную вахту в отдаленный домик дежурного звена, развозили только на легковой машине. Такой порядок завел Кузьма Петрович Ефимков, не жалевший для этого своей кремовой «Волги». Два летчика в гермошлемах и высотных костюмах несли дежурство в кабинах истребителей. Машины были развернуты в сторону взлетной полосы и по первому сигналу имели право взлетать без всякой рулежки, прямо с места. Двое в кабинах постоянно находились в напряжении. Зато летчики второй пары самолетов чувствовали себя куда спокойнее. В дежурном домике было всегда тепло и светло. Сюда привозили пищу в самом что ни на есть горячем виде.

Стены дежурного домика были щедро оклеены лозунгами и плакатами. Одни из них требовали соблюдать интервалы и дистанции в групповом полете, другие настаивали на строгом выполнении предполетного и послеполетного осмотра материальной части, третьи просто призывали к высотам боевого мастерства. В дежурном домике возникали шахматные поединки, стучало домино и велись самые сокровенные разговоры, какие вряд ли возможны меж летчиками в другое время и в другом месте.

Напарником у Алексея по первому боевому дежурству оказался белобрысый крепыш Лева Горышин. Был он все-

го на два года старше Горелова, но уже носил знак военного летчика второго класса, что зарабатывается в истребительной авиации нелегким потом и солью; успел уже послужить и на польской территории и в ГДР. Когда они вошли в дежурный домик, Горышин кивнул на две койки из четырех застеленных: это наши. Потом обвел глазами пестрые от лозунгов стены и доверительно сказал:

— Когда я за пределами нашей страны служил, мы однажды совместные учения с дружественной армией проводили. Их летчики в гости нас как-то позвали, предложили аэродром осмотреть. Вот у них дежурный домик, это да! На стенах пейзажи и такая балериночка в наряде Евы — глаз не оторвешь! А у нас замполит Жохов столько сюда морали понасовал, что от нее тошнит.

— Так тебе что — голую бабу сюда подавай? — засмеялся Горелов. — Ну и комсорг, нечего сказать.

— Ты не утрируй, — насупился Горышин. — Я тебе о чем хочу сказать? Разве нужно наших ребят день и ночь за Советскую власть агитировать? Они и так за нее, можно сказать, с пеленок, потому что, сам знаешь, от каких отцов родились. Зачем мне эти лозунги, когда я на дежурстве. Ты мне тройку картин хороших повесь, свежие журналы принеси, пластиночек побольше, а то проигрыватель хоть и дрянной, но есть, а пластинок только две: какой-то стамбульский фокстрот да древнее утесовское «Сердце»...

Он открыл и включил на всю мощь коричневый зашарпанный проигрыватель, поставил пластинку. Дежурный домик огласился гортанными выкриками и барабанным боем.

— Вот это и есть «Истамбул». Здорово? Его па манер буги-вуги танцуют.

Через час вместе со своим командиром пары Горелов пошел сменить летчиков, находившихся в самолетах. Сидеть без дела в тесных кабинах было муторно, но оба понимали, что это настоящая боевая вахта. После недавних событий в Карибском море в мире все еще было неспокойно, а от Соболевки до границы рукой подать, и дежурства в готовности номер один оставались до сих пор неизбежной необходимостью.

Возвратились в дежурный домик они уже вечером, когда на аэродром опустились сумерки и мелкая сетка нудного предосеннего дождя пала на землю. Серые облака заклубились над стоянками и спрятали вскоре от глаз

все живое. Зазвонил телефон, и Лева Горышин, сняв трубку, доложил:

— Командир дежурной пары лейтенант Горышин. Слушаю вас, товарищ полковник. Дежурство проходит без происшествий. Я вас понял. Исполняю.

Он бережно положил трубку на рычаг.

— Вот бы кому политработником быть, — произнес он восхищенно, — нашему комдиву.

— Почему это? — недоуменно улыбнулся Горелов.

— А потому, что внимание к человеку у него — первая заповедь. И как только руки до всего доходят у полковника! Увидел, что на аэродром туман садится, и разрешение перейти в пониженную готовность у высшего начальства выпросил. Пойду обрадую ребят.

Вскоре все четверо уже сидели у разгоравшейся железной печурки, слушали, как за окнами свистит ветер и сечет по земле косой дождь. Горышин старым заржавленным кортиком тесал лучинки от сухого березового полена и не торопясь подбрасывал их в огонь, любуясь его причудливыми отсветами. Проигрыватель быстро всем надоел, и летчики коротали время в беседе. Алеша под безобидные смешки товарищей только что рассказал, как пытался с письмом в руке атаковать гагаринский кортеж, как потом разорвал конверт и письмо на мелкие клочки.

— Ну и правильно сделал, — хмуро сказал обычно неразговорчивый летчик Семушкин. Уютно поджав под себя ноги, он примостился около печки прямо на полу.

— Почему так считаешь? — запальчиво возразил ему Горышин. — Разве Горелов не имел права обратиться с такой просьбой к Гагарину?

— Иметь-то имел, — хмыкнул Семушкин, — да толку чуть. Сейчас охотников до космоса знаешь сколько? У нас, когда я был на Курилах, звеном старший лейтенант Уздечкин командовал. Странный, заумный. Так он еще задолго до полета Гагарина и Титова, как только Стрелку и Белку в контейнерах подняли, не кому-нибудь, а самому президенту Академии наук письмо сочинил. Дескать, так, мол, и так, во имя Отечества, партии, народа и науки готов отдать всю свою энергию, опыт и молодую жизнь и прошу поэтому записать меня первым кандидатом для полета в космическое пространство. Патриотическое желание у меня огромное, и к тому же жена в последнее время настолько мою молодую жизнь заела, что готов полететь

на любую планету, лишь бы от нее, окаянной, избавиться.

— Ну ты и заливаешь сегодня, молчун! — одобрительно засмеялся командир первой пары старший лейтенант Иванов, тридцатилетний лысеющий сибиряк, смуглый, с мелкими, как кедровые таежные орешки, зубами. — Сам придумал?

— Да нет, товарищ старший лейтенант, подлинный это факт, клянусь.

— И чем же кончилось все?

— Да как чем? Люди в Академии наук эрудированные, деликатные. К черту они нашего Уздечкина не послали. Получил старший лейтенант бумагу со штампом, и в той бумаге очень вежливо ему отписали, что, мол, дорогой товарищ Уздечкин, академик Несмеянов просил передать, что он высоко оценил ваш патриотический порыв, но в настоящее время нет возможности удовлетворить вашу просьбу. Так и остался он на Курилах, жене на съедение...

Лева Горышин подбросил еще лучины в печурку, послушал, как затрещала она, охватываемая огнем, и покачал головой.

— От твоего рассказа, Семушкин, все-таки анекдотом попахивает, — проговорил он убежденно. — У Горелова все было не так.

— А кончилось чем? — привстал Семушкин. — Чем кончилось? Разорванной петицией? Если завтра Гагарин в наш гарнизон на часок заедет, Алексей к нему пробиваться уже не станет. Ведь не пошел бы, Горелов?

Алеша задумчиво посмотрел в темное окно, за которым стояла беспросветная сырая ночь, на отсветы от печки, отраженные мокрыми стеклами окон, и как-то спокойно сказал:

— Пошел бы.

— Не верю, — усмехнулся Семушкин. — Это ты в бутылку сейчас из чистого упрямства лезешь.

— Нет, ребята, — тихо возразил Алеша. — Упрямство здесь ни при чем. Просто попасть в космонавты — это цель моей жизни. И я все сделаю, чтобы этого добиться.

— На что же ты надеялся, когда искал встречи с Гагариным? — продолжал допытываться Семушкин.

— На что? — переспросил Горелов. — Да на очень простую вещь. На метод исключения. Есть такой метод. Им

философы, следователи, юристы пользуются. Это когда сразу выдвигается несколько предположений, а потом наиболее бездоказательные отсеиваются. И остается в конце концов одно правильное.

Старший лейтенант Иванов, с интересом прислушивавшийся к разговору, пожал плечами:

— Не понимаю.

— Это же очень просто, — охотно пояснил Алеша. — Я был бы Иванушкой-дурачком, если бы, подобно тому Уздечкину, обратился с просьбой к президенту Академии наук или министру обороны. Там пуды таких писем. Но если бы я передал просьбу самому Гагарину, то мог бы уже рассчитывать на кое-какое внимание. Прежде всего космонавт меня бы знал лично и особой комиссии мог сказать, как я выгляжу. Во-вторых, просителей много, но, как мне кажется, военных среди них меньше. Среди военных еще меньше летчиков. А среди летчиков — истребителей и того меньше. Как видите, круг сузился, и многие остались за его пределами, а я — нет. Волжские мужики — они хитрющие!

— Смотри ты, выдумщик... — протянул Иванов, — логики не лишен.

— Я и в другом вижу логику, — увлеченно продолжал Горелов. — Пока что совершены лишь первые полеты. Дальше они будут усложняться, проводиться чаще. Потребуются кадры. Откуда их будут брать? Ясное дело — из ВВС.

— Тогда у тебя есть все шансы в космонавты попасть, — рассмеялся Семушкин. — Не знаю, был ли еще в авиации случай, чтобы кто-нибудь на реактивном истребителе гонялся за Венерой.

— Вы все шутите, — вздохнул Горелов, — но должна же у каждого из нас быть заветная мечта, своя цель. И она есть. Вот скажите, ведь каждый из вас чего-то очень и очень ждет.

Старший лейтенант Иванов внезапно поморщился, как это бывает с человеком, когда пришла острая боль и ее надо немедленно погасить.

— У меня, например, есть мечта, — промолвил он глухо, — чтобы моя жена от рака не умерла. Для меня это в сто раз важнее всех космических запусков. А она умрет. И никто ее не в состоянии спасти. Десять лет прожили душа в душу, сына на будущий год в школу мечтали по-

вести. А теперь она как свеча тает, одни только глаза светятся...

Он встал с койки и, глядя куда-то в сторону, быстрыми резкими шагами вышел из домика. Печально хлопнула дверь.

— Я пойду. Надо утешить старшого, — вскочил было Семушкин.

— Сиди! — оборвал его Лева Горышин. — Нужна ему сейчас твоя сострадательность, как щуке зонтик. Человек в одиночестве хочет побыть, а ты ему в душу лезешь. Один он скорее успокоится.

Горышин оказался прав. Примерно через четверть часа старший лейтенант возвратился и, как ни в чем не бывало, стал снимать намокшую одежду. Лицо его еще сохраняло следы недавней возбужденности, но он уже прочно взял себя в руки.

— Ну и погодка, — сказал он, присаживаясь у печки и потирая руки. — Печурку на славу растопили... Давайте теперь чаек погоняем.

Большой пестрый термос, разрисованный змеями, появился на столе. Стаканов хватало на всех. Лева Горышин, как заботливый хозяин, отвинтил крышку, разлил всем поровну коричневый от густого настоя чай, еще отдающий легким паром, насыпал сахар и поставил в центре стола вазу с сухими пирожными. Старший лейтенант Иванов взял в руки опустевший термос, повертел его туда-сюда.

— Эк разрисовал-то его маляр какой-то, — проговорил он с наигранной веселостью, и все поняли, что этой репликой он хочет сгладить впечатление от своей недавней вспышки. — Не мог, бедолага, ничего получше придумать. Хочешь не хочешь, будем сейчас пить чаек с пирожными и этими змеями вприкуску.

Семушкин и Горелов вяло улыбнулись, а Лева Горышин протестующе поднял руку.

— Что вы, товарищ старший лейтенант! Разве так можно о змеях?

— А как же еще о них?

— Нет, я с этим не согласен, — возразил деловито Горышин. — Змея — это умное существо, скажу вам. Я, конечно, исключаю всяких гадюк и медянок, но есть змеи, заслуживающие уважения. Недаром в Индии, да и у нас в Средней Азии, дехкане и почтенные аксакалы некоторых

змей священными считают. Вы думаете, я шучу? Самым серьезным образом. Родился и вырос я в Гиссарской долине и тамошнюю жизнь знаю. Например, такая змея, как кобра, во многих местах почитается.

— Это за какие-такие заслуги? — недоверчиво покосился на него Иванов.

— А за повадки свои.

— Какие же у змеи повадки? — пожал Иванов плечами. — Коварство да злость.

— Нет, не скажите. Кобра среди змей — что лев среди зверей, но гораздо его благороднее. Она никогда не нападает на свою жертву исподтишка, как гадюка или гремучая змея. Она на бой выходит, словно рыцарь. Раздувает свой капюшон и начинает подниматься. И прямо в глаза вам глядит, если хочет броситься. Мне в детстве мать рассказывала. Была в нашем кишлаке во времена басмаческих банд одинокая старуха. Ее сыновья ушли к красным. Старая эта таджичка умела заклинать змей, и в ее юрте постоянно кобра жила. И вот однажды прискакала банда местного бая. Старую женщину за волосы вытащили из юрты, паранджу сорвали, ноги баю целовать велели. Она была гордой, от сыновей не отреклась и баю в лицо плюнула. Тот маузер выхватил и — наповал. Ускакали басмачи в центр кишлака. В самом богатом доме устроили для бая вечером роскошный плов. Перепились все основательно. Потом раздели и уложили бая на самую лучшую кошму, загасили свет. Ночью бай проснулся от какой-то непонятной тревоги. Почувствовал, будто кто-то тонко свистит рядом и струйка холодная по лицу. Открыл глаза, а над ним голова кобры. «Змея!» — завопил он, но в ту же минуту кобра прыгнула...

— А ты не врешь? — недоверчиво спросил внимательно слушавший весь этот рассказ Семушкин.

— Провалиться на месте! — воскликнул Горышин и совсем по-восточному поднес к груди скрещенные ладони. — Но вы послушайте, что произошло дальше. Пока пьяные басмачи проснулись, зажгли свет и стали выяснять, что и почему, кобру как ветром сдуло. Они даже сначала не поверили, решили, что у бая мираж от сорокоградусной, да только видят, что тот уже хрипит и корчится. «Это меня змея той проклятой старухи покарала, — говорит он басмачам. — Сожгите завтра ее змеиное гнездо...» Басмачи решили сделать, как он велел. Прискакали к пу-

стой юрте и стали ее поджигать со всех сторон. Двое подожгли и, отойдя в сторону, любовались, как она огнем занимается, а третий едва огонь успел высечь, почувствовал, что затылок от холода сводит. Обернулся, а кобра уже для прыжка раскачивается. Он на весь кишлак заорал от страха, да было поздно. И опять, пока двое до него добежали, кобры и след простыл. Пришлось им не по одному баю, а по двум бандитам сразу салюты из маузеров давать. Юрта, конечно, сгорела, басмачи ускакали, наших почуяв. Но старики и до сих пор рассказывают, что долго мимо того места ходить было страшно. Кобра даже пепелище охраняла...

Горышин замолчал и с удовлетворением отметил, что еще никто из летчиков не поднес к губам стакана с чаем.

— Товарищи, нектар остынет, — всполошился он и, звякая ложкой, стал размешивать сахар.

— Так кто же виноват, что уже остыл? — добродушно усмехнулся Иванов. — Не сам ли? Загипнотизировал своим рассказом, что твоя кобра.

Все засмеялись, а Горышин, отхлебнув глоток и прикрыв при этом глаза, сказал:

— А то вам еще одну историю, с коброй связанную, расскажу. Она покороче.

— Валяй, — принимаясь за пирожное, согласился Иванов.

— Только это уже легенда, — предупредил Лева.

Дрова дружно трещали в печурке и по всей комнате распространялось благословенное тепло, понемногу навевающее на усталых летчиков сонливость. Гудел за окном ветер, и в тон ему приглушенно гудел голос Горышина.

— Жила в одном кишлаке красивая девушка по имени Гюльджан. Косы, глаза — одним словом, красавица первого класса. Ее не трогали змеи, а большая сильная кобра часто приползала в ее жилище. Приехал в кишлак великий эмир с многочисленной свитой...

— На ЗИМах или на «Волгах»? — невинным голосом спросил Алеша.

— Помолчи, — сердито осадил его рассказчик, — то же в девятнадцатом веке было. Так вот, увидал великий эмир красавицу и приказал зачислить ее, что называется, в штат своего гарема. Ему не надо было, как начальнику отдела кадров, писать аттестации, представления, готовить проект приказа и прочее. Указательным пальцем пошеве-

лил — решение принято. Девушка та отчаянно сопротивлялась, но слуги связали ее по рукам и ногам, доставили в эмирский дворец. Ночью к ней пришел в спальню эмир. «Ты будешь моей самой любимой женой, только подари мне свои ласки», — уговаривал он. «Никогда!» — закричала девушка. Тогда эмир стал добиваться ее силой. Вдруг он почувствовал, что сбоку кто-то пристально смотрит на него. Оглянулся — кобра. Уже для прыжка изготовилась и капюшон свой до предела раздула.

— Словом, готовность номер один, — вставил Горелов.

— Затрясся эмир в испуге, окаменел и стал ее упрашивать дрожащим голосом: «Послушай, кобра, ты самая сильная и самая мудрая змея. Пощади, не отнимай меня у моего народа. Я не хочу, чтобы осиротел этот дворец и подданным некому было платить дань. Пощади, и я тебя озолочу». «Хорошо, — ответила кобра человечьим голосом и перестала раскачиваться. — Так и быть, я оставлю тебя для твоего народа. Он сам в тебе когда-нибудь разберется и сделает то, чего не сделала я. Но за то, что ты обидел мою госпожу, я должна тебя наказать. У тебя при гареме много евнухов, о великий эмир! С завтрашнего дня их станет еще на одного больше». Наутро великий эмир распустил свой гарем.

— Ай да история! — всплеснул руками Иванов. — Не дай бог оказаться на месте этого повелителя.

Семушкин, закрывая поддувало печурки, аппетитно зевнул.

— Интересно знать, эти самые кобры спят аль нет?

— Разумеется, спят! — убежденно воскликнул Лева.

— Тогда и нам пора на боковую. А то снова в кабины могут усадить...

Они разделись и загасили свет. Взбивая подушку, Иванов пробурчал:

— Ты бы, комсорг, почаще такие байки комсомольцам рассказывал. Успех бы имел.

Горелов подумал, что Иванов попал в самую точку. Дважды Алеша побывал на беседах Горышина с комсомольцами и дважды уносил тягостное чувство. Были эти беседы нудными, вялыми, а теперь этот же самый человек раскрылся перед ним совсем с другой стороны.

— Поспим, что ли! — сказал Иванов.

Слова его прозвучали как приказание, и воцарилась тишина. Алексей закрыл глаза и попытался уснуть. Его

товарищи по дежурству быстро смолкли, и комната наполнилась ровным дыханием. А ему не спалось. Он вспоминал Верхневолжск, домик на Огородной с голубыми наличниками, мать. Тревожась, подумал: «Почему от нее так давно нет писем? Может, приболела?» Потом мысли его вернулись к Соболевке, аэродрому и к тем, кто лежал сейчас рядом на соседних койках. Как-то быстро промелькнули эти месяцы, и он, сам в то не веря, стал уже немножко другим. В нем появилось больше сдержанности, уверенности в своих силах. «Все-таки это здорово — водить в небе такую сложную машину! — признался он себе. — И ребята здесь все такие хорошие — и летчики, и техники. Никто ни разу не обидел. Если пошутят, то незлобиво. Если увидят, что споткнулся, — помогут встать».

И ему захотелось, чтобы у них всегда все было хорошо. Даже у замполита Жохова. «Вот острят по его адресу, шуточки отпускают обидные, — рассуждал Алеша, — а у него сколько дел своих и забот, разве сочтешь! И все трудные, сложные. В войну он сражался, а сейчас уже постарел и, наверное, последние годы служит. Все ему помогать должны, не только критиковать, как Лева Горышин... Или вот лежит рядом старший лейтенант Иванов. Спит или только затаился, думает о жене. Рак, конечно, дело дрянное. Люди изобрели атомную энергию и космические корабли, а рак как косил их, так и косит. Но надо как-то потеплее утешить старшего лейтенанта. Глядишь, и повеселел бы и жену свою приободрил. Верить бы в выздоровление ее заставил... Да ты совсем как горьковский странник Лука, — оборвал самого себя Горелов, но тотчас же самому себе и возразил: — А может, лучше, если от утешения человеку легче?! Вот и Семушкин мрачным ходит. Видно, носит в себе какую-то боль, ни с кем не делясь. Или Лева Горышин. Неплохой парень и летчик стоящий. А с комсомольской работой у него не ладится...»

Ветер проносил над крышей дежурного домика все новые и новые облака, бил в стекла дождем. Незаметно Горелов уснул. Стало совсем тихо в дежурке, только часы громко стучали на столе, да Иванов несколько раз бормотнул что-то во сне.

Было без четверти шесть, когда телефон забился длинным звонком. Иванов вскочил босыми ногами на пол, снял трубку.

— Слушаюсь. Занимаем готовность номер один.

— Мы пойдем. Ладно? — попросил Горышин, приподнявшись на кровати.

Старший лейтенант кивнул головой, в трубку сказал:

— Сейчас в шесть тридцать готовность номер один займет пара лейтенанта Горышина... — И, повесив трубку, добавил: — Собирайтесь, хлопцы, а я еще доберу немного.

Алеша пошел за техниками. С их помощью он и Горышин надели высотные костюмы и покинули помещение. Утренний ветерок обдал их свежестью. В нем неуловимо присутствовала влага тех самых облаков, что пришли на Соболевку с моря. На больших телах истребителей оседала сырость.

На этом дежурстве самолеты Горелова и Горышина обслуживали братья-близнецы техники Колпаковы Олег и Виктор. Они были известны на весь военный округ — ни о ком так много не писала армейская печать. Отличники, кандидаты в военную академию... Горелов к ним приглядывался с любопытством. Действительно, если бы не шрам над левой бровью у Олега, их не различить.

Когда Горелов и его командир подошли к самолетам, там было все уже готово. Колпаковы играли в шахматы на недавно снятых сырых чехлах. Лева и Алеша не спешили садиться в кабины истребителей, с удовольствием любовались наступавшим утром и небом, которое заголубело в двух или трех местах. Но радость их была преждевременной. Буквально через десять минут снова косыми рваными хлопьями поплыли облака и даже не облака, а так какой-то бесцветный теплый пар. Мелкая изморось вместе с ветром ударила в лица.

— Вот теперь будешь знать, что такое близость моря, — нравоучительно изрек Горышин.

Алеша, окая, сказал:

— Да... у нас на Верхней Волге такая погода — редкость.

— А у нас в Средней Азии так вообще сложных метеоусловий почти не бывает: пески да солнышко. Только над горами такая муть образуется. А от Карши до Кызыл-арвата люди вообще о туманах слабое представление имеют. Стой! — вдруг остановил самого себя Лева. — По какому случаю в штабе такая иллюминация?

Горелов посмотрел в сторону красного кирпичного здания. Действительно во всех окнах сиял яркий электрический свет.

— Вот это да! — с еще большим удивлением воскликнул наблюдательный Горышин. — Чего это там столько народу сейчас? И кажется, все под ремнями, ни одного в брюках навыпуск не вижу. Смотри, Горелов, целая кавалькада ЗИМов на аэродром въезжает — раз, два, три, четыре, пять... Ох, не люблю я, когда столько начальства! Давай-ка досрочно по кабинам.

Они уже забрались по стремянкам в свои машины, когда дверь дежурного домика распахнулась и на пороге появился Иванов.

— Эй, ребята! В гарнизоне тревога!

Алеша с помощью Олега Колпакова надел парашют, подключил к радиостанции соединительный провод. Сделал он это вовремя, потому что не куда-нибудь, а прямо к дежурному домику взяла курс кавалькада автомашин. Впереди мчалась кремовая «Волга» Ефимкова — как лидер, указывающий путь всему каравану в сложном лабиринте аэродромных дорог. Горелов с любопытством наблюдал за приближающимися машинами. Они очень аккуратно съехались возле дежурного домика. Из «Волги» вышел туго перепоясанный ремнями и от этого еще более нескладный и грузный комдив, неторопливо, с достоинством приблизился к первому ЗИМу и отворил дверцу. Показался высокий военный в брюках навыпуск и сером плащпальто. Алеша рассмотрел на погоне большую маршальскую звезду. Он узнал военного по многочисленным портретам. Это был один из заместителей министра обороны.

«Вот это да! — подумал Алеша. — Ну, начнется сейчас кутерьма».

Едва только маршал вышел, как дружно захлопали дверцы всех других ЗИМов. Из машин выходили генералы в форме самых различных родов войск: два авиатора, два артиллериста, остальные были в общевойсковой форме — в большинстве с красными лампасами. Твердой, негнущейся походкой маршал направился к дежурному домику. Он еще легко носил тело в свои шестьдесят с лишним лет. Выбежавшего навстречу с рапортом старшего лейтенанта Иванова маршал прервал на полуслове коротким «вольно». Войдя в дежурный домик, досадливо передернул плечами.

— Полковник Ефимков, — спросил он строго, — здесь у вас что?

— Помещение для отдыха летного состава дежурного звена, товарищ маршал, — немного озадаченный, доложил комдив.

— Чепуха, — громко сказал маршал, — изба-читальня двадцатых годов, а не помещение для отдыха. Неужели вы не могли создать людям, несущим боевую вахту, хотя бы минимальный уют?

— Я уже думал об этом, товарищ маршал. Руки только не дошли.

— Займитесь.

Маршал неторопливо зашагал к самолету, в котором находился Горелов. «Докладывать или не докладывать?» — подумал Алексей. Но обстановка сама собою сложилась так, что докладывать ему не пришлось. Окруженный генералами, маршал остановился метрах в пяти от его машины, отрывисто спросил:

— В этой машине кто дежурит?

— Лейтенант Горелов, товарищ Маршал Советского Союза.

— Какой у него класс?

— Третий. Оформлен на второй.

— Не рано ли такого юнца допустили к боевым дежурствам?

— Обстановка заставила. И потом надо рисковать, — улыбнулся комдив.

— Но обоснованно, — строго поправил маршал.

— В этом случае риск обоснованный, — не сдался Ефимков, — за лейтенанта я ручаюсь.

Маршал придирчиво посмотрел на командира дивизии. Маршал славился строгостью и пунктуальностью, но людей дерзких, самостоятельно мыслящих и не боящихся отстаивать собственную точку зрения уважал. Чем-то ему понравился этот великан-полковник.

— Ну, хорошо, — произнес он без улыбки, но добрым голосом, — вы, значит, любите рисковать, Ефимков? Похвально. Я тоже люблю рисковать. А поэтому... — Закатав обшлаг плаща, он посмотрел на часы и договорил: — Немедленно поднять лейтенанта на перехват цели.

— Есть, поднять на перехват цели, — повторил Ефимков и бегом бросился к истребителю.

Алеша, слышавший весь разговор, уже готовился к запуску.

— Немедленно выруливай, дружок, — ласково и спокойно сказал комдив, — да смотри не подведи ни себя, ни меня. Будь готов и к посадке на другом аэродроме. Погодка — сам видишь.

— Постараюсь, товарищ полковник.

Фонарь мягко опустился над Алешиной головой. Истребитель помчался по взлетной полосе. Стрелка на приборе указывала скорость разбега. Струи дождя забрызгивали смотровое стекло, туман ограничивал видимость. Все же Горелов по всем правилам и вовремя закончил разбег, уверенно оторвал машину от земли и стал с крутым углом набирать высоту.

Со всех сторон его обступила кромешная тьма. Невесомые облака прилипли к стеклам кабины. Стало темно, и Алеша опасливо подумал: «Вверх-то хорошо, а вот как я вниз дорогу сквозь облачность найду?» Он еще не знал, где цель, какая она, в каком направлении летит. Сегодня у него был самый чудной позывной из всех, какие он когда-либо получал: «Архимед-три». На высоте в десять тысяч метров он услышал по радио:

— «Архимед-три», набирайте двенадцать.

Вскоре он передал:

— Есть, двенадцать.

Облачность кончилась, и теперь самолет рассекал ясное, чистое голубое пространство стратосферы. Даже не верилось, что на земле туманно и слякотно и генералы, окружающие маршала, зябнут от ветра.

С командного пункта передали новый курс. Послушный воле Горелова, истребитель стал менять направление полета до тех пор, пока красная черточка на компасе не совместилась с указанной цифрой. Потом от него потребовали сделать левый разворот. И опять под устойчивый свист турбины выполнил он маневр. Затем невидимый офицер, руководивший наведением, потребовал набрать еще пятьсот метров высоты, изменить курс на двенадцать градусов, снизиться на сто метров, увеличить скорость, и наконец прозвучала команда:

— Цель впереди. Атакуйте.

Горелов напряженно осматривал впереди себя пространство. Под гермошлемом рычажок микрофона давил щеку. Внизу, под острыми стреловидными крыльями его машины, повсюду расстилалось бескрайнее барашковое море облаков, и сначала на этом однообразном их фоне он

ничего не увидел. Стало сухо во рту и неприятно похолодело внутри при мысли, что он может прозевать цель. Горелов, вопреки всем наставлениям с КП, опустил нос истребителя, чтобы осмотреть самую близкую к нему часть неба. Тотчас же увидел волнистый след инверсии. «Так и есть!» — крикнул он обрадованно. Строго под ним, так что истребитель закрывал его своей тенью, шел, купаясь в солнечных лучах, остроносый двухтурбинный бомбардировщик. До рези в глазах сверкало остекление кабин. Хитрым и опытным был летчик, решивший, что только таким образом сможет уйти он от более скоростного истребителя. Еще минута, и Алексей потерял бы цель. Его машина пронеслась бы над ней, и, лишенный возможности смотреть назад, он бы неминуемо пропустил ее на белом фоне облаков. Алеша облегченно вздохнул, убрав газ, отстал от бомбардировщика, дождался, пока тот не удалился па наиболее выгодное для атаки расстояние, и передал:

— Цель атакую!

— Молодец! Возвращайтесь! — приказал командный пункт.

Он переключил радиостанцию на аэродром и получил подтверждение команды. Теперь развернуться, пробить облачность и выйти на дальнюю приводную. В тесной кабине стало отчего-то жарко. Горелов решил — от усталости. Закончив разворот, он окунул нос самолета в белую кипень облаков. Снижаясь с небольшим углом, он твердо знал, что не раньше как через пять минут появится под нижней их кромкой чуть севернее аэродрома, а до дальнего привода — рукой подать. Пот растекался по лицу. «Почему так душно?» — подумал Алеша.

И вдруг турбина с резким скрежетом взвыла, и в лицо ударило острым запахом гари. Тяга резко упала, но двигатель еще теплился, еще жил. Не веря в случившееся, Алеша продолжал планировать, теряя высоту. Он не видел, что следом за истребителем тянется зловещий шлейф дыма, но приборы уже сигнализировали о случившемся. Переговорные рычажки, прильнувшие под гермошлемом к шее, были холодными, как змеи. Приборная доска стала серой, стрелки начали двоиться.

— Дым! — прошептал он странно сухими губами.

С земли голос Ефимкова рассерженно спросил:

— «Архимед-три», почему молчите? Прием.

— Я — «Архимед-три», — отозвался Алеша, стараясь

победить неожиданно охрипший голос. — Самолет горит. Иду с выключенным двигателем. Обеспечьте полосу. Прием.

Несколько секунд длилось молчание. Турбина замерла на шести километрах высоты, дым немного рассеялся, но в кабине стало еще жарче.

— «Архимед-три»... Алеша! — донесся с земли испуганный голос комдива. — Немедленно катапультируйся!

— Не могу. Буду садиться, — быстро ответил Горелов и удивился, что голос его прозвучал твердо.

В ушах — новый окрик комдива:

— Немедленно покидай машину!

Алеша не ответил. Считается, что секунда минимальное время. Вспыхнула, и уже ее нет. Но это, когда жизнь идет размеренным чередом. А если человеку угрожает смертельная опасность, о многом подумает он за одну-две секунды. Нет, это приказание он ни за что не может сейчас выполнить. Да, он знает, что при пожаре летный устав требует немедленно покидать самолет. Он знает, что на земле, на его родном соболевском аэродроме, находится маршал, утверждавший этот устав и этот параграф. Но в своей тревоге за его судьбу и Ефимков, и генералы, и маршал едва ли подумали о том, что представилось ему в один миг. Алеша похолодел, вспомнив, что пролетает сейчас над большим городом. Он его не видел, но знал твердо, что под короткими металлическими крыльями самолета, скрытые непроницаемым пологом тумана, лежат улицы и площади. Сейчас утро. В сырое низкое небо фабричные трубы выбрасывают черный дым, мальчишки и девчонки шагают по тротуарам с портфелками в школу. Трамваи увозят рабочих первой смены. На кухнях готовятся завтраки — заботливые жены провожают на службу мужей, воспитательницы детских садов выводят на улицу малышей, студенты перед началом первой лекции спорят о новых стихах. Тихое обычное утро. И никто, кроме него, лейтенанта Горелова, не может даже вообразить, что летящая в воздухе неуправляемая машина обрушится на мирные крыши и огромный взрыв потрясет город.

— Ни за что! — самому себе крикнул Алеша.

В кабине уже пекло. Алеша слышал в наушниках требовательный голос комдива, приказывавшего выбрасываться, но затуманенное сознание решительно противилось. Мысли бежали нестройно.

— Неужели погибну? — шептал он хриплым от жара голосом. — Нет, не может этого быть!

Все труднее и труднее становилось дышать, размывы зеленых кругов мельтешили перед глазами. Горло душили холодные спазмы. «А еще космонавт, температуры такой не выдерживаешь, — оборвал он себя насмешливо. Он вдруг вспомнил о матери. — Она не переживет!» «Ну, так что же? — спросил его кто-то чужой. — Возьми и нажми на пиропатрон. Машина упадет на город, а ты будешь жить». «Нет! — возразил Алеша этому чужому. — Только с машиной!»

Он раскрыл слипающиеся глаза и увидел на приборе три тысячи метров. «Город уже позади», — подумал он облегченно. Высота — три тысячи. Дальше нельзя было пикировать с таким крутым углом. Напрягая силы, он потянул на себя странно отяжелевшую ручку управления. Проклятая слабость! Только бы ей не сдаваться.

Смутные, уже редеющие облака мчались за фонарем кабины. Тысяча метров, восемьсот, пятьсот... Алеша увидел внизу расплывающиеся, подрагивающие очертания аэродрома и чуть не вскрикнул от радости. Как это здорово получилось! Он выскочил из облаков совсем близко от летного поля. Вот впереди и серая лента бетонной полосы, и красное кирпичное здание штаба, и даже маленький домик дежурного звена, окруженный ЗИМами.

«Нет, я не погибну. Жить!» — закричал самому себе Алеша. Он явно промазал, заходя на полосу. Едкий дым, снова ворвавшийся в кабину, закрыл приборную доску и смотровое стекло. Но Горелов успел выровнять истребитель. На доске обнадеживающе засияли зеленые лампочки. Значит, вышли все три колеса. Он опустил нос машины и ощутил толчок. Самолет уже мчался по бетонке. Весело гудели под твердыми резиновыми покрышками серые плиты. Если бы не привязные ремни, его бы обязательно бросило вперед и ударило о приборную панель. Но ремни выдержали неудачное торможение. Голова кружилась и гудела от звона. Алеша чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Кабина, наполненная удушливым чадом, дышала, как раскаленная печь. «Фонарь», — вспомнил он и нетвердой рукой открыл над собою крышку. Сырой утренний воздух плеснулся в лицо.

Не освобождаясь от парашюта, Горелов выскочил из кабины на землю и отбежал от самолета. К нему со всех

сторон спешили люди. Две пожарные машины уже поливали плоскости истребителя и горячее сопло из брандспойтов. Санитары разворачивали носилки, и это привело его в замешательство. Сбрасывая на землю парашют, Горелов слабо воскликнул:

— Не надо, я живой!

У черного, закоптившегося от дыма крыла появился Ефимков.

— Товарищ полковник... — начал было рапортовать Горелов, но тот остановил его решительным жестом.

— Не мне... здесь маршал.

Лишь теперь увидел Алеша высокого пожилого человека в длинном плащ-пальто и, собрав все силы, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже, отчеканил:

— Товарищ Маршал Советского Союза. Лейтенант Горелов воздушную цель перехватил. На обратном маршруте возник пожар. Произвел посадку с выключенным двигателем.

— Молодец, — тихо сказал маршал. — Какой же, право, молодец! Как фамилия, говоришь? Горелов? Ну, раз ты с такой фамилией не сгорел, то любые огни и воды пройдешь.

— Так точно, товарищ маршал. Пройду! — улыбнулся Алеша.

— У вас, лейтенант, какой класс?

— Третий, товарищ маршал.

— С этого дня вы — военный летчик второго класса, товарищ Горелов. За мужество и отвагу объявляю вам благодарность, награждаю ценным подарком и присваиваю досрочно звание «старший лейтенант».

— Служу Советскому Союзу! — ответил Алексей.

* * *

И еще прошло несколько месяцев. Осень с нудными дождями и туманами сменилась такой же кислой южной зимой. Аэродром в Соболевке не просыхал, и, когда в начале января ударил мороз и сковал вязкий грунт, все этому откровенно радовались.

Шагая по летному полю, старший лейтенант Горелов наслаждался хрустом снега и холодным багрянцем солнца. После истории с вынужденной посадкой он как-то сразу повзрослел, стал собранным и строгим. Наблюдая за ним,

Ефимков улыбался. Старый воздушный волк знал годами проверенную истину, что любая авария или катастрофа не проходит бесследно для летчика, оставшегося живым. Тот, на кого дохнула смерть, уже не может, как прежде, относиться к полетам. У слабых это вырабатывает острастку, боязнь резкого пилотажа, нервную дрожь при каждой неверной ноте в работе двигателя. У такого, чуть усложнись в воздухе обстановка, и ноги становятся ватными, и сердце норовит закатиться, куда ему вовсе не положено. И много, ой как много нужно после этого воспитывать такого человека, чтобы вернуть ему прежнюю выдержку и душевное равновесие.

Люди же сильные и по-настоящему храбрые тоже подвергаются воздействию перенесенной ими беды. Но в противовес слабым они не мечутся и не пугаются, когда возникает какое-либо затруднение в полете. Перенесенная опасность делает их более сдержанными, более осмотрительными, освобождает от ненужного риска, учит дорожить жизнью.

К этой второй категории, по твердому убеждению Кузьмы Петровича Ефимкова, и относился Горелов. Когда на другой день после аварии комдив проведал своего подчиненного в лазарете и тот стал горячо его убеждать, что он здоров и его надо немедленно выписать и включить в плановую таблицу на очередные учебные полеты, Ефимков добродушно ухмыльнулся:

— Нет, парень. Ты еще больной.

— Я? — почти возмутился Алеша. — Да откуда вы взяли?!

— Больной, — жестко повторил полковник .— Пережитым больной. Вот когда сядешь в самолет — поймешь меня... Это, брат, не простая вещь.

Горелов, хмуря лоб, вслушивался в его речь, неуверенно сказал: «Не может быть», но после первого же полета нашел на аэродроме комдива и доверительно признался:

— Правильно вы говорили, товарищ полковник. Не сразу от пережитого освободишься.

— Ну вот, — засмеялся Ефимков, — теперь понял, Фома-неверующий.

С каждым новым полетом Горелов чувствовал себя в воздухе все спокойнее и спокойнее. К нему вернулась прежняя уверенность, но была уже она несколько иной,

всегда обдуманной, взвешенной. Вот почему, глядя на Алексея, комдив думал: «Этого небо примет. Хороший из него комэск выйдет в недалеком будущем».

Об аварийной посадке Горелова, о том, как спас он истребитель, писали в газетах. Даже «Красная звезда» напечатала небольшую заметку. Алексей сначала хотел на радостях послать газету матери, но сразу же спохватился: зачем? И так она каждый день думает о нем и тревожится; профессия летчика-истребителя кажется ей в десятки раз опаснее, чем это есть на самом деле. Он не послал ей газету, но вскоре получил от матери плотный конверт.

«Сыночек, дорогой мой, — писала Алена Дмитриевна, — что же ты огорчаешь меня? Почему ничего не написал о своем происшествии и мне пришлось про это узнать из газеты? Вся наша окраина только и говорит, что о твоем геройстве и о том, как сам маршал новый чин тебе дал. Это хорошо, сынок, но летай поосторожнее, чтобы больше такие приключения с тобой не случались. И еще посылаю тебе нашу верхневолжскую газету «Знамя коммуны», где пишется про тебя, и целую своего бесценного».

В конверт был вложен номер местной газеты с самым подробным описанием Алешиного полета. И еще была там заметка, подписанная его друзьями Володькой Добрыниным и Леной Сторожевой. «Мы гордимся тобою, Алексей!» — называлась заметка. Горелов недоуменно пожал плечами: они-то откуда в Верхневолжске взялись? Ведь разъезжались в далекие края. Загадка разъяснилась через неделю, когда он получил от них письмо. Оказывается, летом, во время каникул, они встретились в родном городе и поженились. «Правильно сделали, — одобрил Горелов, — подходящая пара».

* * *

Зори и закаты в любое время года заставали на Соболевском аэродроме людей в летных комбинезонах и технических куртках. Одни из них готовили боевые машины на земле, другие поднимались в воздух на стремительных скоростях, оставляя иной раз в вышине пушистые хвосты инверсии. Был среди них и Алексей Горелов. Даже видавшие виды ветераны считали теперь его своим человеком и относились с уважением, как к равному.

Все шло обычным чередом, и в жизни обитателей Соболевского аэродрома нет-нет да и происходили то радостные, то грустные перемены. Жена старшего лейтенанта Иванова наперекор всем врачам встала на ноги — никакой раковой опухоли у нее не оказалось. Сам Иванов после этого неузнаваемо переменился: и следа не осталось от его прежней мрачной подавленности. Он чертом носился по аэродрому, покрикивал на подчиненных, подгонял работу на каждой самолетной стоянке. Его звено вышло в отличные. Лева Горышин получил звание старшего лейтенанта, а командир полка Климов носил уже подполковничьи погоны. Ушел в запас замполит Жохов, и на его место из Москвы приехал выпускник военно-политической академии молодой веселый майор Тимаков, сразу ожививший в полку партийно-политическую работу.

В свободные дни Алеша не расставался с книгами. Он перечитал «Далекое близкое» Репина, книги о русских передвижниках. Все, что имелось в полковой библиотеке о первых космических полетах, уже побывало у него на дому, а книги Гагарина и Титова он брал по два раза. Горелов подолгу рассматривал снимки космонавтов, сделанные во время их тренировок в кабине космического корабля, много и часто думал об этих людях. Какие они, пилоты первых советских космических кораблей? Необыкновенные или такие же, как и он? Гагарин и Титов ободряюще улыбались с различных фотографий, но ответа на этот вопрос не давали. Сам с собой Алеша рассуждал и о космическом полете, упорно убеждал себя: «Не может быть, чтобы такой полет был мне не под силу. Если бы я оказался на их месте, тоже смог... А может, нет?.. Может, у меня не такая кровь, нервная система, мускулатура? Может это быть или нет?» То космонавты казались ему особенными, во всем его превосходящими людьми, то Алексей начинал видеть в них таких же молодых летчиков-истребителей, как и он сам. «Самое волнующее придет потом, когда люди станут летать на высоких орбитах, выходить в открытый космос», — думал Алеша, и мечта попасть к тем, кто готовится для этого, — острая и дерзкая мечта, — опять волновала его. Алеша с увлечением рисовал в эти дни космические корабли, поднимающиеся к звездам, и космонавтов в их фантастическом облачении. Эти рисунки он никому не рисковал показывать.

По просьбе нового замполита он расписал широкие дощатые стены в комнате отдыха дежурного звена. На одной из них в масляных красках воскресли перовские охотники, на другой — запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану. Исчерпав свою приверженность к классикам, Алеша взялся за собственный сюжет, и на третьей стене появилась сложная композиция: освещенный солнечным закатом аэродром, взлетающие истребители и группа офицеров в летных комбинезонах. Один из них — высокий, плечистый, чем-то смахивающий на Ефимкова и в то же время совсем не Ефимков — из-под ладони, козырьком приставленной к глазам, наблюдает за полетами. Оставался небольшой простенок меж окон, выходящих на летное поле. После долгих раздумий Алеша нарисовал здесь звездное темно-синее небо и ярко-желтый космический корабль, набирающий высоту. На борту его сделал короткую надпись: «Заря».

Когда все было готово, летчики и техники валом повалили в дежурный домик.

Зашел и Кузьма Петрович, которого просили не заглядывать сюда, пока работа была в разгаре. Подбоченясь, встал он на пороге, да так и застыл от радостного изумления.

— Батюшки вы мои! — воскликнул он. — Да ведь это же целая Третьяковка у нас в Соболевке открылась.

Подполковник Климов, пришедший вместе с комдивом, заметил:

— Теперь этот флигель не дежурным, а охотничьим домиком будем звать.

— Почему охотничьим? — запротестовал Ефимков. — Космическим. У нас вошло теперь в моду длинные статьи печатать и доклады делать о том, что космонавтика от авиации произошла. Воды в них хоть отбавляй, а тут эта теорема предметно в двух сюжетах доказывается. Взлетают наши истребители, а напротив, будто подхватив и умножив их скорость, целая махина к звездам устремилась. Ей-богу, убедительно.

Как-то приехал в гарнизон член Военного совета, уже немолодой седоватый генерал. Ему понравилась роспись домика, а еще больше портрет погибшего Комкова, написанный Алешей.

— Может, этого парня надо в студии Грекова показать, — задумался член Военного совета, — самородок же!

— Показать-то не штука. Да бесполезно, — вздохнул Ефимков. — Не пойдет, товарищ генерал. Он на свою живопись смотрит как на дело второстепенное. Есть у него другая большая мечта.

— Какая же?

— Стать космонавтом.

— О! — генерал развел руками и засмеялся: — Тут, Ефимков, я, к сожалению, так же беспомощен, как и вы! Сейчас таких мечтателей хоть отбавляй.

* * *

Любит военных людей дорога. Идут ли бои или день за днем текут годы мирной боевой учебы — для армии движение — это ее жизнь.

Разве не носился молодой, полный энергии и пыла Суворов во главе своих полков, осуществляя стремительные марш-броски и маневры, прежде чем вел их в бой? Разве пожилой дряхлеющий полководец Кутузов, уже обессмертивший себя победой над Наполеоном, не разъезжал бесконечно по гарнизонам и бивакам на польской земле, где оставался с войсками до последнего дня своей жизни? В день и полночь, в зной и дожди прикатывал он на своем «возке» то в один, то в другой полк, инспектировал учения, поощрял достойных, наказывал нерадивых. Ну а в наше время курьерских поездов и реактивных воздушных лайнеров военачальники разных степеней, от самых молодых и до шестидесятилетних, которым зрелость опыта и зрелость мысли не позволяют состариться, разве не пребывают в постоянном движении?

Ну а сами войска: мотопехота, танковые части, летчики, артиллеристы, ракетчики... Они тоже находятся в постоянном движении. Кто-то едет за новой, более совершенной и грозной техникой, кто-то передислоцируется на более важный рубеж в приграничной зоне, где на всякий случай надо постоянно иметь наиболее надежные силы. Кто-то перелетает со своего родного и хорошо обжитого аэродрома на другой, незнакомый и необжитый, потому что этого требуют условия тактического учения. Кто-то ночует в поле, а не в казарме и не в кругу семьи, и получает ужин не на тарелке с розовой каемочкой, а в солдатском котелке. Кого-то будит на привале свежая утренняя роса, а не будильник, заботливо поставленный же-

ной на нужный час. Словом, богата дорогами армейская жизнь.

И нет ничего удивительного, что в поезде дальнего следования, идущем из Москвы на юг, встретились два старых фронтовых друга — генерал-майор авиации и полковник. Встретились не где-нибудь, а в вагоне-ресторане, потому что, не будем скрывать, генералы туда тоже заходят и не считают за великий грех в дороге выпить стопку-другую за обедом или ужином.

Генерал-майор авиации, лет за сорок пять, среднего роста, чуть сутуловатый, как и многие летчики, у которых значительная часть их жизни прошла в кабине, вошел неторопливо в вагон-ресторан и, так как посетителей было там мало, сразу задержал взгляд на высоком плечистом полковнике, в одиночку сидевшем за столиком у окна. Серые выразительные глаза генерала дрогнули под цепочкой густых бровей.

— Кузьма! — воскликнул он, да так громко, что все сидевшие за столиками сразу же оглянулись.

Полковник стремительно вскочил, едва не перевернув столик.

— Сережа! Мочалов! — Генерал и полковник крепко обнялись и некоторое время стояли в проходе, оглядывая и похлопывая друг друга. — Вот так встреча! Ты куда?

Генерал назвал город, куда он ехал.

— Так это же замечательно! — обрадовался полковник. — Значит, в наш военный округ, мимо моих владений. Не будь я Ефимковым, если ты не побываешь у меня. Слезем в десять ноль три в Соболевке — воскресенье все равно день не рабочий, значит, твой, — а в понедельник утром я тебя на Як-12 переброшу к самому месту.

— А если погоды не будет?

— На машине тогда отвезем. И не отговаривайся, друже. Все равно ничего не получится.

— Да я и не думаю отговариваться. Откуда ты взял? — засмеялся генерал.

Ефимков усадил старого друга напротив себя и, широко улыбаясь, продолжал разглядывать его.

— Все такой же.

— Да ведь мы только два года не видались. А годы теперь реактивные. Пролетают быстро.

— Ну а меня чего не спрашиваешь, где я и что?

— Знаю, Кузьма, все знаю. Перед командировкой был у маршала авиации. Он твое хозяйство похваливал.

— Да вроде на уровне стараемся идти, — самодовольно пробасил Ефимков. — Ну а сам-то где? Что-то за последний год фамилия твоя в приказах перестала фигурировать. Ни среди тех, кому благодарности объявляют, ни среди тех, кому взыскания.

— Однако на орехи достается мне не меньше, — улыбнулся генерал.

— Где же ты теперь, Сергей Степанович?

— Потом скажу. Ты в каком вагоне едешь?

— В пятом.

— Так и я в пятом. И купе пустое. Перебирайся.

Поезд грохотал на стыках рельсов, оглашая сизую от инея ночь короткими гудками. В репродукторе низкий женский голос рассказывал о том, что течет река Волга и что кому-то семнадцать лет. Буфетчик равнодушно зевал у стойки.

Ефимков взял меню, на переплете которого была наклеена фотография — нарядная блондинка с высоко взбитой, но уже не модной прической сидела с молодым красавцем за столиком, уставленным фруктами, шампанским и прочими яствами. Дальше начиналась реклама, призывающая пассажиров посещать вагоны-рестораны.

— Черт побери, — ворчливо произнес он, — езжу, езжу и всегда, как только переступаю порог вагона-ресторана, наталкиваюсь на эту пикантную блондинку. Уже виски седеть начали, дети выросли, а она все такая же прекрасная.

Мочалов расхохотался:

— Это что? Комплимент блондинке или критика рекламы министерства торговли?

— Считай и то и другое, — подтвердил Ефимков. — Голоден я как черт, давай заказывать.

Заказывать еду Кузьма Петрович был мастер. Даже скудное меню вагона-ресторана он сумел превосходно использовать. По его велению на столе одна за другой появились тарелки с семгой и заливным судаком, салаты, приправленные майонезом и сметаной. На продолговатом блюде идеально разделанная засияла селедка, а рядом с нею уже дымился вареный картофель. Наконец, пожилой официант поставил ломтиками нарезанный лимон и бутылку коньяку. Ефимков потер огромные с крупными

синими жилами руки. Когда-то давно, еще до войны, он на спор гнул ими подкову.

— Ты чего на меня так пристально смотришь?

— Как в зеркало, — засмеялся генерал, — самого себя в тебе вижу. Вот и морщин прибавилось и седина голову подкрасила, а молодость, чувствую, не иссякла.

— Так я же не из тех, что носят расписные рубашки и в двадцать лет рассуждают, как старики, или пишут стихи о каком-то конфликте двух поколений.

— А что, и у тебя в дивизии есть такие?

— Нет, у меня все на уровне. Один, правда, затесался, да и то...

— Уволил при удобном случае?

— Зачем? — ухмыльнулся Ефимков и стал набивать трубку. — Перевоспитал. Как миленький сейчас трудится. Ну а горя с этим парнем действительно хватил. Как его звали, постой. Техник-лейтенант Борис Святошин. Себя-то он Бобом именовал. На полеты выходил танцующей походкой, весь аэродром смешил. Бороду окладистую на шотландский манер отпустил. Я его какое-то время не замечать пытался, думаю, дурь пройдет. Ан нет. Что ни день, то хуже. Начал хороших парней, молодых офицеров, на вечеринки таскать. Пластиночки, накрашенные девицы, коктейли. Смотрю, уже человек пять стали на аэродром с красными глазами по утрам выходить. Вот тогда я и взялся за этого Боба. Стал беседовать. Ему слово, он в ответ десять. «Вы, — говорит, — старшее поколение — продукт культа. Вы нас не понимаете». Не выдержал я, кулаки сжал. «Ах ты, — говорю, — желторотый. Это о ком ты так говоришь? О тех, кто тебе право носить красивую одежду и слушать транзисторы в войну отстаивали? Причем же здесь культ? Ты подумал, на кого замахиваешься?» Здорово взял в оборот. А потом стал ближе интересоваться, кто он, откуда. И оказалось, хороший парень. Сын умершего после войны фронтовика. Засосала его всякая плесень, вот и попал под влияние. Ну, мы его по комсомольской линии, на суд офицерской чести. Кто-то внес предложение понизить в звании, так он горючими слезами плакал. Сжалились. А сейчас в отличниках ходит. Уволить его легче легкого было. Так я же не из тех, которые только и любят наказывать да увольнять.

Генерал покачал головой и грустно сказал:

— Их тоже понимать надо, этих наших мальчиков.

Не всегда они шумят по злому умыслу. Годы культа ведь действительно по самому сердцу прошли. Мы люди закаленные — видели и смерть и пожарища, и трудности первых пятилеток, голод и холод. Нам было легче. А им труднее понять происшедшее и оценить. К ним надо чутко подходить, Кузьма. Мы все же иногда любим покрикивать: дескать, как вам не стыдно, боитесь трудностей, нытики, плаксы, нам в вашем возрасте иногда белая булка за радость была, а вы ходите чистенькие, сытые, да еще прошлое поругиваете! Но ведь для чего мы все это прошли? Неужели для того, чтобы и наши сыновья шли по такой же дороге трудностей и лишений? Нет. Люди лучше хотят сейчас жить. Кому охота переживать то, что мы в юности пережили?.. Давай выпьем, друже, за племя младое, незнакомое. Пусть оно идет дальше нас, в том числе и наши дети, конечно.

— Вот за это самое и давай. — Ефимков поднял рюмку.

— И за встречу, — прибавил генерал.

— И за то, что оба живы и песок из нас не сыплется, чтобы уходить в отставку.

Чокнулись и выпили. Мочалов, повернувшись к окну, чуть приоткрыл шторку — мелькали сквозь сумрак далекие огоньки, летел в ночи скорый поезд.

Если бы наши отделы кадров умели поглубже заглядывать в судьбы человеческие, они бы обязательно в личные дела Ефимкова и Мочалова вписали историю их дружбы, прошедшей через многие испытания. И в самом кратком изложении выглядела бы эта история так.

...Летом сорок третьего года за линией фронта был подбит штурмовик Ил-2. Еле-еле перетянув лесок, летчик посадил его на жнивье. Низко над ним пронеслись самолеты его группы. Он проводил их тоскливыми глазами и остался один у разбитой машины, полный решимости принять свой первый и последний бой с фашистами на земле. От ближнего хутора, взметая пыль, уже мчались к месту вынужденной посадки вражеские мотоциклисты. Короткие автоматные очереди с треском разрывали сухой полевой воздух. Но вдруг над головой летчика со звоном пронеслось звено наших истребителей. Три из них ударили из пушек по дороге, отсекая мотоциклистов, а четвертый смело пошел на посадку. Не выключая мотора, пилот открыл над головой крышку фонаря, приподнялся в каби-

не. Мочалов, подбегая, увидел тяжелый, резко очерченный подбородок, злые глаза.

— Чего шляешься! — свирепо закричал незнакомый пилот. — Тут тебе не парк культуры и отдыха. В машину!..

После войны судьба снова свела их на время: оба служили в одном пограничном полку, овладевали первыми реактивными истребителями. Совместные полеты на новых машинах, дружба семей и многое-многое другое их породнило. При встречах они обходились без театрально бурных восклицаний: «А помнишь ли?» Они читали свое прошлое в глазах друг у друга.

— Ну а теперь что за тост будет? — спросил Мочалов, разливая остатки коньяка.

— За небо над нами!

— Давай за небо! — согласился генерал. — Под этим небом хорошо дышится.

Потом они направились в пятый вагон, и Ефимков перенес в купе генерала свой небольшой чемодан. Сняв китель с разноцветными орденскими планками, он надел пижаму и с наслаждением стал набивать трубку. Искоса посмотрел при этом на друга.

— Ты как?

— По-прежнему не курю, — отказался генерал.

— Жаль, — вздохнул Ефимков, — мне под старость стало казаться, что человек, брезгающий трубкой, многое теряет. Люлька, она мыслить располагает. В облаках табачного дыма многие великие решения принимались.

— Ты стал сентиментальным, Кузьма.

— Помилуй бог, Сережа. Чего нет, того нет. Просто во мне собственный опыт заговорил.

— А меня к трубке не тянет, — улыбнулся добродушно Мочалов, — да и должность сейчас такая, что курить противопоказано. Обязан пример подчиненным подавать. А уж кому-кому, а им и на понюшку табаку нельзя.

— Да, да, — деланно зевнул Ефимков, — ты же обещал рассказать, на какой ты теперь работе.

— Действительно обещал, — согласился генерал, тоже снимая китель и форменную рубашку. Оставшись в одной белой майке, он плотнее притворил дверь и сел на диван к Ефимкову.

— Видишь ли, Кузьма Петрович, я уже полгода не служу в строевой авиации.

— Это я сразу понял, — подхватил Ефимков. — Но где? В каких войсках? К ракетчикам, что ли, подался?

— Бери выше, — улыбнулся Сергей Степанович. — Назначен командовать особым отрядом космонавтов.

— Ты! — Ефимков от удивления замер.— Да какой же ты, извини меня, космонавт?! И годы уже не те, и делом этим, насколько мне известно, ты никогда не занимался.

— Примерно так я и заявил, когда мне предложили эту должность, — улыбнулся Мочалов. — Выслушал меня один ответственный товарищ и головой покачал. «Когда вы вступали в партию, товарищ Мочалов?» — «На фронте, — отвечаю, — и партбилет между двумя боевыми вылетами получал. Только в разных местах: вступал под Орлом, а получал уже за Днепром». Он засмеялся, но глаза, гляжу, строгие: «Не годится, — говорит, — коммунисту-фронтовику пасовать перед трудностями». Я стал ссылаться на свою некомпетентность, сказал, каким, по моему убеждению, должен быть командир подобной части. Он меня снова остановил. «Вы как думаете, с чего начинается техническая революция?» — «С появления новых форм труда». — «А еще точнее?» — «С появления новых орудий труда». — «Правильно. Сначала появляются новые орудия труда, а потом — производственные отношения, которые им должны соответствовать. Давайте с точки зрения диалектики и отнесемся к новой профессии летчика-космонавта. Согласитесь: сначала появилась идея осуществить полет человека в космос, затем — корабль, способный поднять человека, и потом уж — первый отряд космонавтов. А вот академию, готовящую командиров таких отрядов, мы не смогли сразу открыть. Да и то сказать — космонавтике нашей год с небольшим, а срок обучения в любой академии не меньше трех-четырех лет. Как же быть?» Я пожал плечами, а он усмехнулся и закончил: «Из авиации надо брать кадры. Таких, как вы, выдвигать. Когда вас назначили командиром эскадрильи, вы были уверены, что с этой должностью справитесь?» — «Не очень», — отвечаю. «А когда полк доверили?» — «Тем более». — «А когда дивизию дали?» — «Совсем поначалу растерялся». Он засмеялся: «А знаете, почему? Потому что во всех случаях вы шли на новое дело. И сейчас на новое дело идете. Но партия вам доверяет...» Вот я и пошел, Кузьма Петрович. Трудно было поначалу, очень трудно. Но чертовски интересно.

— И корабли космические ты видел? — оживился Ефимков.

— Зачеты даже по материальной части сдавал.

— Ну а с Главным конструктором беседовал?

— Было.

— Вот, по-моему, человек! Глыбища!

— Большой человек! — подтвердил Мочалов.

Вагон покачивало. Временами под колесами жестко взвизгивали рельсы. Тихо тлела трубка в руках Ефимкова, негромкий голос Мочалова наполнял купе.

— Ты вот спрашиваешь, что такое первые полеты человека в космос. Конечно, если быть откровенным, это, что называется, проба пера. Мы сейчас пишем и говорим, что наши корабли несравненно лучше и надежнее американских капсул. Но придет время, и в сравнении с новыми они будут выглядеть, как самолет По-2 рядом со сверхзвуковым реактивным истребителем. Первые полеты — это разведка околоземного космического пространства.

— Нечего сказать — разведка, если весь мир о ней шумит! — гулко рассмеялся Ефимков.

— Так-то оно так, — согласился Мочалов, — но мы смотрим вперед, в будущее. А наше будущее — это орбитальные станции, монтажные работы в космосе, высадка на Луне. Сам понимаешь, какие кадры нужны для этого.

— Ну а в наши края ты по какой надобности прискакал, Сережа? Сказать можешь?

— Скажу. Во-первых, в штабе округа надо мне о парашютных прыжках договориться. Собираюсь свой личный состав весной сюда привезти. Еще кое-какие организационные дела. В том числе должен на вакантное место одного паренька из молодых летчиков в отряд подобрать.

— В космонавты?

— Да.

— И почему ты его решил искать именно у нас? Не свет же клином сошелся на нашем округе.

Генерал прищурился и с усмешкой посмотрел на друга:

— Только потому, что служит в этих краях некий полковник Ефимков. Когда я об этом узнал, сразу подумал: вот кто лучше всех мне поможет. Доложил начальству и получил от него «добро».

— Вот за это спасибо, — растрогался Кузьма Петро-

вич, — спасибо, что друга не позабыл. Да я тебе на выбор такие кадры предложу — лучше нигде не найдешь. Целую дюжину кандидатов в космонавты порекомендую.

Кузьма Петрович, как и в молодости, умел быстро поддаваться приливам бурной энергии и заражать ею других. И, прикусив в углах рта добрую усмешку, думал генерал Мочалов о том, что не поддался его друг своим сорока шести годам и не потерял острого отношения к жизни, какой бы стороной она ни поворачивалась к нему. Вот и морщины залегли под глазами, и виски начали заниматься той неторопливой сединой, какая несмело трогает в такие годы деятельных, но уравновешенных людей с отличным здоровьем и крепкими нервами.

— Подожди, дорогой, — попытался Мочалов сбавить его пыл. — Во-первых, чтобы задержаться у тебя на денек, я должен доложить об этом в округ.

— По телефону доложишь. У нас связь работает, как нерв. Так, кажется, мы в войну на плакатах писали? А задержаться тебе у меня командующий посоветует. Увидишь.

Мочалов кивнул головой.

— Будем считать — уговорил. Однако подобрать одного кандидата для меня дело очень и очень нелегкое.

— А разве я сказал, что легкое? — забасил Ефимков.— Ты мне со всеми подробностями обрисуешь, какой именно кандидат тебе нужен, а я уж об остальном позабочусь. Сам должен понимать: у меня в дивизии летуны один к одному — все в комдива!

* * *

В понедельник утром Кузьма Петрович Ефимков подъехал к штабу на час позднее обычного. Полетов в этот день не было, в учебных классах шли занятия. В его приемной уже давно сидел начальник отделения кадров майор Бенюк с огромной кипой личных дел на коленях. Окинув бегло эту кипу и самого Бенюка, Ефимков спросил:

— Принес?

— Принес, товарищ полковник.

— Как я просил — молодые, красивые, хорошие летчики и физкультурники?

— Так точно, — подтвердил ничего не понимающий майор, — может, вы все-таки объясните, товарищ полковник, почему вас самые красивые заинтересовали.

— Это тот случай, когда начальнику вопросов задавать не положено, — прервал Ефимков, сверху вниз взирая на невысокого Бенюка. — Клади мне эти папки на стол.

Он прошел в кабинет и по телефону приказал начальнику медицинской службы немедленно принести личные медкнижки всех тех офицеров, чьи личные дела отобрал Бенюк.

Потом, когда это было сделано, связался со своей квартирой. К телефону долго никто не подходил, длинные басовитые гудки следовали один за другим. Наконец в трубке послышался голос генерала Мочалова:

— Квартира полковника Ефимкова.

— Это ты, Сережа?

— Конечно, Кузьма. Стою с намыленной щекой.

— У меня все готово. Заканчивай и приезжай.

Когда его старый друг появился на пороге кабинета, Кузьма Петрович важно расхаживал вокруг стола и дымил трубкой. Он был явно доволен.

— Десять человеческих судеб на моем столе, — похвалился он. — Ты как, сначала обзором фотографий и личных дел удовлетворишься или тебе сразу оригиналы представить?

— Экий ты скоропалительный, — усмехнулся генерал, — с оригиналами повремени. Предоставь мне свободную комнату и время.

— Оставайся в моем кабинете. Я на аэродром ухожу. — Кузьма Петрович снял с вешалки меховую куртку и потянулся за папахой. — Тебе на эту операцию часа хватит?

— Боюсь, побольше уйдет, — покачал головой Мочалов, — два, не меньше.

— Работай два. В десять я к тебе наведаюсь.

И ровно в десять, переделав целую кучу разных дел, побывав на занятиях, в дежурном звене, на самолетных стоянках, весь раскрасневшийся от морозного солнца, Кузьма Петрович возвратился к себе в кабинет. Мочалов сидел за столом, молча постукивая пальцами по стеклу. Серые его глаза были озабоченными, брови хмурились. Большая стопка личных дел лежала в стороне, и только два — перед ним. На верхнем Ефимков прочел фамилию Горышина.

— Ну что, Сережа? — трубным голосом спросил комдив. — Отобрал кандидатов для беседы?

Мочалов отрицательно покачал головой и ладонью отбросил свисавшие на лоб пряди седеющих волос.

— Нет, Кузьма. Лишь два человека меня заинтересовали из всех представленных: Горышин и Савушкин.

— Как, только два? — удивился комдив. — А остальные? Например, Иванов, командир отличного звена, а Лабриченко, наш снайпер?..

— Так-то оно так, — спокойно согласился генерал. — Я не отнимаю у твоих подчиненных их заслуг. Но пойми, дорогой, очень жестким критерием мне приходится руководствоваться. Восемь из них уже не подходят по двум показателям: рост и вес. Два личных дела я пока задержал. Но понимаешь, Кузьма, хотелось бы более колоритного парня. Чтобы и летная биография была у него поинтереснее и сам он физически посильнее выглядел, чем эти, и к космонавтике бы тянулся.

— Кого же тебе еще порекомендовать? — задумался Ефимков и сел на просторный дерматиновый диван. — Есть тут у нас еще один парнишка, да лично я не хотел бы его отпускать. Вот у него так и в самом деле тяготение к космонавтике. Года два назад Гагарин проезжал через его родной город. Так этот парнишка с пакетом к нему пробивался. А в пакете просьба: «Возьмите меня в космонавты, это мое призвание». У нас в дивизии ребята зубастые, «космонавтом» его так и прозвали.

— За этот самый случай? — равнодушно спросил генерал.

— Нет, за другое — за то, что он ночью вместо самолета-цели за звездой погнался.

Глаза Мочалова так и брызнули смехом.

— Это любопытно. А летает он сносно?

— На уровне. Самолет у него в воздухе задымил както. Не растерялся парень. Посадил на летное поле. Звание досрочно получил за это от самого маршала.

— А физически как?

— Так ведь жарища во время пожара в кабине, я полагаю, адская была. В обморок не падал. Из самолета на своих ногах вышел, маршалу все чин по чину доложил...

— Смотри какой, — одобрительно кивнул Мочалов. — А еще какие за ним доблести водятся?

— Ты меня, Сережа, будто корреспондент какой расспрашиваешь, — нервно улыбнулся Ефимков, смутно почувствовавший, что Гореловым его друг заинтересовался

всерьез. — Больше за ним доблестей вроде никаких. Разве только что живописью увлекается. Знаешь, если бы не авиация, из него профессиональный художник мог получиться. Он у нас домик дежурного звена так разукрасил. Что ни стена — то картина.

Мочалов положил в общую кипу и те два личных дела, которые поначалу лежали отдельно.

— Слушай, друже, ты меня окончательно заинтриговал. Покажи мне эту роспись.

— Поехали, — без особого энтузиазма согласился Ефимков.

Что-то сковывало теперь его речь. Казалось, он был бы не прочь избежать дальнейших расспросов. Мочалов это понял и стал еще настойчивее.

Комдив, кряхтя, уселся за руль и сам погнал «Волгу» через аэродром по скользкой от гололеда дороге к дежурному домику. В пути был мрачен и почти не вынимал изо рта потухшую трубку. Когда командир отдыхающей дежурной пары, завидев генеральские погоны, бросился было докладывать, он за Мочалова сделал резкий нетерпеливый жест, означавший: отставить.

Войдя в домик, Сергей Степанович огляделся по сторонам. Копии веселых охотников на привале и запорожцев вызвали на его губах усмешку, но эта усмешка исчезла, когда он увидел на третьей стене картину будничного летного дня, где с точностью была выписана не только каждая фигура, но и трава, пригнувшаяся от могучего дыхания двигателей, и ромашка в руке у одного из летчиков, наблюдавших с земли за взлетом реактивных машин. А устремившаяся к звездам ракета, оставившая за собой огненный след, еще больше понравилась генералу.

— Как его фамилия?

— Старший лейтенант Алексей Горелов.

— Я что-то не припоминаю его личного дела в той кипе.

— Не было его там, — невесело сказал Ефимков, когда они вышли, — да и зачем стал бы я его рекомендовать? Парень как парень. Ничем не лучше тех десяти.

Пристально посмотрев на своего друга, Мочалов весело расхохотался. Нет, годы явно не повлияли на Ефимкова, он, как и прежде, не умел скрывать решительно ничего· ни своих радостей, ни обид. Генерал готов был биться об

заклад, что Ефимков ни за что не хочет отдавать ему Горелова.

— Слушай, друже, а ты все-таки феодал.

— Это отчего же?

— Зачем от меня Горелова прячешь?

— Это что, лобовая атака?

— Считай, что так.

— Только я его вовсе не прячу, — вяло проговорил Кузьма Петрович. — Что он — невеста на смотринах, что ли? Можешь с ним хоть сейчас побеседовать, если имеешь желание.

— Конечно, имею. Мне уже интуиция подсказывает, что это самый интересный кандидат.

Кузьма Петрович с остервенением выбил из трубки пепел и скосил на друга унылые глаза. Ударив себя черной крагой по голенищу сапога, он громко и упрямо воскликнул:

— Не пущу. Не пущу его, и точка.

Они сели в «Волгу». Полковник — за руль, генерал — рядом. Включив для прогрева мотор, Кузьма Петрович рассеянно слушал его гудение.

— Ты пойми меня правильно, Сережа, — сумбурно оправдывался Ефимков, — зачислят его к вашим космонавтам, и будет он там ждать своей очереди. Год, два, пять лет. Ручкой истребителя, гляди, ворочать разучится за это время. А потом оглянется — вроде уже и прошла самая спелая полоса жизни. И космонавтом не стал, и летчиком быть разучился. А у нас он, без обиняков скажу, на широкую дорогу вышел бы. Скоро командовать эскадрильей назначу. Годик-два, и в академию учиться отправим. А оттуда на полк, а то и замом на дивизию. Талантливый, чертяка!

— Так ты же только что уверял меня, что он ничем не лучше других? — заметил насмешливо Мочалов.

Но Ефимков уже входил в раж:

— Э, да это только для присловья было говорено. Горелов — что надо. И потом, как старому другу, тебе откроюсь: он сиротой рос. Понимаешь, жизнь для него с колыбели медового пряника не заготовила. Мать, простая крестьянка, еле-еле читает и пишет. Батька в сорок третьем году в танке сгорел. Горелов еще картину об этом написал. «Обелиск над крутояром» называется.

Круча, внизу Днепр бурлит, над обрывом одинокая солдатская могилка. Глянешь — по сердцу мурашки...

Мочалов уже твердо убедился, что его своенравный приятель будет как скала стоять за Горелова. Возможно, и кадровику он дал указание не приносить личного дела этого летчика. И чем упрямее возражал Ефимков, тем все сильнее росло у Мочалова желание поговорить со старшим лейтенантом Гореловым.

Тихонько трогая с места машину, Ефимков оживленно продолжал:

— И еще могу по секрету прибавить, чем дорог мне этот парнишка. Два года он у меня учился, а курсанты были всякие. И отличники, и вчерашние маменькины сынки, и стиляги. Но серьезнее, сдержаннее и умнее не было там у меня парня. Откровенно говоря, иной раз подумаю, он мне вроде родного сына. Никого сейчас так не опекаю. Вот теперь я и высказался, Сережа.

Мочалов искоса посмотрел на друга.

— Так ты что же, — спросил он, пожимая плечами, — полагаешь, что после такой красочной характеристики у меня пропадет желание с ним увидеться?

Ефимков затормозил, давая дорогу маслозаправщику, и, поглядев на генерала широко раскрытыми глазами, умоляюще произнес:

— Сережа, пощади. Откажись от этой беседы!

— Но ты же дал слово, Кузьма! — нахмурился генерал. — Да к тому же, если я побеседую с ним несколько минут, посмотрю медицинскую книжку и личное дело, это еще ничего не означает.

— Не означает! — ворчливо повторил комдив. — В том-то и дело, что еще как означает. Если ты с ним поговоришь один раз, ты ни за что уже от него не отстанешь. Он тебе по всем видам подойдет. В том числе по росту и по весу. Я-то догадываюсь, что ты ищешь человека с такими габаритами, как у Гагарина или у Титова. Так вот Горелов в самый раз подойдет.

Комдив резко, так что завизжали тормоза, остановил «Волгу» у штабного подъезда. Вышли молча и так же молча прошли в кабинет. Мочалов неторопливо снял шинель, достал платок с синей каемкой и, страдальчески сморщившись, громко чихнул.

— Будь здоров, — мрачно пожелал Ефимков. — Ну так что, Горелова звать?

— Обязательно, — сказал Сергей Степанович.

Ефимков шумно вздохнул и нажал на табло коммутатора одну из кнопок.

— Майора Климова, — прогудел он в трубке. — Это ты, Леонтий Архипович? Чем сейчас у тебя народ занимается? Техсостав на матчасти? А летчики? Так. А где старший лейтенант Горелов? По штабу дежурит? Что-то вы его слишком зачастили на эти дежурства. Человек он творческий, надо учитывать. У вас людей много, можно и пореже посылать. Тем более только что стал командиром звена, работы непочатый край. На будущее учти это. А сейчас срочно подмени его кем-нибудь, и пусть немедленно ко мне придет.

Полковник положил трубку, и красная лампочка на табло погасла. Не замечая в глазах Мочалова иронии, спросил:

— Мне как: остаться при этой беседе или уйти?

— Как хочешь. Пожалуй, оставайся.

— Нет, не останусь, — нахмурился комдив. — А то будешь после говорить, что я психологически или еще как-нибудь подчиненного подавлял.

— Да не ворчи, друже, — потеплевшим голосом сказал Мочалов. — Оставайся, и баста!

— Нет, я уйду, — решительно сказал комдив и нахлобучил папаху на подстриженную ежиком голову.

Дежурный принес в это время личное дело и медицинскую книжку Горелова.

— Как знаешь, Кузьма Петрович, — ответил Мочалов и быстро потянулся к документам.

Личное дело Горелова генерала уже не интересовало: там все было так, как представил Ефимков. А вот медицинскую книжку генерал читал жадно. Словно заправский терапевт, приблизив к глазам причудливые, пляшущие линии кардиограммы, всматривался в них. Поглощенный расшифровкой цифр и латинских, трудно разбираемых фраз, он не сразу поднял голову на скрип двери. Спокойный громкий голос заставил его оторваться от записей.

— Товарищ генерал. Старший лейтенант Горелов по вашему вызову явился.

Мочалов вскинул голову. На пороге стоял молодой стройный парень. Чуть худощавое лицо, вздернутый мальчишечий нос. Спокойные, но отнюдь не апатичные, а пытливые, с затаенным блеском глаза. Рот — тонкая прямая

линия, чуть поджатая в углах. Широкий лоб без единой морщинки. Сдержался Мочалов — не захотел сразу показаться излишне демократичным. А парень продолжал стоять с рукой, приложенной к виску, и была в этом уставном жесте старательность, присущая молодому офицеру, которому в своей жизни весьма редко приходилось докладывать генералам.

— Садитесь, товарищ старший лейтенант, и подождите немножко.— Листая теперь ненужную ему медицинскую книжку, Мочалов исподлобья наблюдал за летчиком.

Устроившись в жестком кресле (Ефимков у себя в кабинете мягкой мебели не держал), Горелов достал расческу, не спеша поправил волосы.

Мочалов накрыл медицинскую книжку обеими ладонями.

— Рад с вами познакомиться, товарищ старший лейтенант.

Горелов привстал, крепко встряхнул протянутую руку и сел снова.

— Я с вами познакомился чуть пораньше, — улыбнулся Мочалов.

Ни один мускул не дрогнул на лице Горелова, только ресницы застыли от удивления.

— Каким образом, товарищ генерал?

— Смотрел ваши работы... Конечно, это еще не рука профессионала, но человек вы, бесспорно, одаренный, и я вам от души желаю держать кисть так же крепко, как и ручку управления на истребителе.

Горелов улыбнулся, обнажая ровные, крепкие зубы.

— Стараюсь. Но за двумя зайцами не гонюсь.

— Это как же понимать?

— А так, что ручка истребителя для меня прежде всего, а уж кисть — потом, на досуге.

— Хороший взгляд на свою профессию, Алексей Павлович. Вы раньше на чем летали?

— На МиГ-19, товарищ генерал.

— А как, на ваш взгляд, самолеты, на которых теперь летать приходится?

— Сложнее и лучше.

Мочалов одобрительно кивнул головой. Он не хотел затягивать беседу. Все было ясно. Этот доверчивый и в то же время знающий себе цену, уверенный в своих силах парень был прекрасным кандидатом. Генерал встал из-за

стола, заложив за спину руки, прошелся по кабинету, ощущая на себе взгляд Горелова, наполненный ожиданием.

— Ну как, Горелов, хотели бы вы перейти на новую, более сложную технику?

У старшего лейтенанта вздрогнула нижняя губа.

— Какой же летчик этого не хочет, товарищ генерал?

— А если придется летать на высотах раз в двадцать больших, чем высота вашего истребителя, да и на скоростях во много раз превосходящих?

— Мой истребитель двадцать километров запросто берет, — с дерзинкой ответил Алексей. — А вы говорите — раз в двадцать выше. Что-то я не слыхал, товарищ генерал, что есть такая авиация.

Мочалов пропустил дерзинку мимо ушей и сам ответил насмешливо:

— Если газеты читаете и радио слушаете, должны бы знать, что есть.

Уверенность как ветром сдуло с лица Горелова. Волнение догадывающегося, робкая невысказанная надежда и, наконец, полное смятение отразились в его глазах.

— Так то ж только космические корабли могут, — прошептал он. — Я не понимаю вас...

— Сейчас поймете, — испытывая его нетерпение, проговорил генерал. — Я приехал сюда для того, чтобы подобрать одного кандидата в отряд летчиков-космонавтов.

Горелов чуть побледнел. Голос, дрогнувший на первом же слове, выдал его волнение.

— Шутите, товарищ генерал?

— Да, да, шучу. Именно для этого я и приехал сюда из Москвы, — холодно осадил его Мочалов. — Чтобы вызвать старшего лейтенанта Горелова и пошутить.

Неловко опираясь о подлокотники, Алеша поднялся в кресле. Глаза его растерянно блуждали по комнате.

— Простите, товарищ генерал. Но то, что вы говорите, так необычно.

— Ущипните себя за нос, чтобы убедиться, что это не сон, — тем же бесстрастным голосом произнес Сергей Степанович. — Но вы что-то не торопитесь с ответом. Возможно, это предложение вам совсем не по душе.

Горелов клятвенно прижал ладони к груди, словно хотел унять неровное дыхание.

— Что вы, товарищ генерал! Стать космонавтом... Да это же мечта всей моей жизни! Самая заветная мечта.

Только я и думать не мог, что... то есть не я, а вы... ой, я совсем запутался, товарищ генерал. Выдержки не хватило.

— Космонавту всегда должно хватать выдержки, — нравоучительно заметил генерал.

— Да, но это так странно, — повторил Алексей. — Два года назад я пытался просить Гагарина взять меня в космонавты. Тогда я был предельно наивным провинциальным парнем. Позже сам смеялся над этим. А здесь, в полку, спутал в ночном полете бортовой огонь самолета со звездой, и ребята наши так и прозвали меня: «космонавт». И мечта об этом как-то уже растворилась. И вдруг вы мне предлагаете... Да как же я могу отказаться? Только это как снег на голову. И притом — почему мне? У нас в дивизии есть ребята и получше...

— Выходит, вы мне больше подходите, — перебил Горелова Мочалов и повелительным жестом негромко хлопнул ладонью по стеклу письменного стола. — Считаю, что вы дали согласие. Передумывать не будете?

— Нет, — ответил Алеша быстро.

Сергей Степанович удовлетворенно наклонил голову.

— Однако вы должны понимать, что, дав согласие стать космонавтом, вы им еще не стали. Впереди серьезное испытание, сложная медицинская комиссия. Если она не найдет в вашем здоровье изъянов, вопрос будет решен положительно.

— Я понимаю, — тихо сказал Горелов.

— Вот и отлично. О нашем разговоре никому не должно быть известно. Когда получите вызов, тоже не вдавайтесь в объяснения. Куда и зачем едете — для остальных тайна. Скажите, что переводитесь в другую часть. Или к летчикам-испытателям. Словом, сами придумайте. А сейчас можете быть свободным, если нет вопросов.

Не успел Горелов одеться, на пороге появилась припорошенная снегом фигура комдива. Расстегнув на теплой меховой куртке «молнию», Кузьма Петрович потирал красные руки.

— Завьюжило сегодня, — покачал он головой и, покосившись на старшего лейтенанта, по-домашнему спросил: — Ну как, Алеша?

— Как в сказке, товарищ полковник, — с заблестевшими глазами бойко ответил Горелов. — До сих пор не верю, что это наяву происходит.

— А что решил? — спросил Ефимков, хотя по счастливому лицу Алексея и так все можно было понять.

— Согласен, — сдержанно ответил Мочалов.

— Ты или он?

— И я, и он.

— Так я и знал, — мрачно заключил комдив и, не снимая куртки, сел. Достал из кармана трубку, снова сунул ее в карман и, подойдя к молодому летчику, крепко обнял его левой сильной рукой, почти пригнул за плечи к себе. Был Ефимков на целую голову выше Горелова, глыбой возвышался над ним.

— Как назвал ты меня, Сережа? — окликнул он Мочалова. — Феодалом? Ну а ты — самый что ни на есть узурпатор. Лучшего парня забираешь. Никому бы другому не отдал. Только тебе, старому верному другу, доверяю Горелова. — Он оттолкнул от себя Горелова так же неожиданно, как и притянул, погрозил ему сурово пальцем. — А ты, смотри... от родного порога в новую жизнь уходишь. Был ты летчиком на уровне у Кузьмы Ефимкова. Вот и там должен честь родного порога беречь. Не забывай, парень, что этим родным порогом у тебя в жизни была истребительная авиация. Она тебя человеком сделала.

— Я этого никогда не забуду, Кузьма Петрович, — негромко произнес Горелов, — и вас особенно. Вы столько для меня сделали.

— А вот это уже сентиментальность, — прервал его Ефимков, — это не надо, Алексей. Она даже в пейзажах вредна, если их пишет летчик-истребитель. Шагай переживать свою радость. Все у тебя складывается хорошо, парень. Только смотри, в космос слетаешь, на земле меня не забывай. А то встречу где-нибудь, автограф попрошу, а ты сделаешь вид, будто и не знаешь меня...

— Да что вы, товарищ полковник.

— Ладно, ладно, всякое бывает, — проворчал с напускной суровостью комдив. — Ну а сейчас марш!

...Ровно через неделю на имя полковника Ефимкова пришла из высшего авиационного штаба короткая телеграмма: «Командир звена старший лейтенант Горелов Алексей Павлович приказом Главкома ВВС НП 296 п откомандировывается в распоряжение генерала Мочалова».

Кузьма Петрович, уже свыкшийся с неизбежностью предстоящей разлуки, прочитал ее не спеша, резко нажал

кнопку звонка и, когда в дверях выросла фигура дежурившего по штабу офицера, спокойно произнес:

— Разыщите старшего лейтенанта Горелова и передайте, что поступил приказ об отчислении его из нашей дивизии. Пускай срочно собирается и завтра вечерним поездом выезжает в Москву. Куда и зачем — он знает.

Оставшись один, комдив еще раз перечитал телеграмму и шумно вздохнул. Откинувшись на спинку кресла, он долго глядел в прямоугольник запотевшего от холода окна и думал о людях, с какими сталкивался на жизненных тропах. Многих летчиков встречал он и провожал. Но этот парнишка по-особенному был дорог. Его, вчерашнего десятиклассника, научил когда-то Ефимков летать, ему помог стать здесь, в Соболевке, боевым летчиком. Теперь он уходил.

— Пусть же повезет ему и на космическом маршруте! — тихо вздохнул комдив.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗВЕЗДЫ ЕЩЕ НЕ БЛИЗКО

Морозным январскнм утром на одной из самых далеких подмосковных платформ остановился поезд. Из него вышел только один пассажир. Сипло вскрикнул паровоз, н состав поплыл мимо платформы. Пассажнр огляделся. Под навесом жалнсь воробьн. Окно кассы задубело от наледн. Жизнь, могло бы показаться, совсем эамерла здесь от тридцатиградусного мороза, если бы не дымнлась напротнв, над рыжей дощатой, более высокой, чем станция, постройкой, кирпичная труба.

Вывеска «Буфет» была на этой постройке куда крупнее, чем табличка с названием разъезда, прибнтая чуть повыше окошка кассы. Может быть, поэтому в лютые морозные дни часть пассажиров упорно путала этн две постройки н, прежде чем очутиться у окошка кассы, открывала скрипучую дверь под вывеской «Буфет».

Одинокнй путник этого искушения избежал. Не отыскивая взглядом случайных пешеходов, у которых можно было уточнить дорогу, он уверенно, словно много раз бывал на этом разъезде, прошагал до конца перрона, спустился по лесенке н по тропинке, уэкой, но добротно вытоптанной многнмн пешеходами, вышел к широкой

асфальтированной дороге. Здесь он тоже не колебался, а сразу повернул налево.

Небо над лесом было ярко-синим и чистым. Нигде не мело. Ровная лента шоссе уходила в сторону от железнодорожного полотна. По обеим сторонам от нее стояли рослые сосны. Чуть подальше, отступая от них в чащобу, виднелись древние дубы. Березки меж ними холодно отсвечивали молочными, с подпалинкой стволами. Сойди с дороги — и тотчас продавишь наст, увязнешь по самую грудь в снег. Путник вздрогнул от неожиданного треска, гулко прокатившегося по лесу. С веток на землю посыпалась пороша. И на человека, на его военную шинель, на погоны старшего лейтенанта и на опущенные уши меховой форменной армейской шапки упали мелкие снежинки. И снова белое безмолвие сковало десятки километров окрест.

Широкая полоса дороги была прямой до самого поворота. А дальше плотная стена леса. Что за поворотом — не видать.

«Глухомань-то какая! — подумал путник. — Совсем как у нас на Волге». Но обманчивой была эта тишина. Не успел он мысленно произнести слово «глухомань», как из-за поворота вывернул навстречу грузовик-снегоочиститель с широким щитом впереди капота. Потом раздались настойчивые предупреждающие сигналы. Старший лейтенант, шагавший по самой середине дороги, поспешно свернул к кювету. С ним поравнялся армейский «газик». Скрипнули тормоза, и распахнулась дверца. Солдат-водитель, опираясь рукой о баранку, высунулся из машины.

— Садитесь, товарищ старший лейтенант. В ногах правды нет. До самой проходной домчу.

Путник отрицательно покачал головой.

— Спасибо. Больно хорошо лесом идти. Вот если от чемодана меня освободили бы.

— Так ставьте чемодан.

Старший лейтенант подошел к «газику» и втиснул в задние дверцы на пустое сиденье свою ношу.

— Вот так у нас многие, — проворчал неодобрительно шофер, — пеший транспорт технике предпочитают. Чемодан ваш оставлю в проходной.

Машина рванулась, обдав путника белым облаком снега.

За поворотом дорога была такой же прямой и где-то в километре отсюда совсем обрывалась, упираясь в чащу. Зоркие глаза старшего лейтенанта разглядели зеленый забор и небольшую каменную пристройку. Он пошел быстрее. Шаги по-прежнему звонко отдавались в лесной тишине. От холода ноги начали стыть, нос и щеки приходилось то и дело растирать, но старший лейтенант не раскаивался, что отказался от попутной машины.

«До чего здесь чудесно! — подумал он. — Совсем не то что в Соболевке, где на десять километров вокруг ни березки, ни сосны порядочной не сыщешь».

Когда он приблизился к длинному зеленому забору, увидел над ним высокую пустую смотровую вышку, верхние этажи белых каменных зданий, широкие, наглухо затворенные ворота с калиткой. Он уже приготовился стучать в калитку замерзшим кулаком, но когда до нее осталось не более десяти метров, она сама без скрипа распахнулась навстречу. Смуглый часовой, утонувший в овчинном тулупе, окликнул его с кавказским акцентом:

— Вы, наверное, старший лейтенант Горелов?

— Откуда вам это известно? — опешил Алексей.

— А мы, кроме вас, сегодня к себе никого не ждем, — улыбнулся часовой.

— Значит, пропуск на меня заказан?

— Не надо никакой пропуск. Удостоверение покажите.

Внимательно просмотрев удостоверение и скользнув по лицу Алеши изучающими глазами, он удовлетворенно качнул головой.

— Проходите, пожалуйста, товарищ старший лейтенант. И калиточку эту не забывайте. Ее когда-то сам Юрий Алексеевич Гагарин тоже вот, как вы, первый раз в своей жизни открывал. Памятная калиточка.

Алексей взял чемодан и пошел. Длинная прямая аллея начиналась от проходной. По обеим ее сторонам, наполовину занесенные снегом, высились на мраморных постаментах бронзовые скульптуры. Справа сквозь очки на него смотрел «дедушка русской авиации» Жуковский. Горсточки наметенного ветром снега, словно проседь, залегли в его темной бороде. Слева с рукой, устремленной ввысь, стоял Циолковский. Скульптору удалось передать и одухотворенность, и мечтательность, и лег-

кую грусть в тонких чертах худощавого лица, и бесконечную убежденность в волевом жесте руки. На ладони великого ученого Алексей увидел маленький макет космического корабля. И вовсе не склонный к сентиментальности, он всем своим существом почувствовал сейчас торжественность этой минуты. Два бронзовых человека смотрели строго и ободряюще. В Алеше проснулся художник, и он залюбовался скульптурами. «Великолепны, — подумал он. — Как живые. Так и кажется, будто вот-вот заговорят».

С жадным любопытством Горелов оглядывался по сторонам. Вот он, заветный городок космонавтов. Здесь все должно быть особенным и неповторимым. Он искал глазами здания, где размещались так хорошо известные ему по описаниям термокамеры, центрифуга, барокамера, кабины космических кораблей, ставшие тренажерами. Эти здания, как ему казалось, обязательно должны быть какими-то особыми, непохожими на все виденные доселе. Он их искал и, не найдя, вздохнул. Внешне городок космонавтов ничем Горелова не удивил. Даже разочаровал немножко. Он увидел дома и аллейки, такие же, как и в Соболевке. В густых зарослях сосняка и березовых рощиц прятались желтые и белые блочные дома. Широкая аллея привела Горелова к заснеженной цветочной клумбе. Обогнув ее, он очутился у двухэтажного здания, увидел в окнах машинисток и офицеров, склонившихся над рабочими столами, и догадался, что это и есть штаб отряда летчиков-космонавтов. Пока поднимался по ступенькам, неожиданная робость одолела его, но Алеша быстро отогнал сомнения.

Дежурный по штабу не стал проверять документы.

— Командира вызвали в Москву, — пояснил он, — а начальник штаба в девятнадцатой комнате.

В маленьком, подчеркнуто чистом кабинете его встретил высокий седой человек. На гладком стекле письменного стола, за которым он сидел, не было ни чернильного прибора, ни традиционных стаканчиков, ни облезлых самолетных моделей. Лишь стены этой комнаты были сплошь в каких-то схемах или чертежах, скрытых под матерчатыми занавесками. Перед седым человеком лежала синяя авторучка и лист бумаги, который он при появлении Горелова точным, выработанным движением сложил вдвое, так что все, что на этом листе значилось, было скрыто

теперь от вошедшего. Алексей громко отрапортовал. Седой человек встал из-за стола, протянул руку. Над большим лбом начальника штаба нависала седая шапка волос, с которой никак не вязались мохнатые черные брови и такие же черные молодые глаза под ними. Горелов с удивлением разглядел на его тужурке планки орденов и над ними две золотые звездочки.

— Полковник Иванников, — представился он просто, — Прохор Кузьмич.

— Так я же вас знаю, товарищ полковник! — не удержался Алеша. — Я в Больших Озерах авиаучилище кончал, а там на Доске почетных выпускников ваш портрет. Да и потом сколько о ваших подвигах с нами бесед проводили!

— Значит, помнят меня в училище, — обрадованно проговорил Иванников, которого, видимо, тронула наивная Алешина речь. — Да. Было. Пятьдесят два самолетика в Великую Отечественную сбил в воздушных боях. Только на той доске, как мне кажется, я выгляжу поинтереснее.

— Там вы совсем молодой, — улыбнулся Алеша, — и чубчик небольшой на лоб свисает.

— Чубчик, говорите? Был действительно и чубчик. А теперь две папахи ношу. Одну, которая по форме положена, а другую — вот эту, — тряхнул он седыми волосами. — Все приходит в свое время.

С интересом разглядывая начальника штаба, Алеша вспомнил, что он как-то уже спрашивал у Ефимкова, где теперь Прохор Кузьмич, и получил неопределенный ответ: «Да кто его знает! Служит где-то. Только фамилия его исчезла почему-то на авиационном горизонте».

«Так вот оно что. Оказывается, знаменитый ас Иванников тоже в этом отряде. Видать, хороши у космонавтов наставники».

— Садитесь, товарищ старший лейтенант, — сказал начальник штаба дружелюбно, — личные вещи, надеюсь, не в контейнере у вас идут?

— С собой, — весело уточнил Алексей, — в комнате дежурного по части чемодан оставил.

— Все мы с одного чемодана начинали... — философски заметил Иванников. — А как настроение?

— Настроение летчика-истребителя, прибывшего в новую часть, товарищ полковник.

— Вы теперь уже не летчик-истребитель, — поправил Иванников.

— Но еще и не космонавт.

— Еще нет, но к этому высокому званию надо себя готовить.

— Я хоть с завтрашнего дня могу начать тренировки, — пылко воскликнул Алексей, — проходить все термокамеры, сурдокамеры, роторы, бассейны невесомости, батуды...

Бритые щеки начальника штаба затряслись от смеха.

— Однако же и начитались вы о нашей жизни!

— Еще бы, товарищ полковник. Все, что было в газетах и журналах!

Иванников неторопливо пригладил левой рукой со следами ожога волосы. Глядя на курчавого офицера, про себя подумал: «Зелен. Ох, до чего же и зелен! Сколько с ним придется работать! Да и получится ли еще из него настоящий космонавт?» Прохор Кузьмич года три назад служил в Звездном городке, общался со всеми прославленными героями космоса. Сейчас он сравнивал с ними новичка, и ему почему-то казалось, что тот слишком уж жидковат. Алеша по-иному истолковал возникшую в разговоре паузу и не на пользу себе прибавил:

— Я и все фильмы о космических полетах смотрел по три раза. «Рейс к звездам», «Снова к звездам» и другие.

— Фильмы? — словно издалека переспросил Прохор Кузьмич. — В них все, конечно, ярко и эффектно, как на больших праздниках.

— А в жизни, товарищ полковник?

Иванников перестал улыбаться.

— В жизни — как в будни. Проще и гораздо труднее. И запомните, Алексей Павлович, с той самой минуты, как проходную прошли, запомните: жизнь человека состоит в основном из будней, а не из праздников. Тем более у космонавтов.

— Так я готов как можно скорее включиться в эти будни.

— Во все эти, как вы говорите, термокамеры, сурдокамеры и центрифуги?

— Ну да.

— Ох, Алексей Павлович! Я отдаю дань вашей искренней горячности, но... Еще не так скоро придется вам

приступить к специальным тренировкам. Сейчас главное не в них. Вам немедленно надо браться за учебу, серьезную и трудную.

— Но я же кончил авиаучилище, — наивно заметил Алеша.

— Авиаучилище? — засмеялся Иванников. — Да ведь авиаучилище для космонавта все равно что церковноприходская школа, дорогой старший лейтенант. Космонавт!.. Гагарин по одной дорожке прошел вокруг земного шара, Титов — по другой, Николаев и Попович иными орбитами ходили. И каждый, кто совершает новый полет, действительно пашет звездную целину. Не подумайте, что я пытаюсь образами говорить. Это элементарно. Словом, чтобы, как выражаются журналисты и киноработники, совершать рейсы к звездам или, как у нас говорят попроще и поточнее, исследовать космическое пространство, — нужны огромные знания. Наши ребята уже не те, какими они пришли сюда. Они претерпели огромную эволюцию. Вы же назначены в особый отряд. Поживете — узнаете, какая огромная задача перед нашим маленьким отрядом поставлена. Учиться надо. Тогда все перед вами откроется: и сурдокамеры, и центрифуги, и многое другое. — Он строго, будто прицениваясь, посмотрел на Горелова и улыбнулся: — Подождите, Алексей Павлович, командир говорил, что вы художник. Это правда?

— Да уж какой там, — потупился Алеша, — рисую так, в основном самоучкой. Когда выходит, а когда и нет. Раз даже премию получил и картина на выставке побывала.

Прохор Кузьмич вышел из-за стола и заинтересованно посмотрел на новичка.

— Так ведь это же здорово!

— Не понимаю, — оторопело произнес Горелов.

— Все поймете, — оживляясь, продолжал начальник штаба. — Космонавт-художник для нас находка. Из каждого полета пилоты космических кораблей привозят кинопленку и фотокадры, записи в бортовых журналах, личные наблюдения. Ну а если полетит художник? Он же потом такие зарисовки по памяти сделает! Иной раз о сияниях, закатах и восходах, о том, какой Земля видится с высоты, трудно рассказывать словами. А если вам вдруг из корабля в открытый космос придется выходить,

монтажные работы выполнять? То, что вы увидите за бортом корабля, навек в память врежется. — Иванников опять сел за стол. — Еще об одном должен предупредить. Мы храним имена будущих космонавтов, их дублеров и тренеров в секрете. Короче говоря, сразу уясните себе, как только вышли за проходную, вы уже не летчик-космонавт Горелов, а просто советский гражданин Горелов — если на вас штатский костюм. А если военный — то старший лейтенант Горелов, и баста. А теперь идите устраиваться. — Прохор Кузьмич открыл сейф, достал плотный картонный листок. — Вот ордер на квартиру. Вручаю без фанфар, но все-таки церемония из торжественных. Как-никак две комнаты, двадцать шесть метров. Сейчас я вызову нашего коменданта капитана Кольского, он вас проводит.

Иванников позвонил, и через минуту в кабинете появился пожилой, небольшого роста капитан с усталым нервным лицом и огромной синеватой родинкой на лбу.

— Прошу знакомиться, — обратился к ним обоим Иванников.

...На улице Кольский сказал:

— Шагать тут недалеко. Семнадцатый дом сразу за поворотом. Этаж второй, удобный. Сейчас ваша квартира как раз освобождается.

— Освобождается? — удивленно переспросил Горелов. — Кто же в ней до меня обитал?

— Капитан Вячеслав Мирошников.

— А сейчас?

— Получил новое назначение. Убывает. — И, словно желая избавить себя от дальнейших расспросов, комендант обвел рукою вокруг: — Полюбуйтесь нашим городком. Маленький, компактный. Вы к нему быстро привыкнете. Когда я сюда прибыл, здесь ничего не было. Ни зданий, ни стадиона, ни учебных корпусов. Сплошной лес. Мама моя, если бы вы знали, в какую стужу мы его вырубали! В каждое из этих зданий я тоже кирпичи своими руками вкладывал. Можете не сомневаться. А когда городок построили, вызвали меня в кадры и спросили, хочу ли остаться тут на постоянной работе. Я тоже, разумеется, спросил, а что здесь будет. И когда мне сказали — отряд космонавтов, развел руками и ответил: «А кто же не захочет работать в таком отряде, хотел бы я вас спросить?»

Им навстречу попалась группа офицеров, человек в пять, спешившая к штабу. Шагавший впереди майор весело крикнул:

— Коменданту привет! — и не обратил никакого внимания на Горелова.

Остальные, наоборот, задержали взгляд только на нем. Были они все молодые, почти одного роста, крепко сложенные. На меховых новеньких шапках желтели летные «крабы». И по тому, как властно ступали они по утоптанной дорожке и громко разговаривали, безошибочно понял Алексей: это идут хозяева городка — космонавты. Кольский подтвердил:

— Ваши коллеги на физподготовку направились.

У подъезда, к которому они свернули, стояла трехтонка с раскрытым кузовом. Два солдата с усилием закрывали железные двери красного контейнера, туго набитого домашними вещами и мебелью.

— Все, что ли, забрали? — окликнул их комендант.

— Все, товарищ капитан, — ответил один из солдат.

Кольский грустно вздохнул и показал Алеше на лестничный пролет, приглашая подняться первым.

Семнадцатый дом ничем не отличался от многих блочных домов, существующих ныне в авиационных городках, разбросанных во всех концах нашей земли. Три подъезда, четыре этажа, серые аккуратные стены. На втором этаже полная молодая женщина в меховой шубке и белых валенках никак не могла английским ключом отворить дверь. Из-под теплого платка выбивались припорошенные снегом черные волосы. Смуглое, темноглазое лицо южанки и чуть подкрашенный рот. Видимо, женщина только-только пришла из магазина: у ее ног стояла тяжелая хозяйственная сумка.

— Сергей Иосифович, — окликнула она Кольского, — выручайте из беды.

— Мама моя! — воскликнул Кольский. — Жена космонавта, и не в силах справиться с каким-то замком! Давайте ключ. Не зря в Одессе говорится, что дело мастера боится.

Пока комендант открывал замок, женщина с нескрываемым любопытством разглядывала Горелова.

— Будете нашим соседом? — бойко спросила она.

— Собираюсь.

— Вот и хорошо. Если что понадобится, не стесняйтесь обращаться за помощью. У нас это принято. С одним чемоданом осваивать жилплощадь трудно.

— Готово, Вера Ивановна, — сказал в эту минуту Кольский, и женщина, поблагодарив его, скрылась за дверью.

У соседней квартиры с потускневшей цифрой «13» над входом Кольский остановился и виновато оглянулся на Горелова. Дверь была приоткрыта.

— Все-таки предупредим о себе, — пробормотал неуверенно комендант, — прежний хозяин еще там, — и нерешительно позвонил.

— Войдите, — донеслось из квартиры.

Следом за комендантом Горелов перешагнул порог и, не ставя в узком коридоре тяжелый чемодан, прошел в комнаты. На него пахнуло опустошенностью обжитого жилища, из которого только что вывезли обстановку. Голые, без занавесок, окна, примороженные снаружи. На стене след от снятого ковра. Пустой буфет с распахнутыми дверцами и дешевый стол без скатерти. На древнем диване с облезлым верхом и выпирающими пружинами сидела молодая светловолосая женщина в теплой незастегнутой шубке и держала на коленях двухлетнюю девочку, тоже одетую. Нежно и как-то жалко прижималась женщина щекой к белому личику девочки. Девочке было неловко, но она не отстранялась, будто понимала, что маме невесело. Меховая шапочка женщины лежала на столе, а все три приставленные к нему стула были заняты военной одеждой. На одном висела тужурка с летными капитанскими погонами и большим синим значком парашютиста. Увидев его, Алеша про себя отметил, что много, видно, попрыгал ее хозяин на своем веку. На другом стуле лежала шинель, а на спинке третьего — серый зимний офицерский шарф.

Алеша ощутил на себе чужой тяжелый взгляд. Поднял голову. У окна стоял невысокий темнолицый офицер в рубашке с расстегнутым воротом и всклокоченной густой шевелюрой. Засунув руки в карманы, он бесцеремонно продолжал разглядывать Горелова, не обращая никакого внимания на Кольского, словно того здесь и не было. Карие глаза с темными желтоватыми зрачками под очень густыми бровями казались горькими, и Алеше подумалось, что руки незнакомца, засунутые в карманы

брюк, сжаты сейчас в кулаки. Весь он был, как боксер, сделавший первый шаг на ринге.

— Здравствуйте, Слава, — неуверенно приветствовал его комендант, но на лице капитана не дрогнул ни один мускул. Его внимание было целиком приковано к Алеше. Крупные губы насмешливо покривились.

— А-а, новый искатель счастья прибыл, — протянул капитан с оскорбительным пренебрежением. — Старший лейтенант Горелов, если не ошибаюсь?

— Почему искатель счастья? — обиженным голосом спросил Алеша.

— Да по той простой причине, — зло пояснил капитан, — что теперь каждый летчик-истребитель, только пальцем его помани, готов бежать в космонавты, улыбаться под Гагарина, носить прическу Титова и даже копировать походку Терешковой, полагая, что, овладев всем этим, он будет немедленно запущен в космос. Но вам выпал не тот номер, старший лейтенант. В этой квартире вы не найдете ни пера жар-птицы, ни маршальского жезла. Не забывайте, что она тринадцатая.

— А я их и не ищу, — покоробленный такой встречей сказал Алеша.

Женщина на диване болезненно поморщилась и большими светлыми глазами взглянула на капитана:

— Слава, не надо...

— Подожди, Марьяна, — сказал он несколько мягче, — должен же я товарища старшего лейтенанта в курс ввести. Он от радости, что зачислен в отряд, парит в облаках, а я его на грешную землю хочу спустить и напомнить, что отныне он жилец квартиры номер тринадцать.

— Можете не волноваться, товарищ капитан, — безобидно улыбнулся Алеша, — я тринадцатого числа не боюсь. Да и вообще летчик, верящий в коварство тринадцатого числа, в наши дни уже атавизм.

— Не скажите, — вмешался в разговор Кольский, решивший сгладить их перепалку, — и сейчас еще можно встретить таких. А раньше было в авиации... мама моя! Кто бриться в этот день не хотел перед полетами, кто вообще бунтовал, если его в плановую таблицу ставили. Один комэск, вот запамятовал фамилию, дело до войны было, когда еще на Р-1 летали... так тот даже жаровню под сиденье норовил положить, если взлетали тринадцатого числа.

— Не знаю, — пожал плечами Алеша, — лично мне на тринадцатое везет. Самые удачные полеты выполнял. И если в космос когда-нибудь придется, я бы тоже не стал возражать против тринадцатого.

— В космос! — почти взревел мрачный капитан. — Посмотрите-ка на этого юнца. Да знаете ли вы, как до этого «когда-нибудь» далеко? Скажу и больше. Оно и совсем может не наступить в вашей жизни, это «когда-нибудь»... вот как в моей. Вам, пришедшему в отряд на мое место, об этом следует знать.

Алеша удивленно попятился:

— Я назначен на ваше место?.. Но ведь мне об этом никто не говорил.

— А какое это имеет значение?! — горько махнул рукой капитан.

—Нет, постойте, — тихо проговорил Горелов, — я ничего не понимаю. Я — на ваше место, а вы...

У него эти слова вырвались так искренне, что мрачный капитан сразу потеплел и раздражение уступило место тихой грусти. В голосе у него улеглись вызывающие нотки. Капитан вынул руки из карманов, протянул правую.

— Давайте хоть познакомимся напоследок... Я тут зря шумлю. Вы, конечно, ни в чем не виноваты. Капитан Мирошников я. Вячеслав Мирошников. Можете просто Славой звать, на равных.

— А я Горелов, Алексей.

— Вот и ладно, — кивнул лохматой головой капитан и на несколько секунд отвернулся, чтобы скрыть волнение. — Квартиру я вам оставляю в полном порядке... вся кэчевская казенная мебель налицо. Кран холодный и кран горячий в полной исправности. Можете даже с дороги мыться. Ну а насчет того, почему я ухожу, тоже в двух словах выскажусь...

Женщина отпустила девочку с рук на пол и глухо попросила:

— Слава, может, не надо?

Он подошел, положил широкую ладонь на ее светловолосую голову, не стыдясь нежности этого жеста.

— Не бойся, Марьяна, я уже пережил свое, а нашему новому знакомому Алеше Горелову знать полезно, что не все достигают цели... Так вот, Алеша, есть такая штука на земле — космической медициной именуется. И не смотрит она ни на вашу элегантность, ни на эрудицию,

ни на ваши затаенные помыслы, какими бы чистыми и высокими они ни были. Она беспощадна и объективна. И достаточно сурова при этом. Три года отдал я отряду. Тренировался, учился, мечтал о старте на космодроме. А месяц назад сел очередной раз на центрифугу и еле с нее встал. Вся спина синяя, сосуды полопались и — короткое заключение: повышенная чувствительность кожи делает капитана Мирошникова неспособным к перенесению больших перегрузок. Снова в авиацию. В старую дивизию. Это я уже сам попросился. — Он замолчал, бросил в окно быстрый взгляд и кивнул жене: — Нам пора, Марьяна, ребята уже к машине подошли, ждут.

Женщина молча встала, а Мирошников быстро оделся. Потом они все четверо присели, как это и положено перед дальней дорогой. Взволнованный Алеша пожал им руки.

— Товарищ капитан, — попросил он, — подарите что-нибудь на память. Все-таки я ваш преемник и должен что-то получить в наследство.

— В наследство, говорите, Алеша? — остановился в дверях капитан. — Зачем же? Меня еще не хоронят, я еще в авиации постараюсь свое слово сказать, раз не довелось стать космонавтом. В наследство не надо. А вот на новоселье я вам действительно подарок сделаю. — Он порылся в портфеле и достал твердый белый комочек. — Держите, Горелов, мал золотник, да дорог.

— Что это такое? — недоуменно спросил Алексей. — По форме напоминает хлеб.

— Это хлеб и есть, — подтвердил Мирошников, — хлеб, побывавший в космосе в бортовом пайке корабля «Восток-1». Из рациона Юры Гагарина. Видите, какой сувенир! И если у вас все сложится удачнее моего и вы полетите в космос, возьмите его с собой.

— Я возьму, — растерянно согласился Горелов.

Шаги Мирошниковых замерли на лестнице. Кольский ушел с ними.

Затворив плотно дверь, Горелов вернулся в комнату, встал у окна. Сквозь свободное от наледи пространство он увидел ту же стоявшую внизу трехтонку. Кузов был закрыт и солдат в нем не было. Рядом с машиной стояли те пятеро, что повстречались, когда Алеша и Кольский шли к дому. Вероятно, они прибежали попрощаться с капитаном Мирошниковым прямо из физзала, потому что

были в голубеньких шапочках и синих спортивных костюмах.

С каким-то тоскливым любопытством наблюдал Алеша за коротким прощанием. Пятеро по очереди обнимали Славу Мирошникова и его жену, а один из них даже расцеловался с ними. Грузовая машина отъехала, и ее место под окном заняла черная «Волга». С улицы донеслись последние прощальные возгласы: «Ты же пиши, Славик», «Помни», «Ну, до встречи, когда бы она ни состоялась», «Марьяна, пиши моей Вере».

И вдруг Горелов явственно услышал, как капитан Мирошников сказал: «Спасибо, спасибо, ребята! Вы смотрите новичка не обижайте. Все-таки в моей квартире остался жить. Пусть хоть ему на тринадцатый номер повезет!»

И Алеше стало тепло и грустно от таких слов.

Потом Мирошниковы сели в легковушку, и она плавно взяла с места, устремившись к проходной. Она ехала к зеленым воротам по недолгой дороге, а пятеро космонавтов остались недвижно стоять и напряженными глазами провожали своего навсегда убывающего товарища. Черная «Волга», остановившаяся у проходной, и маленькая группа провожающих, таких ярких на фоне белого снега в своих синих костюмах, выглядели несколько траурно.

Горелов отошел от окна: «Неужели и со мной случится такое? Нет, не верю, — заговорил он с собой. — А почему не верю? Разве этот красивый кудлатый парень хуже тебя? Да нет, не хуже. Так что? Тебя зачислили на его место, ты теперь будешь жить в его квартире. Но есть ли гарантия, что и с тобой не произойдет такого? Ведь этот парень три года ходил по дорожкам космического городка, три года тренировался на снарядах в физзале, проходил занятия в термокамере и сурдокамере. Три года ездил время от времени на центрифугу, учился в академии. Три года был уверен, что распахнется перед ним проходная космодрома, чтобы пропустить к стартовой площадке, к ракете... И вдруг вместо этого зеленые ворота городка навсегда закрылись за ним. — Алеша прошелся по опустевшей комнате, сказал: — Навсегда». А что ждет его в авиации? Разве легко возвращаться назад к самолету после длительного перерыва? На его тужурке — значок военного летчика второго класса. Но когда

он возвратится к своим товарищам, ему придется начинать снова с программы пилота, не получавшего класс. Ой как нелегко все это!

Горелову стало жаль уехавшего Мирошникова. Он оглядел опустевшую комнату. Одинокий коричневый чемодан, поставленный у стены, делал ее еще более неуютной. Диван, три стула, длинный стол без скатерти, буфет с открытыми дверками... Во второй комнате Алеша обнаружил фанерный платяной шкаф с поцарапанным зеркалом, небольшой письменный столик, на котором стоял желтый пластмассовый телефон, еще два старых стула и кровать, застеленную свежим бельем. «Вероятно, капитан Кольский от имени КЭЧ постарался, — догадался Алеша. — Ну что ж, и за это спасибо. Наши отцы начинали небось с худших вариантов».

И он уже по-хозяйски принялся определять, куда что положит из своего нехитрого имущества. Распоковав чемодан, аккуратно повесил в шкаф свой единственный штатский костюм и демисезонное пальто, сложил на полку выглаженные рубашки и носки, отнес в ванную мыло и электробритву, затем вынул кисти и краски и очень долго раздумывал, куда бы их прибрать. Однотомник Маяковского, подаренный ему Леночкой Сторожевой еще в девятом классе, он положил на письменный стол. Потом вынул спрятанную на самом дне чемодана картину «Обелиск у крутояра», долго на нее смотрел.

Нет, не потускнели краски! Все так же багрово догорало ущербное закатное солнце и тени падали наземь от двух скорбных фигур — женщины и подростка, стоявших на днепровской круче у одинокого обелиска. Алеша пожалел, что оставил в Соболевке все свои пейзажи, портреты и акварели. Как бы они преобразили новую квартиру! Но как же было не оставить, если сам Ефимков, зашедший попрощаться, неловко попросил:

— Ты того... Алексей. Творчество свое пожертвуй дивизии. Все-таки здесь, если рассудить, немало твоего пота осталось. Пусть память о тебе самая добрая у нас сохранится.

Как же было отказать? Вздохнув, Горелов стал искать место для единственной оставшейся у него картины. Решил повесить ее над стареньким диваном — над ним остался след от ковра. На кухне нашлись щипцы, гвозди и молоток. Картина сразу попала в полосу яркого солнеч-

ного света, и краски стали еще более выразительными, так что даже самому автору стало приятно. Из всего, что было им нарисовано в жизни, строгим судом собственной совести, о приговорах которого даже родная мать не знала, считал Алексей удачными только две работы: портрет погибшего Василия Комкова и эту картину. Когда он спрашивал себя, почему только они так удались, отвечал ясно и прямо: потому что гибель Комкова он пережил, как никто другой, а обелиск у крутояра был обелиском над отцовой могилой. И тогда заключал Алексей про себя веско и грубовато: значит, правильно сделал, что не переоценил свои возможности и не стал искать славы и признания в среде живописцев. Если получается только пережитое, а вымышленные сюжеты под твоей кистью плохо возникают на загрунтованном холсте, значит, не станешь ты настоящим художником.

— А эта картина все же смотрится, — вслух произнес он, отходя от дивана.

* * *

На другой день Горелов проснулся довольно поздно, когда неторопливый зимний рассвет уже разгорелся за окнами. Как и многие люди, переселившиеся в новую обстановку, со сна он не мог первые секунды сообразить, где находится. «Я уже не в Соболевке,— вздохнул он облегченно, — это же новая квартира». Потом, посмотрев на часы, Алеша испугался своего слишком позднего пробуждения. Однако вспомнил — сегодня воскресенье и его нигде не ждут. Нашарив войлочные тапочки, он прошел в соседнюю комнату и ахнул от изумления.

— Вот это да!

Стулья и табуретки беспорядочно окружали раздвинутый стол, на котором стояли тарелки с остатками еды и множество бутылок с разноцветными наклейками. «Как же я позабыл-то спросонья! — укорил себя Алеша. — Вот это работенки мне на воскресный день подбросили! И до обеда все не перемою». Он еще раз посмотрел на бутылки и вдруг от души рассмеялся.

При воспоминании о вчерашнем вечере в нем шевельнулась потаенная радость. В самом деле, как все это произошло? После принятой ванны он лег отдохнуть и, утомленный первыми впечатлениями, быстро заснул. Очнулся в сумерках от неясного шума и непрерывных звон-

ков. Сначала решил, что это телефон, и подскочил к письменному столу, но очередной звонок донесся уже явственно из коридора. Сомнений не оставалось — звонили на лестничной площадке, и, видно, давно и настойчиво. Наскоро сунув ноги в тапочки, кинулся открывать. Было уже темно. Алексей включил в прихожей свет и широко распахнул дверь. Плотный, среднего роста майор с тяжелым свертком в руках быстро прошел мимо, прямо в комнату, так, словно Алексея тут и не существовало. Горелов инстинктивно прижался к стене.

— Ребята, вторгайтесь! — громко позвал из его комнаты майор.

На лестнице послышались шаги. Пятеро офицеров с тяжелыми коробками и кульками прошагали в комнату. Чей-то глуховатый басок спросил:

— Куда класть?

— На стол, — распорядился майор, — только не позабудьте перед этим скатерть-самобранку расстелить. Эй, кто-нибудь, зажгите свет!

Вспыхнула люстра, и комната наполнилась ровным светом. Горелов растерянно вошел в собственное жилище, чувствуя, что, заспанный и непричесанный, он выглядит сейчас смешно. Майор остановил на нем взгляд, и на его щеках заплясали веселые ямочки:

— Полюбуйтесь на хозяина, ребята. Вероятно, так Илья Муромец выглядел после того, как сиднем просидел на печи свои семнадцать или сколько там лет. Хорош, а?

Несмотря на явную насмешку, Горелов почему-то не почувствовал обиды. Он лишь озадаченно переводил взгляд со свертков и коробок на хрустящую новенькую белую скатерть, которую два входивших последними офицера расстилали на столе, выравнивая концы.

— Ярлычок с магазинной ценой хоть оторви, — буркнул один из пришедших.

— Что? Не доходит? — спросил майор, еще веселее улыбаясь. Круги от ямочек на щеках поплыли по его широкому лицу. Темные умные глаза так и буравили Алексея. — Чудак человек. Сразу видно, насколько в нем глубоко сидит провинциальный аэродром. А где же нюх, летная интуиция?

— Я действительно ничего не понимаю, товарищ майор, — выдавил Алексей.

Тот безжалостно его оборвал:

— Здесь уставное обращение неуместно. Дома мы зовем друг друга коротко: «ребята» или по именам. Меня, кстати, зовут Владимир Костров. А понимать здесь нечего. Сегодня у вас новоселье, и у всех нас в связи с этим большой мальчишник. Вот мы и пришли вас поздравить, Алексей. Принимайте гостей и ваших коллег-космонавтов. Да и подарки заодно.

— Но я и ожидать вас сегодня не мог, — совсем растерялся Горелов, — у меня, кроме тюбика с зубной пастой, никакой закуски... да и стол маленький, все не усядетесь за него.

— А разве это не закуски, —указал майор на свертки и коробки.

— Дополнительные стулья будут доставлены из Володиной и моей квартиры, — подал голос лысоватый капитан.

— Что же касается возможности разместиться за этим столом, то главный конструктор мебельной фабрики явно ее предусмотрел, — прибавил черноглазый, — данный экземпляр имеет склонность раздвигаться, когда порог квартиры перешагивают гости.

— Это означает, — повелительно заключил майор, обращаясь уже к одному Алексею, — что вы должны сменить немедленно пижаму на более пристойное для приема гостей платье. Даю вам для этого пять минут. Вы же, ребята, орудуйте на кухне.

Алеше так хотелось произвести впечатление на новых своих знакомых, что он буквально перевернул весь свой небольшой гардероб и вскоре появился перед ними в остроносых полуботинках и сером выутюженном костюме. На модной нейлоновой рубашке вызывающе пламенел галстук.

Костров оглядел его с головы до ног и удовлетворенно заметил:

— Вы, Алеша, действительно эффектно выглядите. Однако пиджачок вам придется снять. Здесь очень тепло.

— Почему? — запротестовал Горелов, но Костров деспотично поднял руку. — Снять, снять, — повторил он тоном, не допускающим возражений.

— Может, ему и галстук снять? — подсказал черноглазый космонавт. — Уж очень хорошенький галстук. Жалко будет.

— Галстук и на самом деле пижонский, — добродушно согласился майор, — пусть остается при нем.

Стол в комнате был уже раздвинут, и на белоснежной скатерти стояли фужеры, рюмки, тарелки. Сверкали ножи и вилки.

— Это все ваше приданое, Алеша, — пояснил Костров. — Думали мы, думали: что новоселу лучше всего подарить? Да конечно же это: скатерть-самобранку, посуду, ножи и вилки. Вот и решили. А теперь начинайте-ка с нами знакомиться.

Алеша, минуя Кострова, стал поочередно представляться своим нежданным-негаданным гостям. Кого ловил в коридоре, кого на кухне, кого в комнатах. Он узнал, что капитана с редкими светлыми волосами, зеленоватыми, насмешливо прищуренными глазами и слегка оттопыренной нижней губой зовут Андреем Субботиным, а все космонавты в шутку именуют его из-за недостатка волос «блондином». Черноглазый космонавт с жесткой складкой рта и острыми скулами на худощавом лице назвался Игорем Дремовым. У него была очень широкая грудь спортсмена. Широколицый и очень спокойный в движениях майор с глубоко посаженными темными глазами крепко потряс ему руку, улыбаясь полными губами, предупредил:

— А я, кроме всего прочего, еще и партийный секретарь. Сергеем Ножиковым зови.

Потом Горелов подошел к орудовавшему у плиты, не очень широкому в плечах, но удивительно гибкому в движениях, капитану, чуть узкоглазому, с тщательно подбритыми франтоватыми усиками. Закатав рукава, он ловко разделывал невесть как попавших сюда свежих карпов. Лукаво подмигнув Алексею, шепнул:

— Видишь, кого в жертву приношу?

— Как кого? Карпов.

— В том-то и дело. Самим собою ради новоселья жертвую, дорогой. Карпов я. Виталий Карпов. Понял?

Полный, краснощекий, несколько грузный в сравнении со всеми своими коллегами, Олег Локтев, был подстрижен под бокс и наделен огромными кулаками. Глаза у него были голубые, ясные, мечтательные, и голос тихий, застенчивый, так не идущий к его внушительной фигуре.

Так вот они какие, его новые друзья, коллеги, космонавты! Алексей рассматривал их с жадным любопытст-

вом, искал с ними сходства, находил его и не находил. Это были те, кого готовили для будущего. Пока же их знал только узкий круг людей, с ними общавшихся, их обучающих. Горелову бросилось в глаза, что они не одинаковы по возрасту. Голубоглазый Локтев был, пожалуй, старше его на год-два, не больше, тогда как спокойному уравновешенному Владимиру Кострову перевалило явно за тридцать пять, а секретарь партбюро Сергей Ножиков был, видимо, и еще на два-три года старше.

От сковороды, на которой уже жарились карпы, поднимался дразнящий парок. Виталий принюхивался к нему, театрально шевеля усами.

— Отличная будет рыба! Вся в меня пошла.

— Если только ты не будешь жарить ее до рассвета, — насмешливо вставил Костров.

— Как можно, — заволновался Карпов, — я же, Володя, тоже в космонавтах состою. Или ты забыл? Как только объявишь десятиминутную готовность, мои тезки будут в полном ажуре.

— Посмотрим, — недоверчиво покачал головой Костров.

Ножиков, Игорь Дремов и Андрей Субботин уже вносили в комнату тарелки со всякой снедью. Сам Володя двумя треугольниками выстроил на концах стола бутылки. Их было много, но, когда Горелов присмотрелся к разноцветным этикеткам, на одной прочел: «Столичная», а на другой — «Советское шампанское». Все остальные бутылки были с соками, крюшоном, минеральной водой.

Костров вопросительно посмотрел на друзей и, прикусив в углах рта усмешку, спросил:

— Начнем церемониал?

— Начнем, начнем, — дружно подхватили гости.

— Видишь ли, Алеша, — вкрадчиво сказал Костров, — прежде чем приступить к торжественной трапезе, ты должен выполнить небольшую формальность.

— Какую же? — добродушно спросил Алексей, проникаясь все большей и большей симпатией к новым знакомым.

— Представиться генералу Нептуну.

— Кому, кому? — переспросил Алеша. — А разве здесь есть еще один генерал, кроме Мочалова?

Лысоватый Субботин и майор Ножиков отвернулись,

чуть не прыснув со смеху. Костров свирепо повел в их сторону глазами.

— Есть такой, — подтвердил он.

— Странная фамилия какая-то, — пожал плечами Горелов, — мифологией отдает.

— Ассистенты! — скомандовал майор.

И тогда Олег Локтев, Карпов и Субботин, взяв за руки растерявшегося Алексея, притащили его в ванную и поставили под душ. Холодная струя полоснула по лицу, проникла за шею, сделала мокрой и липкой рубашку. Алеша попытался вырваться, но не тут-то было. У лысоватого Субботина и рослого Локтева мускулы оказались стальными. Пока лилась вода, Костров торжественно провозгласил:

— Посвящается раб божий Алексей, сын Павлов, по фамилии Горелов в верные и вечные служители бога морей и космоса царя Нептуна.

Каскад ледяных струй хлестал Горелова. Не прошло и минуты, как он был уже мокрым до нитки и жалобно взмолился:

— Ребята, смилуйтесь, пощадите.

— Выключить душ, посвящение закончено, — скомандовал Костров, и Алешу отпустили.

В коридоре раздались шаги. Костров отпрянул от порога и, картинно щелкнув каблуками, выкрикнул:

— Товарищ генерал, только что закончено посвящение раба божьего Алексея в царство славного бога Нептуна.

— Подождите, шутники, дайте раздеться, — услыхал Горелов знакомый голос.

И он тоже, как был мокрый с головы до пят, выбежал навстречу. Несколько удивленный той вольностью, с какой Костров обратился к командиру части, он решил все же не отступать от уставных норм и громко доложил:

— Товарищ генерал, старший лейтенант Горелов благополучно прибыл в часть.

— Благополучно ли? — под общий смех переспросил генерал. — Идите-ка лучше переоденьтесь, Горелов. А на ребят не сердитесь. Не вы первый под такой душ попадаете.

— Иначе нельзя, — заметил Костров, — когда создается войско, создаются и традиции. А наш отряд особый.

Мочалов покачал головой и добродушно погрозил:

— Смотрите, Володя, не попадайте мне со своими традициями под горячую руку. Влетит!

Потом все дружно устремились к столу. Задвигались стулья, комната наполнилась стуком ножей и вилок. Не успели наполнить рюмки, как в коридоре прозвучали новые звонки.

Горелов удивился, услыхав в прихожей женский смех. «Вот тебе на, объявили мальчишник, и вдруг...» Космонавты оживленно задвигались, даже генерал улыбнулся:

— Это наши девчата. Им по уставу положено опаздывать.

Две девушки вошли в комнату. Было им не более чем по двадцать два — двадцать три года. Одна в вязаной розовой кофточке, другая — в голубом шерстяном платье, отороченном изящной белой полоской, обрамляющей воротник и небольшой вырез на груди. Девушка в розовом была ниже своей подруги ростом и полнее в талии. Смуглое широкоскулое лицо с большими, как бы в удивлении разбегающимися в разные стороны глазами нельзя было назвать красивым. Была в ее взгляде покоряющая застенчивость часто смущающегося человека. В руках она держала букетик живых цветов. Каштановые волосы, коротко подстриженные и просто, без выдумки, зачесанные назад, еще больше подчеркивали неброскость ее лица. Зато подруга в голубом платье никак на нее не походила. Стройная, с хрупкими нежными кистями рук и волной светлых, высоко взбитых волос, она смело оглядела стол сероватыми подвижными глазами. Ее чуть продолговатое личико с острым носом дрогнуло в усмешке. Девушка шутливо погрозила сидевшим за столом тонким указательным пальцем: без нас, мол, хотели начать?

— А вот и наши сестренки появились! — обрадовался Костров. — Мариночка, Женя, знакомьтесь с новичком.

— А мы его уже видели! — почти в один голос сказали девушки.

— Это когда же, проказницы? — засмеялся Мочалов.

— О! — звонко воскликнула стройная Женя. — Он так важно шествовал к новому своему местожительству в сопровождении капитана Кольского, что не обратил на нас ровным счетом никакого внимания.

Марина через весь стол протянула Горелову букет.

— Получайте от женского подразделения, Алексей Павлович, и цветы, и наше сердечное тепло, и обязатель-

ство постоянно над вами шефствовать до той поры, пока у вас не появится избранница.

— Спасибо вам, девушки, — сказал Горелов, принимая букет, — а теперь познакомимся. Меня уже вам представили, а вас...

— Лейтенант Бережкова. Для вас просто Марина, — сказала девушка, передавшая цветы.

Вторая с ободряющей улыбкой протянула Алеше тонкую длинную руку:

— Женя Светлова. Тоже лейтенант.

Девушкам освободили места, и веселый ужин продолжался. Горелов с интересом наблюдал за космонавтками. Это были те самые девушки, о которых спрашивали: «А кто полетит следом за Терешковой?»

«Ну что в них «звездного»? — весело подумал Алеша. — Ничего. Самые обычные девчата. Если бы я с ними встретился в городском саду Верхневолжска, ни за что не подумал бы, что это космонавтки». Он с любопытством наблюдал за ними.

Марина склонилась к генералу Мочалову и с серьезным видом о чем-то его расспрашивала, а Женя отчаянно хохотала. Ей сразу двое — Локтев и Карпов — рассказывали что-то интересное.

Костров вилкой постучал о бокал.

— Дорогой Алеша, — громко произнес он, — даже в присутствии наших милых сестренок сегодня мы все тосты будем адресовать тебе.

— Почему же? — воскликнул Горелов, краснея от неловкости.

Костров назидательно поднял руку.

— Не нами это заведено, не нам и отменять. Новоселье есть новоселье. Так вот я предлагаю выпить этот шестидесятиграммовый по объему бокал за новую страницу, которая открылась в биографии старшего лейтенанта Алеши Горелова. Он уже не летчик-истребитель, он пришел в маленький наш отряд. Но еще и не космонавт. Чтобы стать космонавтом, надо много еще ему потрудиться. Мы, конечно, верим, что это ему по плечу. Но вот о чем хочется с первого раза предупредить тебя, Алеша. Видишь, друг, нас здесь восемь человек. Шесть парней и две девушки. Нас готовят к выполнению особо важных полетов. О них не за столом говорить. Возможно, потребуется лишь два, три или четыре человека, а не восемь.

Привыкни к мысли, что можешь и не полететь. Сразу, чтобы не было обидно потом. Понял?

Женя Светлова обеспокоенно задвигалась на своем стуле.

— Подождите, Володя, вы не так говорите. Не с этого надо начинать. Можно, я к сказанному прибавлю?

— Пожалуйста, Женя, — мягко согласился Костров.

Светлова встала и, прижимая к груди ладони, горячо и взволнованно начала:

— Мы, здесь присутствующие, — космонавты. А кто такие космонавты? Я считаю, что космонавты — это разведчики будущего.

— Почему же только космонавты? — заметил Субботин, накладывая в тарелку салат. — А геолог, ищущий нефть? А строитель новой железнодорожной трассы? А кибернетик, творящий в тиши кабинета? Они чем хуже? К чему такая исключительность, Женя?

Светлова вызывающе встряхнула головой.

— Да, конечно, и геолог, и строитель, и кибернетик — все это тоже разведчики будущего. Но мы, космонавты, в особенности. Мы первыми видим то, чего никто еще не видел. Вы только подумайте, что нас ждет в недалеком будущем. Монтажные работы в космосе, строительство орбитальных лабораторий. Звездные старты к другим планетам. Но чтобы стать настоящим космонавтом, не только знания нужны. Нужно и душу иметь чистую, светлую. Если ты хочешь стать космонавтом только для того, чтобы после финиша пройтись по ковровой дорожке на Внуковском аэродроме да по заграницам постранствовать, — нечего тебе делать в нашем отряде. И в космос незачем тебя пускать. Вот я и хочу поднять бокал за то, чтобы Алеша Горелов стал настоящим тружеником космонавтики.

— Превосходно, Женя! — похвалил генерал.

— Я тоже хочу два слова прибавить, — встрепенулась Марина Бережкова и покраснела. — Я, конечно, не могу так красиво, как Женя. Она — поэзия, а я — проза. Но знаете, друзья, о чем часто думается? Космонавтов всегда будут с почетом встречать. Но с каждым годом число их растет, и не за горами то время, когда они уже не смогут помещаться на трибуне Мавзолея, и тогда по Красной площади будет на торжествах проходить взвод, потом рота. Так я буду безмерно счастлива, если стану когда-

нибудь рядовым такой роты. И Алексей, надеюсь... Вот за это и давайте...

— Давайте, да поскорее, — вставил Локтев, — рука у меня устала, ведь целые шестьдесят граммов держу.

— Пожалейте малютку, — под общий смех сказал Субботин.

И все дружно выпили.

Живя в соболевском гарнизоне, Алеша не однажды бывал на холостяцких вечеринках. Там летчики-реактивщики тоже вели счет выпитым граммам, но рюмки со спиртным поднимались гораздо чаще, да и подвыпившие за столом нет-нет да объявлялись. Здесь все было по-другому: космонавты больше поднимали рюмки и чокались, ставя их на стол, нежели пили. Да и рюмок со спиртным на каждого пришлось только две. Зато в комнате было на редкость шумно и весело. Разговор то сливался воедино, то дробился на мелкие ручейки, и гости на разных концах стола спорили и говорили о своем. Встряхивая белокурой головкой, Женя Светлова обсуждала с Локтевым недавно просмотренный фильм. Алеша не расслышал, какой именно. Она его разносила, Локтев добродушно защищал.

Генерал Мочалов, заметивший, что Алеша напряженно за ними наблюдает, тихо сказал:

— Вы не шутите, Горелов, Женя у нас, знаете... Она не только звонкие тосты произносит. Второй год сидит девчонка над специальной темой. Торможением космического корабля и системой спуска с орбиты занимается. Так-то.

Игорь Дремов чертил вилкой на скатерти непонятные воздушные кривые и горячо доказывал спокойному, неторопливому Сергею Ножикову:

— Что ты мне говоришь! Ну как с тобой, парторг, можно согласиться? Если на пять секунд будет задержка, знаешь, куда корабль отнесет во время посадки... и кривая снижения совсем не так будет выглядеть.

— А я тебе говорю, что ручная система ориентации и в этом случае дает возможность исправлять ошибку. И значительно, мой друг, — гудел в ответ не соглашающийся с ним Ножиков. — И на орбите маневрировать будет можно гораздо больше, чем ты предполагаешь.

А на другом конце стола Андрей Субботин, даже приподнявшись, убеждал Кострова:

— На зайцев сейчас самое время, когда же еще, позвольте спросить, если не теперь? В первое воскресенье отправимся. Только бы генерал разрешил. И новичка заберем. Пойдешь, Олеша хороший? — передразнил Субботин его волжский выговор.

— Конечно пойду! — оживился Горелов. — Если разрешат.

— Что такое? — прислушался Мочалов. — На зайцев? Пожалуй, разрешу, Субботин, только для вас, разрешу охоту.

Андрей налил в стакан виноградного сока и блаженно улыбнулся:

— Только для вас... только для вас. «Для вас специально сады расцветут, только во Львове...» Знаете такую древнюю песенку?

— Такую многие из нас знают, — согласился Мочалов, — а вот другую, что во время войны в нашем штурмовом полку сложили, едва ли кто слышал.

— Спойте, товарищ генерал, — попросил Костров. — За чем же остановка?

Мочалов отрицательно покачал головой:

— Какой из меня солист. Все прекрасно знаете, что я из породы безголосых.

— Тогда прочитайте, а мы споем, — предложила Марина.

— Это можно.

Генерал чуть сдвинул над переносьем густые брови, мечтательно посмотрел в задубелое от мороза окно. Глаза его стали задумчивыми. Он видел сейчас вовсе не празднично сервированный стол, а то далекое, что никогда ему не давало почувствовать себя старым и всегда освежающим ветром врывалось в память. Он вспоминал душное от полыни и мяты поле фронтового аэродрома, всполохи огня в патрубках «илов», косяки боевых машин, исчезающих в небе.

— Это было подо Ржевом, в сорок втором. Летал я в ту пору на «илах». Как только их не звали: и «горбатыми», и «утюгами», и «черной смертью». Но машина эта действительно на совесть послужила фронту. Мы штурмовали Ржев перед наступлением наших войск и, надо сказать, несли большие потери. Зениток, «мессеров» и «эрликонов» там было — пруд пруди. И вот, чтобы развеять мрачное настроение у летунов, наши полковые ост-

ряки пародию сочинили на ту песенку о львовских садах. Прижилась пародия, во всех землянках ее напевали. А слова, ребята, такие... Песня ведется от лица фашистов:

Для вас специально зенитки стоят,
Ждем вас во Ржеве.
Их жерла на небо зловеще глядят,
Ждем вас во Ржеве.
Летите скорей, летите скорей,
Горбатые наши враги.
Вас встретит зенитных огонь батарей,
Достанется вам, «утюги».
Уже загорелся бензиновый бак,
Ждем вас во Ржеве,
Вот прыгает с «ила» какой-то чудак,
Его во Ржеве мы ждем.
Он будет у нас кирпичи развозить
Здесь же, во Ржеве,
Он будет о милой ночами грустить
В бараке во Ржеве.
Но парень упрямый, и парень уйдет
Из вашего Ржева,
И снова на крыльях вам смерть принесет,
Ждите во Ржеве.

Как видите, поэзии тут никакой, — несколько смущенно прокомментировал свою декламацию Мочалов, — но чувство, как говорится, есть. А главное — злая ирония.

Все молчали. Женя сосредоточенно рассматривала свои руки. У Марины шевелились пухлые губы, поросшие мальчишеским пушком. Космонавты не глядели друг на друга. Наконец Игорь Дремов не выдержал:

— Это же так интересно, Сергей Степанович! — черные большие глаза его засверкали, взволнованно вздрогнули крылья длинного с горбинкой носа. — Какие вы все-таки все замечательные... вы и ваши ровесники. Я часто думаю, что если бы не вы, то ничего бы сейчас не было. Ни новых городов, ни нейлона, ни первых полетов в космос и даже во всем сомневающихся мальчиков, вечно спорящих в кафе и ресторанах, не было бы!

— Да, — присоединился к нему Костров, — если бы этим мальчикам пришлось с оружием в руках стоять в сорок втором подо Ржевом, наша история не намного бы обогатилась.

— А ну их к лешему, — отмахнулся Локтев, — давайте, ребята, я шампанское открою.

— Не слишком ли ты разошелся, Олег? — покачала головой Марина. — Не у тебя ли в понедельник вестибулярные пробы?

— Ого! Да ты точнее моей жены считаешь выпитые рюмки, — засмеялся Локтев. — Пощади, Мариночка. Шестьдесят граммов крепкого и бокал шампанского — это же мелочь. А завтра еще и воскресенье. На лыжах походим, в шахматы поиграем, и никакой осциллограф не определит, что я в субботу у Алексея на новоселье был. Хозяин, можно пробкой в потолок салютовать?

— Определенно, — одобрил Алеша.

Веселье разрасталось, словно снежный ком, катящийся с горы. Вскоре стол отодвинули в сторону. Виталий Карпов включил принесенный кем-то проигрыватель. И в Алешиной квартире под звуки старинного вальса закружились пары. Локтев и Карпов, куражась, с притопами завертелись в соседней комнате. Костров, Ножиков и генерал Мочалов, отодвинув стулья к стене, чинно наблюдали за танцующими. Приятно было смотреть, как гибкий Андрей Субботин изящно водит чуть улыбающуюся Марину, а Игорь Дремов, сосредоточенный и весь какой-то нахохлившийся, сверкая белками черных глаз, кружится с Женей Светловой. Именно кружится, боясь сделать хоть одно неверное движение, только успевая за партнершей, такой легкой и искусной в танце: казалось, она почти не касается паркета.

— И по ковру скользит, плывет ее божественная ножка! — продекламировал Костров, нежно глядя на Женю.

— Что, что? — рассмеялась она. — Я не расслышала, Володя. Повторите.

Горелов увидел ровную полоску молочно-белых ее зубов и добрые, совсем не капризные губы. Мелкие веснушки, покрывающие личико Жени, делали его еще более привлекательным.

«Если такая побывает в космосе, — внезапно подумал он, — ее портреты будут хватать парни всего мира. Всех кинозвезд забьет девчонка».

Странная была эта Женя! Вроде и глаза совсем обычные, светло-серые, и зубы мелковатые, вовсе не такие, как у идеальных красавиц, и светлые волосы хоть и взбиты по моде, не так уж хороши цветом — льняные, и подбородок слишком узкий и острый... А вот вся она, со своей манерой сочетать быстрые и плавные движения, говорить

то громко, то тихо, задумчиво, слушать всех и сразу всем отвечать с какой-то доброй смешинкой в глазах, была очень привлекательна, не схожа со многими.

Вальс окончился, и пары разошлись. Отвесив Жене низкий поклон, Дремов сделал утомленное лицо, достал платок.

— Ну, Женя, я от второго танца с вами отказываюсь.

— Вы меня, Игорь, этим не напугали, — засмеялась она. — Меня, возможно, Алексей Павлович пригласит на следующий.

— С удовольствием, Женя, — с готовностью отозвался Горелов.

Пластинку сменили, и снова закружились пары. Но это был уже другой танец, более медленный и плавный. Генерал Мочалов пригласил Марину и танцевал с ней очень скованно, далеко от нее отстраняясь, словно опасаясь прикоснуться к туго облегающей ее грудь розовой кофте. Девушку смешила эта подчеркнутая корректность. Алексей танцевал с Женей неуверенно. Неожиданно он заметил, что она стала тихой и вялой, будто весь свой задор выплеснула в предыдущем танце. «Или ей со мной очень скучно, или устала...» — решил Горелов. После танца он ей поклонился, Женя сухо сказала «спасибо» и отошла.

Шел уже двенадцатый час. Генерал пошептался с Костровым, и тот, словно заправский массовик, трижды хлопнул в ладоши.

— Ребята, приготовьтесь к последнему тосту. Рано или поздно хозяину надо дать и покой.

— Я не устал, — запротестовал раскрасневшийся и оживленный Алеша.

— А мы тебя, Алеша, и не спрашиваем, — мягко потрепал его по плечу Ножиков. — Ты хоть и лейтенант старший, но среди нас не самый главный. Делу время, потехе час. Нам действительно всем пора.

— Ребята! — закричал в эту минуту Костров. — У всех налито? Сергей Степанович хочет сказать последнее слово.

— Вот какое дело, друзья, — заговорил генерал, пытливо всматриваясь в лица космонавтов. — Собрались мы здесь сегодня всем отрядом. Шесть... нет, уже не шесть, а семь космонавтов и две девушки-космонавтки. Девять человек. Каждый мечтает о космосе и о звездах. Каждый

упорно трудится. Годами трудится, — поправился он. — Я не убежден на сто процентов, что каждому удастся осуществить свои мечты о космическом полете, потому что, как говорится, звезды еще не близко. Но, как старший ваш товарищ и командир, я твердо знаю, что именно кто-то из вас, уже минуя орбиту, как пройденный этап, первым устремится к звездам. Может быть, этим космонавтом будет Володя Костров, может, Виталий Карпов или Сергей Ножиков, наша милая Женя или рассудительная Марина. Но кто бы ни стал этим человеком, его полет будет победой всего коллектива. Как бы высоко вы ни стартовали с космодрома, сколько бы ни пробыли в состоянии невесомости, какие бы перегрузки ни перенесли, вернетесь на тот маленький, если смотреть из космоса, голубой шар, что именуется Землей и является нашим домом. Так вот и предлагаю я этот последний тост не за старшего лейтенанта Горелова и его квартиру под номером тринадцать, а за нашу дорогую Землю, за то, чтобы жить на ней и трудиться дружно.

«...Да, чудесный был вечер», — думал Алеша, глядя на неубранный стол.

* * *

С тех пор как древние изобрели колесо, движение стало основой жизни человечества. Не только от века к веку или от десятилетия к десятилетию, но и от года к году меняются его формы и скорости. В наши дни даже самые престарелые люди и те летают в самолетах со скоростью звука. Ну а если говорить о космонавтах, так кто с ними может сравниться: их скорость — восемь километров в секунду!

Однако не только на орбитах, но и на земле жизнь летчиков-космонавтов и тех, кто имеет к ним прямое отношение, всегда наполнена движением.

Каждое утро два голубых автобуса подкатывали к проходной городка, высаживая десятки людей, торопившихся на службу. Городок строился, и еще не всем хватало квартир. Многие инженеры, врачи, лаборанты жили в ближайшем отсюда подмосковном местечке и пользовались услугами этих голубых автобусов. Предъявив в проходной развернутые пропуска, они расходились по корпусам, и рабочий день начинался.

В реактивной авиации — сопоставлял Горелов — на одного летчика, поднимающего в небо сверхзвуковой самолет, работали десятки людей. Здесь же число самых тонких, высокоэрудированных специалистов, занятых подготовкой одного-единственного полета в году, было гораздо больше. Это не считая ученых, инженеров и техников, которые трудились на космодроме, счетно-вычислительных центрах, узлах связи, электронных устройствах.

Само расписание занятий подчеркивало своей пестротой постоянное движение, в котором пребывали обитатели городка. Даже небольшая группа космонавтов и та далеко не всегда уходила на занятия вместе. Бывало, что девушки и Алеша с утра шли на консультацию по математике, другие космонавты — в физкультурный зал, а третьи — на вестибулярные тренировки. И только после обеда все они встречались в учебном классе на лекции по аэродинамике, метеорологии или астрономии.

Привык Алексей и к другому. Раньше, в училище и тем более в Соболевке, он почти не ощущал медицинского контроля. Изредка полковой врач задавал перед полетом односложные вопросы: как питался и отдыхал, не употреблял ли спиртных напитков. Да еще через положенное время проходил он медицинскую летную комиссию.

Вот, пожалуй, и все.

Здесь же врач вырастал в фигуру первого плана. Както Алеша увидел в стенной газете дружеский шарж «Три богатыря». В образе русских богатырей были изображены ученый, конструктор и врач. Он засмеялся и спросил Виталия Карпова:

— Ну, конструктор и ученый — я понимаю. А врач?

— Подожди, и это поймешь, — последовал ответ.

И скоро он понял. Он думал, что тренировками в термокамере, на центрифуге и в сурдокамере управляют самые что ни на есть искусные летчики, принесшие в мир космонавтики свой огромный авиационный опыт, и вдруг узнал, что всем этим ведают врачи. В своем кабинете генерал Мочалов как-то познакомил его с худощавым немолодым подполковником, на лацкане у которого Алеша разглядел значок мастера спорта.

— Это наш новенький, — представил его Мочалов. — Как вы на него смотрите?

— Смотрю, как на будущего пациента, — засмеялся

врач, оказавшийся самым главным по испытаниям в термокамере.

Через час Алеша узнал, что и камерой молчания, или сурдокамерой, как ее именовали официально, руководит врач Василий Николаевич Рябцев. А на центрифуге командует тридцатисемилетняя кандидат наук Зара Мамедовна.

...Жизнь в городке шла своим чередом. Зимние дни с нудными рассветами и досрочными закатами сгорали, как магний на фотосъемках. Горелов уже пообвык, уверенно ходил по коридорам штаба и учебного корпуса, знал, где какие находятся лаборатории, — правда, двери многих из них оставались для него пока закрытыми. С завистью читал он красной или черной тушью написанные таблички: «Тихо! Идет опыт», «Не входить! Тренажер включен», «Идут занятия!». Особенно привлекали Алексея четыре комнаты на втором этаже учебного корпуса. Двери их были постоянно закрыты, да еще и задрапированы изнутри. Но однажды, когда кто-то выходил из комнаты, Горелову удалось подсмотреть белый шарообразный остов, и у него учащенно забилось сердце. Это была кабина — не макет, а настоящая кабина космического корабля, та, что уже поднималась к звездам и благополучно вернулась на землю. Теперь ее превратили в тренажер космонавтов, и далеко не все из тех, кто населял городок, допускались в эти заветные комнаты. Алеша в тот же день спросил у Кострова:

— Володя, скажи мне по-честному. Космический корабль — это действительно потрясающее зрелище?

— Ты имеешь в виду момент, когда он стартует с космодрома?

— Нет. Когда он на земле или в наших учебных классах.

— Ах, ты про тренажер? Про кабину космонавта?

— Ну да.

Костров пожал плечами и ничего не ответил.

— Почему ты молчишь?

— Видишь ли, — задумчиво начал Костров, — мне, например, эта кабина примелькалась. На заводе я видел уже кое-что и получше из нашей завтрашней космической техники. И если я стану распространяться о своих впечатлениях, то могу тебя разочаровать: надо мной, как говорят, довлеет сравнительный метод...

— Ну а все-таки, — настаивал Горелов, — ты на свое прошлое оглянись, Володя. Вспомни, как впервые входил в эту кабину.

Костров сдвинул прямые брови, наморщил лоб.

— Одно скажу, Алеша, пусть даже это будет больше из области лирики. День, когда я впервые сел в настоящее кресло космонавта, мне показался самым чудесным днем моей жизни. — Он помолчал немного и прибавил: — Только ты не торопись; не за горами этот день и у тебя.

Горелов огорченно вздохнул. Полковник Иванников не бросал слова на ветер. Он действительно засадил новичка за напряженную учебу, допустил его только к физподготовке да вестибулярным тренировкам. Все остальное время Горелов проводил за учебниками. Недавно прошли вступительные экзамены в академию. Он сдал их довольно успешно и теперь вместе с другими космонавтами два раза в неделю ездил в Москву.

Группа у них была очень неоднородна. Володя Костров окончил академию еще до зачисления в отряд и теперь сдавал кандидатский минимум. Самый пожилой, Сергей Иванович Ножиков, одолевал последний курс, остальные учились на третьем, и только Алексей вместе с Мариной и Женей были зачислены на первый. Когда они расселись в голубом автобусе, чтобы ехать в Москву на первое занятие, бойкая Женя под общий одобрительный смех так окрестила всех троих первокурсников: «Наша женская группа во главе со старшим лейтенантом Гореловым». Название закрепилось. Когда они собирались для следующих поездок, не было случая, чтобы кто-нибудь не пошутил:

— Как там группа товарища Горелова?

— Это какая же? — невинно отвечали ему. — Женская, что ли? В сборе.

Летели километры под колеса автобуса, мелькали в заиндевелых окошках подмосковные деревни с низкими, придавленными снеговыми шапками избами, белыми громадами возникали кварталы новых блочных зданий, все настойчивее и настойчивее теснившие старые дряхлые домишки. А потом как-то незаметно возникала Москва, почему-то казавшаяся слишком официальной в холодной зимней дымке, со своими шумными улицами и площадями.

В академии на лекциях и консультациях космонавты держались замкнуто. Авиаторы народ дотошный и на пер-

вых порах Алексею трудно было отвечать, кто он и что, почему не живет в Москве, а наезжает неведомо откуда на занятия. Однажды, когда его особенно стали донимать разными расспросами, выручил Андрей Субботин.

— Ну чего вы пристали к человеку? Кто да откуда! Разве не знаете — он сын министра. На лекции приезжает на собственной «Волге», — добавил он колко, — да и вообще как будто не рвется сойтись с вами...

Слушатели отчужденно отхлынули от Горелова, а Субботин тут же толкнул его в бок:

— Здорово я их отшил, а?

Учеба давалась Алексею не то чтобы легко, но и большого напряжения не требовала. Бывали, правда, и осечки. Так случилось, когда он не смог решить задачу, связанную с аэродинамическим расчетом крыла. Взъерошив свои курчавые волосы, он с ожесточением бросал на пол листок за листком. За окнами давно уже посинело, вспыхнули первые звезды. А задача — ни с места. Отчаявшись добиться результата, Алексей решил обратиться за помощью. Но к кому? Этажом выше жил Андрей Субботин. Его жена уехала с девятилетним сыном на каникулы в Торжок к матери, и Андрей холостяковал. К нему, кажется, удобнее всего было зайти, и Горелов стал собирать со стола листки. Субботин встретил его с таким видом, будто давно ждал. Полез тут же в холодильник, потряс перед глазами бутылкой портвейна, горестно заметил:

— Три месяца хранится непочатая. Если бы у меня завтра не термокамера...

— Да я не за этим, — отмахнулся Горелов, — у меня расчет крыла не получается.

Субботин поставил бутылку в сторону, сбегал на кухню и включил чайник. Короткие рукава шелковой синей тенниски обнажали его сильные руки, еще сохранившие летний загар.

— Это мы сейчас... проще пареной репы, — сказал он, берясь за логарифмическую линейку.

Прошло несколько мунут. Андрей пыхтел, морщил лоб, вздыхал. Лист бумаги был весь исписан цифрами, формулами. Линейка в его руках то раздвигалась, то, щелкнув, сдвигалась. Наконец он сознался:

— Слушай, могу тебя обрадовать: у меня тоже не выходит.

— Так бы сразу и говорил, — помрачнел Горелов.

Однако Субботин был вовсе не тем человеком, кого могла смутить неудача.

— Позволь-ка! — возмутился он. — А ты чего, собственно говоря, хмуришься? Я на него, чудака, драгоценное время трачу, а он еще и недоволен. Пойди тогда с этой своей тетрадкой к Жуковскому.

— К какому еще Жуковскому?

— А к тому, что у нашей проходной напротив Константина Эдуардовича Циолковского стоит. Так, мол, и так, скажи, дескать, я, старший лейтенант Алексей Горелов, будущий покоритель Вселенной, запутался в трех соснах и потерпел полное фиаско в расчете крыла. Не можете ли вы, Николай Егорович, сойти с пьедестала и оказать мне аварийную помощь? Он старик отзывчивый, поймет сразу.

— Не надо мне к Жуковскому, — забирая тетрадь, насупился Алексей. — Найдется кто-нибудь и поближе. Пока!

— Постой, — бросился за ним Субботин, — а чаек?

— Выпей его с Жуковским, — посоветовал Горелов, закрывая за собой дверь.

Медленно спустился он на второй этаж и, стоя на лестничной площадке, несколько минут раздумывал, поглядывая на дверь соседней с ним двенадцатой квартиры: позвонить в такой поздний час или нет? Все-таки решился.

Дверь быстро открыли, и на пороге в клеенчатом кухонном фартуке появилась Вера Ивановна, жена Кострова.

— Вы к нам? — спросила она удивленно: Горелов за все время жизни в городке еще ни разу не был у своих соседей.

— Извините, что так поздно, — сбивчиво объяснил он. — Мне к вашему мужу надо.

— Проходите, проходите, — распахнула дверь Вера Ивановна. — Володя в той комнате.

Горелов прошел, куда ему указали, и увидел на диване Кострова. Поверх одеяла, которым тот был укутан, лежала еще теплая летная куртка.

— Кажется, я заболел, Горелов. Знобит, — виновато признался Костров. — Вера, дай водички.

Уже успевшая снять кухонный фартук, Вера Ивановна принесла стакан крепко заваренного чая. Вероятно,

она только-только отстиралась: руки были красные, и на них просыхали водяные брызги.

— А врача вызывали? — спросил Алеша, чтобы хоть как-нибудь откликнуться на сказанное.

— Что вы, разве он позволит! — всплеснула руками Вера Ивановна.

— Зачем врач? — улыбнулся Костров. — Я и сам силен в диагностике. Ходили на лыжах. Дистанция десять километров. Распалился и выпил воды из-под крана — вот и вся история болезни. Чуточку потрясет, к утру буду здоров.

— Вероятно, я зря к вам зашел, — сказал Горелов, — вам надо отдыхать, а я тут...

— Да ты рассказывай, что случилось?

— Расчет крыла не получается. Зашел к Субботину, он взялся помочь, да тоже не осилил.

— Вот так блондин, — покачал головой Костров, — совсем в математике обанкротился. Верочка, принеси авторучку, логарифмическую линейку и подложить что-нибудь.

Костров сел, положил на колени Алешину тетрадку и углубился в расчеты.

— Чудак ты! Это же все равно, что семечки щелкать! — добродушно приговаривал он, безжалостно черкая гореловский вариант. — Здесь квадратный корень ни к чему, здесь К надо возвести в степень, здесь уберем знак равенства.

Задача и на самом деле была сложной. Лоб у Кострова покрылся складками. Он целиком ушел в мир алгебраических знаков, бесшумно раздвигал и сдвигал линейку, выписывал на черновик колонки цифр. И все-таки за какие-то пятнадцать — двадцать минут проверил и поправил всю многочасовую Алешину работу и, ничуть не рисуясь, сказал:

— Неси теперь хоть в Академию наук!

— Как же это вы сумели так быстро? — спросил Алексей, с восхищением пробегая исписанный листок и удивляясь в душе тому, что такой же, как и он сам, летчик-истребитель в недалеком прошлом и космонавт в настоящем, Костров так блестяще владеет сложными математическими выкладками. То, что он сделал с вырванным из тетради листком бумаги, полным ошибочных цифр, показалось Горелову волшебством. Алеша пристально наблю-

дал за Костровым, когда тот безжалостно перечеркивал его цифры, надписывал над ними новые, чуть улыбаясь при этом доброй, прощающей улыбкой. Это был совсем не тот майор-заводила, что ворвался в его квартиру в тот день, когда он появился в городке, командовал космонавтами, когда те ставили Горелова под холодный душ, а потом выкрикивал тосты. Сейчас перед ним сидел чуть усталый, очень сосредоточенный человек, в темных глазах его, обращенных на Алексея, было внимание и доброта.

— Ну и ну! — проговорил Алексей. — Быстро вы...

— Погоди, научишься... — засмеялся Костров. — Для меня это пройденный этап. Я сейчас бесконечно малыми и теорией вероятности занимаюсь. Верочка, сооруди нам по чашечке кофе.

На маленький письменный стол, заваленный чертежами и тетрадями, Вера Ивановна поставила кофейник и две чашки.

— Пейте, Алексей Павлович. Может, вы с вареньем любите? Могу предложить кизиловое и клубничное. Вы же такой редкий гость, хоть и сосед. Хотелось бы почаще открывать вам дверь.

— Смотрите, — повеселел Костров, — я уже начинаю ощущать, что́ такое соседство молодого холостяка со стариком. Тут поневоле долго не разболеешься.

— А почему со стариком? — улыбнулся Горелов.

— Ну а кто же я по сравнению с тобой? — сказал Костров. Его лицо с блестящими от жара глазами вдруг посерьезнело. — Тебе-то еще и двадцати пяти нет, а мне тридцать седьмой пошел. Я начинал знаешь когда? Вместе с Гагариным к полету готовился.

— Значит, вы его близко знаете?

— Еще бы. Был группарторгом, когда намечался первый полет. А жили тогда знаешь как? Разве о таком городке могли мечтать? Первая группа космонавтов только зарождалась. Единственной комнате были рады. Один из наших друзей «Москвича» купил, так мы шапку по кругу пускали, чтобы на бензин собрать. Летчики из соседних частей посмеивались: вот, мол, экспериментаторы завелись!.. Потом — первый полет. Тогда «готовность номер один» сразу нескольким дали. И мне в том числе. Помню, привезли нас на Ил-18 на космодром — жарища, пыль. Степь необъятная во все стороны расстилается. И ходим мы по ней каждый со своею думою. А чего там скры-

вать — дума у всех одна: «Вот бы мне приказали быть первым». Человек, Алеша, есть человек: от обиды и боли — бежит, к подвигу и славе, как к огненному цветку папоротника, что расцветает по поверью в ночь под Ивана Купала, — готов потянуться. Понял я по себе, какое настроение ребятами владеет, и зло меня тут взяло. Неужели я настолько слаб духом, что победить самого себя не сумею? — Костров тряхнул головой, прядка черных волос упала на лоб. Вера стояла в дверях. Горелов подумал, что она уже не однажды слышала этот рассказ и все же не может отойти, раз уж муж снова заговорил о незабываемом.

— Ребят бы, мать, шла укладывать, — ласково посоветовал Костров, но она не двинулась. — Самое главное, Алеша, и самое трудное для человека — это победить самого себя.

— Я уже слышал эти слова, — сказал Горелов, вдруг вспомнив Соболевку, свой первый день жизни на аэродроме.

— От кого же? — заинтересовался Костров.

— От своего товарища и соседа по комнате. Он тоже говорил об этом. А вот победить себя не смог. Ушел на ночные полеты больным и разбился.

Костров задумался.

— Бывает, конечно, и так, — протянул он. — Все бывает... А вот наши ребята себя победили. И я победил. Собрал их всех и говорю: товарищи, считаю открытым наше небольшое собрание. Повестка дня: «Клянусь с честью выполнить задание партии и Родины». И продолжаю свое выступление в таком примерно духе: «Сейчас каждый из нас мечтает о полете. Но корабль космический один, кресло в нем пилотское одно, и полет рассчитан тоже на один виток. Все ясно как божий день. Следовательно, полетит кто-то из нас один, остальные останутся на земле. Полетит тот, кому прикажет ЦК... Так вот что, товарищи. Не буду цитировать отрывки из бессмертной поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» о рыцарской дружбе и верности. Мы — советские летчики, первые космонавты. И потому должны с самым горячим сердцем проводить в космос того, кому будет поручено выполнить это задание». Когда окончил свою речь, гляжу, у ребят глаза разгорелись. Стали выступать один другого горячее. Помню очень ясно, Юра Гагарин говорил: «Вся моя жизнь до

последней капли крови принадлежит партии и Родине. И если этот полет будет доверен любому моему товарищу, я буду гордиться им так, словно я сам нахожусь на его месте». Взволнованно говорил, хорошо. А вскоре стало известно решение Государственной комиссии. Ему, Юре, приказано было быть первым космонавтом Вселенной...

— А как же другие реагировали?

Костров усмехнулся:

— Реагировали! Слово-то какое. Сказал бы просто: пережили. Пожалуй, пережили — тут больше всего подходит. Конечно, каждый ждал, что назовут его фамилию. Но затаенной зависти я ни в ком не уследил. Не было ее. Помню, один из наших товарищей все же внушал нам некоторую тревогу. Он как-то особенно загрустил, когда было объявлено решение. А настал день пуска, ушла ракета на орбиту, Юра доложил о том, что хорошо все перегрузки перенес, так этот наш хлопец, как ребенок, прыгал: «Гагарин, Юра, давай жми!» — кричал что есть мочи от радости.

— Кажется, вчера все это было... — вздохнула Вера Ивановна.

— От этого «вчера» нас с тобою, Верочка, отделяют годы, — поправил Костров. Он вновь лег, удобно вытянув под одеялом ноги.

— Тебе что-нибудь принести? — спросила она.

Костров покачал головой. Горелов посидел еще немного, потом встал и, поблагодарив за помощь, ушел.

— Смотри же, — сказал Костров, — заглядывай почаще. Впрочем, я и сам к тебе дорогу найду.

* * *

У Леонида Дмитриевича Рогова, или просто Леии, как все его называли в редакции большой московской газеты, была за плечами не слишком большая, но насыщенная событиями жизнь. Куда только не забрасывала его журналистская судьба! На исходе января он приехал в городок космонавтов с черным от загара лицом, и это никого не удивило. Из газетных репортажей все знали, что Рогов более двух недель провел на Южном полюсе с научной экспедицией. Передав оттуда по радио все свои корреспонденции и репортажи, выехал на целый месяц в Индию и лишь после Нового года возвратился в Москву.

Рогов не только интересно и живо писал, но был настоящим мастером фоторепортажа. Его снимки, сделанные то на Крайнем Севере, то на юге или в средней полосе России, украшали многие столичные выставки. В городке космонавтов его хорошо знали: Рогов присутствовал на запуске «Востока-2», писал в свое время о Гагарине и Титове. Позднее многие газеты перепечатали его интервью с одним из космонавтов под игривым заголовком: «Нужен ли в космосе букетик ромашек?» Космонавта, к которому Леня обратился за сутки до старта, взволновал этот вопрос. Леня старательно оснастил его простой утвердительный ответ двумя десятками красивых звучных фраз, и с его легкой руки это интервью пошло гулять по страницам газет, журналов и даже книг.

Успел Рогов побывать на целине и выпустил сборник очерков о молодых ее покорителях. Назывался он «Сказы нового Алтая». Однажды в физзале Леня спросил у космонавтов, прочли они эти очерки или нет. Ответы прозвучали сдержанно. Костров сказал: «Ничего», Локтев признался, что еще не прочел. Ножиков, похлопав Леню по плечу, заметил: «Пиши, пиши, тема, брат, сам понимаешь, какая первостатейная», а Субботин, пока шел этот разговор, подтягивался на кольцах, переходил с них на турник. Повисая головой вниз в трудном упражнении, успевал чутко прислушиваться. Потом быстро соскочил, обтер руки, как это делают спортсмены, кончая заниматься на снарядах, и громко продекламировал:

Я прочел, мой друг, икая,
«Сказы нового Алтая»,
Встретился бы их редактор,
Он бы у меня поплакал.

Дружный хохот взорвался под сводами физкультурного зала.

— Андрейка, ай да экспромт! — вскричал Виталий Карпов.

— Бросьте зубоскалить. Человек к нам в гости приехал, а вы! — сказал Костров, обнимая Рогова.

Насмешки смолкли, но сам Леня ничуть не обиделся на Субботина. Чуточку заикаясь от волнения, он проговорил:

— А знаете, я с вами согласен. Она мне тоже не нравится, эта книга. Очерки, каких много. Разве такое надо сейчас писать?

— Вы напишете, Леонид Дмитриевич, — ободряюще сказал Костров, — вот увидите, напишете. Помните, ребята, какой у него был чудесный очерк: «Восемьдесят пережитых минут»? Читаешь, и слезы навертываются.

Рогов благодарно посмотрел на Кострова:

— Значит, вы мне верите?

— Верю.

— Вот за это спасибо. А шутки и каламбуры — это неплохо. Без них невозможно в любом деле.

Космонавтов влекло к Рогову, но вовсе не потому, что он был свежий человек в городке. Видели они в нем интересного рассказчика. Когда Леня начинал повествовать о своих скитаниях по Африке, о том, как попал однажды в землетрясение, наблюдал в Бразилии ловлю гигантской анаконды, путешествовал с геологами, искавшими в Якутии алмазы, его нельзя было не слушать. Скупыми, точными фразами рисовал он портреты индейцев, изображал бурю в тундре, рассказывал о панике на тонущем танкере.

В сущности, был он добрым покладистым малым. Но если требовали обстоятельства и надо было постоять за свою честь, Рогов становился жестким и непримиримым. Как-то сопровождал он космонавта в поездке по дружественной стране. Выдался жаркий день. После шестого выступления у космонавта голова раскалывалась от усталости... Скорее хотелось на отдых. На большой портовый город упали черные южные сумерки, когда закончилась последняя встреча в летнем театре. Под аплодисменты направился космонавт к своей машине. Но ее обступили десятки людей, тянули портреты и блокноты, выпрашивая автографы, журналисты пробивались с фотокамерами.

— Товарищи, — взмолился основательно охрипший космонавт, — уже очень поздно, поэтому никаких автографов и никаких интервью. Завтра, завтра.

В эту минуту откуда-то вывернулся запыхавшийся полный пожилой человек с «лейкой» на боку и клеенчатой тетрадью в руках.

— Товарищ, — бросился он к гостю, — всего несколько слов. Несколько слов для газеты «Рабочее дело». У нас это такая же газета, как в Советском Союзе «Правда». Всего несколько слов.

Жмурясь от наведенных на него «юпитеров», космонавт недовольно прервал:

— Я же сказал, никаких автографов и бесед.

Хлопнула дверца, и черная машина с космонавтом скользнула плавно вперед, выстрелив в журналиста хлопком дыма. И остался он растерянно топтаться у фонарного столба. Рогов, ехавший с кинооператором во второй машине, махнул ему рукой.

— Садитесь, помогу встретиться с космонавтом.

Они несколько запоздали в домик у моря, и Рогов догнал космонавта уже на лестнице.

— Вы чего-то подзадержались, друзья, — окликнул их тот, — а это кто с вами?

— Журналист из «Рабочего дела».

— Что? — неожиданно вспылил космонавт. — Я же сказал, что никаких интервью сегодня не будет.

— Пойми, это же из партийной газеты товарищ, из их «Правды».

— Все равно не состоится беседа.

— Это же их «Правда», понимаешь! — взорвался вдруг Рогов. — Да кто ты в конце концов, чтобы отмахиваться от представителя «Правды»! Ты ведешь себя, как мальчишка.

— Вот как! — вскипел космонавт. — Если бы я знал, что ты таким тоном будешь со мной разговаривать, я бы попросил не посылать тебя со мной.

— И я бы с тобой не поехал, если бы знал, что ты такой! — закричал с обидой в голосе Рогов. — Подумаешь, персона грата. Могу хоть завтра в Москву улететь. Надоело писать о твоей обаятельной внешности и добром голосе и видеть тебя таким.

Он яростными шагами метнулся к себе в комнату, захлопнул дверь. Кровь стучала в висках. Леня открыл кран в ванной и плеснул в лицо пригоршню воды. С досадой подумал: «Черт возьми, вот и сорвался! Разве можно терять над собой контроль в зарубежной поездке?» У него была давняя привычка — если нервничал и хотел успокоиться, делал подряд несколько быстрых движений: распрямлял руки, доставал ими носки, прибавлял к этому два-три боксерских выпада. Проделав весь этот комплекс, он почувствовал, что успокаивается, и вышел в коридор. Лестница вела вниз, в холл. Оттуда доносились два голоса: усталый, охрипший — космонавта и мягкий, как у всех южан, — журналиста. Леня услышал, как журналист сказал:

— Большое вам спасибо. Я очень вас благодарю от имени всех наших читателей за эту подробную беседу. А теперь вам действительно пора и отдохнуть. Вы сегодня здорово устали.

— Ерунда, ни чуточки не устал, — возражал космонавт. — Откуда вы это взяли, дорогой? Расспрашивайте сколько хотите. Для «Рабочего дела» я времени не пожалею. Это же какая газета... Она и в подполье вашу партию объединяла, и партизан ваших на борьбу с фашистами призывала. Она — как наша «Правда». А что такое для нас «Правда», сами знаете. Она мое поколение людьми сделала и космонавтами, в том числе. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы.

Сдерживая сияющую улыбку, Леня Рогов спустился неслышными шажками в холл и многозначительно переглянулся с космонавтом. Когда журналист из «Рабочего дела» уехал, космонавт подошел к Рогову, дружески ткнул его кулаком в мягкий бок:

— Ну ты... король пера. Тащи-ка пару махровых полотенец, пойдем в море окунемся. Тебе полезно нервную систему укреплять, товарищ творческий человек.

— Тебе тоже не вредно этим заняться, хотя ты и космонавт, — незлобиво огрызнулся Леня.

Сегодня Леня Рогов появился в городке космонавтов рано утром. Он успел побывать и у генерала Мочалова, и у полковника Иванникова, а потом отправился разыскивать Светлову, о которой должен был для своей газеты готовить материал. Это привело его в так называемый профилакторий — двухэтажное каменное здание, находившееся поблизости. Профилакторием его именовали потому, что здесь, на втором этаже, в отдельных комнатах, подчиняясь самому строгому режиму, жили перед каждым космическим полетом космонавты и их дублеры. В этом здании были все удобства: и душевые, и столовая, и две библиотеки: одна — с научно-технической, другая — с художественной литературой. Самым бойким местом в профилактории была биллиардная, оборудованная в холле, где на зеленом сукне постоянно разыгрывались ожесточенные баталии.

Рогов хорошо знал дорогу в профилакторий. Открыв стеклянную дверь на тяжелой бесшумной пружине, он впустил в коридор, устланный ковровыми дорожками, целое облако морозного пара. Сбив с толстых подошв снег,

небрежно закинул на вешалку бобриковую шапку, повесил пальто и вошел в холл.

Был обеденный перерыв, и космонавты толпились у бильярдного стола. Леня услышал щелканье шаров и чье-то горестное восклицание: «Ну и ну!» Увлеченные созерцанием бильярдного поединка, космонавты сдержанно ответили на его приветствие. Один только Андрей Субботин подошел к нему.

— Приветствую, старик. И опять загорелый! Пока мы в космос собираемся, ты уже, наверное, к центру земли успел пропутешествовать. А репортажик соответственный появится?

Рогов не успел ответить.

— Посмотри, Леня, — тихо посоветовал ему Ножиков, — такое и нам редко приходилось видеть.

Рогов осмотрелся и сразу же установил причину, заставившую космонавтов столпиться у биллиардного стола. Прямой, как кий, Игорь Дремов, морща лоб, готовился к удару. Черные глаза его были озабочены, на лбу блестели капельки пота. Наконец Игорь облюбовал два близко расположенных от лузы шара, ударил, но неудачно. Один из них остановился перед самой лузой.

— Женя, есть пожива! — воскликнул Олег Локтев.

Высокая худенькая девушка в синих спортивных брюках и таком же свитере с белой каймой на воротнике отделилась от стены. С кием наперевес она воинственно прошла на то место, где секунду назад высился Дремов.

— Какой там счет? — поинтересовалась она не без кокетства.— Два — два, кажется, товарищ король бильярда?

— Давай, давай, играй, — нервно ответил Дремов.

— Будет четыре — два, — пообещала девушка.

— Цыплят по осени считают.

— Мои цыплята инкубаторные. Их можно и в январе подсчитать.

Девушка склонилась над столом и каким-то необыкновенно точным движением послала шар вперед. Он медленно подкатился к другому, стоявшему у лузы, и следом за ним упал в белую сетку.

— Кажется, четыре — два.

— Кажется, четыре — два, королева подставок, — пробурчал Игорь Дремов, которому ход этой игры страшно не нравился. В сражениях на зеленом сукне Игорь обыч-

но побеждал всех своих друзей, лишь иногда уступал Кострову да генералу Мочалову. И вдруг эта девчушка, впервые на их глазах взявшаяся за кий, оказала такое сопротивление.

— Значит, королева подставок? — уточнила Женя, — Могу и без них обойтись, дорогой Игорь Борисович. Получайте шар номер пять в левую лузу.

— Свежо предание, — хохотнул Дремов.

Девушка на цыпочках обошла стол, гибко склонилась над ним и вдруг самым далеким шаром ударила в другой шар, мирно стоявший на середине. Ударила не сильно, без треска, каким обычно сопровождаются эффектные удары. Но едва только посланный ею издалека шар столкнулся с другим, все закричали «есть», до того точным был этот ее удар.

— Вот и пять — два, — спокойно отметила Женя, — возможно, гроссмейстер все же вынет мой шарик и поставит на полочку? За дамами положено ухаживать.

Дремов молча вынул шар и поставил на полочку.

— Вот это уже по-рыцарски, — игриво заметила Женя.

Дремов яростно натирал кий, не сводя черных глаз с разбежавшихся по зеленому сукну шаров. Леня Рогов стоял рядом. Он никогда не увлекался этой игрой, редко брал в руки кий и почти всегда равнодушно проигрывал. Но красивая игра всегда его притягивала. Сейчас он был уже настолько покорен этой спокойно-насмешливой блондинкой, что на первых порах не обратил внимания на другую девушку, менее привлекательную, в таком же синем спортивном костюме — униформе всех космонавтов. Рогов сразу понял, что обе они — космонавтки. Об одной из них ему предстояло готовить очерк. Лене очень захотелось, чтобы это была высокая блондинка. Он склонился к Субботину и тихо прошептал:

— Андрюша, скажи, какая из них Светлова?

— А вот та, что с кием в руках, — громко объявил Субботин. — Что? Понравилась? Могу представить.

Тем временем Дремов закончил приготовления и подошел к биллиардному столу. Желваки ходили под его крупными скулами, все лицо выражало неподдельное напряжение. Раза два Дремов заносил кий, потом снова задерживал его над зеленым сукном, стараясь точнее прицелиться. И наконец ударил с грохотом. Шар, в который он

метился, влетел в дальнюю лузу. Другой откатился и стал на краю в очень выгодное положение. Игорь немедленно этим воспользовался.

— Кажется, четыре — пять, королева подставок?

— Теперь вот этого «своечка» забей, — подсказал голубоглазый Олег Локтев.

— Вот этого? — с деланным равнодушием переспросил Дремов. — Давай попробую. — Еще один удар, и он торжествующе крикнул: — Пять — пять. Ну что, Женя, что там ни говори, а бильярд — игра не для слабого пола.

Он сделал новый удар, но промахнулся.

— Может быть, может быть, — рассеянно согласилась Женя.

«Значит, это и есть Светлова... — думал в эту минуту Рогов. — Какое мягкое привлекательное лицо! И ничего нет в нем этакого волевого, мужественного. Вовсе ничего».

— Играю на две лузы, — громко объявила Женя.

Не прикасаясь острием кия к шару, она только наметила точку для удара и, вызывающе вскинув остренький свой подбородок, посмотрела на Игоря.

— Бильярд — это тоже психология, поединок нервов: один во что бы то ни стало хочет выиграть, другой — не проиграть.

— Бей, Женя, от твоей философии в дрожь кидает, — не выдержал Игорь.

Она поправила прическу.

— Я, кажется, и в самом деле увлеклась разговорами. Пора и за дело.

Кий в ее руках резко дрогнул. Легкий стук — и два шара мягко разбежались в противоположные лузы. Один упал в правую, а другой тихо-тихо подкатился к обрезу левой.

— Эх, завис! — страдальчески воскликнул Субботин. — Проиграешь, Женька!

В ту же секунду шар соскользнул вниз и очутился в сетке. Женя вздохнула, а болельщики, все как один, включая Рогова, зааплодировали. Один Дремов стоял неподвижно.

— Нет, ей чертовски везет!

— Не знаю, не знаю, — покачала девушка головой, — я человек несуеверный, надеюсь только на глаз и твердость руки. Будьте любезны, Игорь Борисович, вытащите еще два шарика. Какой там счет?

— Семь — пять в твою пользу, Женечка, — восторженно объявил Виталий Карпов.

— Сейчас будет завершена партия.

Рука ее сделала неуловимое движение и внезапным резким ударом послала в лузу последний, восьмой, шар. Снова раздались аплодисменты.

— В старом офицерском собрании в подобных случаях партнера заставляли лезть под стол, — сказала Женя ледяным тоном. — Я, Игорь, великодушна. А поэтому благодарю вас, гроссмейстер, за игру. — И девушка подчеркнуто театрально раскланялась.

Марина Бережкова повисла у Жени на плече, влепив в щеку подруги поцелуй. Андрей не удержался, привлек Женю на секунду к себе и тотчас же стыдливо отпустил.

— Может, еще партию сыграем? — нерешительно предложил Дремов, но Женя насмешливо покачала головой:

— Суп стынет. А потом, я берусь за кий не чаще чем два раза в месяц. Пошли, ребята, в столовую.

«Она сейчас в хорошем настроении», — подумал Леня Рогов.

Космонавты гурьбой двинулись в столовую. Марина и Женя отстали от общей группы. Рогов решительно направился к девушкам и жестом остановил победительницу.

— Простите, мне обязательно надо с вами поговорить. Всего две-три минуты.

Светлые Женины глаза озадаченно скользнули по грузной фигуре Рогова, отметили и его пестрый модный пиджак и ярко-зеленый шерстяной свитер.

— Мариночка, закажи мне на первое суп с фрикадельками. Я тебя сейчас догоню.

Бережкова кивнула головой и ушла. Женя, прищурив глаза, разглядывала Рогова.

— Я вас слушаю.

— Вы космонавт Светлова? — спросил Рогов официально, и когда она утвердительно кивнула, протянул короткую загорелую ладонь: — Журналист Рогов.

— Слыхала, — сдержанно заметила девушка.

— Видите ли, — продолжал он, — я давно знаком со многими вашими товарищами. Знаю и Гагарина, и Титова, и Быковского...

— Да, но какое это имеет отношение ко мне? — сухо прервала она Рогова.

— Самое непосредственное, — пояснил Рогов, — в свое время я писал о Гагарине и Титове. Теперь главный редактор поручил мне готовить материал о вас.

— И на какую же тему? — с иронией спросила Женя. — Я пока никаких подвигов не совершила. Едва ли читателей вашей газеты заинтересует моя скромная биография.

— Это вам только так кажется, Женя! — воскликнул Леня, и оттого, что он впервые назвал ее по имени, Светлова удивленно вскинула брови. Но Леня, не заметив этого, наступал: — Поймите, что, если мне официально поручено готовить о вас материал, значит, вы скоро... то есть в недалеком будущем, — поправился он, — будете готовиться к полету.

— Вот как, — пожала плечами девушка, — а мне об этом пока что ничего не известно. Нас в группе двое. Вы о Марине собираетесь писать?

— Пока нет, — ответил он чистосердечно.

— В таком случае я не вижу повода для беседы, — жестко отрезала Женя, и глаза ее стали колючими. — Это было бы просто не этично, если я стала бы что-то рассказывать для печати о себе, а Марина осталась в стороне. Мы вместе с нею сюда пришли, вместе проходим подготовку, и еще неизвестно, кого и когда пошлют в полет. С моей стороны было бы просто не по-товарищески... так что извините.

И она ушла, оставив обескураженного журналиста одного.

* * *

Не останавливая попутные машины, Рогов медленно брел к станции по звонкой морозной дороге. Лес потрескивал, жалуясь на январь. Голые березы стыли на обочинах шоссе. Впереди у поворота чернел дуб, год назад разбитый грозой. Сейчас его изуродованный комель был занесен снегом.

Сугроб, навалившийся на верхнюю часть комеля, чем-то напоминал древний островерхий шлем, а черный зазубренный ствол был похож на человеческий профиль. Голые прутья кустарника, заслонявшие снизу искалеченное дерево, издали могли сойти за длинную, свисающую

до самой земли бороду. И все это вместе казалось головой огромного русского богатыря, по самые плечи зарытого в землю. До того броским было сходство, что Леня остановился и долго всматривался в неожиданно им подмеченную картину.

— Ни дать ни взять говорящая голова из «Руслана и Людмилы», — произнес он вслух, снимая перекинутый через плечо «контакс», — не проходить же мимо такой прелести.

— Эй, милейший, — услыхал он за спиной, — на поезд опоздаете.

Оглянулся и совсем близко увидел капот подъехавшей черной «Волги». Из открытой дверцы на него смотрел Мочалов.

— Садитесь, Леонид Дмитриевич. Еду на аэродром и вас на полустанок подброшу. Поезд на самом деле скоро будет. А что вы здесь без спроса фотографировали?

— Объект, не имеющий отношения к космической технике, — засмеялся Рогов, — останки придорожного дуба. Вглядитесь, товарищ генерал, они вам ничего не напоминают?

Мочалов прищурил глаза:

— Черт побери, а ведь голова какая-то!

— Вот-вот... Только не какая-то, а классическая говорящая голова из «Руслана и Людмилы».

— Действительно, — согласился Мочалов. — Наблюдательность у вас поистине журналистская. Вы на этом снимке большой гонорар можете нажить, если его пушкинистам покажете... Говорящая голова у врат космического царства. А! Хороша текстовка? Однако, садитесь.

Не прошло и десяти минут, как Рогов был уже на перроне. Подошел поезд. Ни один человек не вышел из поезда, и, как только Леня очутился на подножке, электровоз обрадованно вскрикнул. В вагоне было жарко. Леня разделся и устало прислонился головой к ребристой стене, отделанной ходким на всех железных дорогах ленгрустом. «Противная самонадеянная девчонка», — подумал он о Светловой, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Как и многие люди его профессии, Леня Рогов считал, что человек никогда не должен отказываться от внимания, оказываемого ему журналистами. Только ломаки, бестактные гордецы либо люди, до чертей избалованные славой, по его мнению, поступали так. «Если бы

у нее этот отказ был естественным и непринужденным, я бы ее простил, — подумал Леня, — а то ведь все от позы, от рисовки. Ах, какая я благородная, отказалась беседовать с журналистом лишь потому, что он не проявил внимания к подруге. Но и ты тоже хорош, — оборвал он себя, — не сумел уговорить».

Леня вздохнул, подумав о девственно-чистом своем блокноте. Это вконец испортило настроение. Рогов достал примятую пачку сигарет и закурил. Пассажиров в вагоне было мало. В его купе сидели только старик в распахнутой старой шубенке да пожилая женщина с хозяйственной сумкой на коленях. Колеса ритмично отстукивали, за вагоном тянулись темные леса, кое-где разорванные заснеженными полями. Потом небо насупилось и в окне замелькали электрические огни. На перрон московского вокзала он вышел глубоким вечером. Москва встретила обычной суетой и разноголосицей. Леня подумал, что дома его сейчас никто не ждет, и, грустно вздохнув, отправился в редакцию.

* * *

В огромном физкультурном зале было пусто. Старший преподаватель Андрей Антонович Баринов пропустил Алешу вперед и, посмотрев на секундомер, скомандовал:

— Три круга в темпе.

Оба они: и он, и Горелов — были в синих спортивных костюмах. Невысокая жилистая фигура Баринова казалась литой. Зажав секундомер в руке, он следил за отсчетами стрелки и Алешиным бегом. После третьего круга заставил его остановиться и сделать несколько движений из сложного комплекса космической зарядки. Потом подошел и нащупал у Горелова пульс:

— Дышите поглубже... так... хорошо. Ну а теперь на батуд!

Когда Алексей подошел к туго сплетенной огромной сетке, Баринов без всякого труда прочитал на его лице волнение.

— Хотите скажу, о чем вы сейчас подумали? — дружелюбно спросил Баринов.

— Скажите.

— Вы сейчас вспомнили фотографии космонавтов на батуде.

— Отгадали, — подтвердил Горелов, — я действитель-

но подумал об этих снимках. По-моему, еще ни об одном из космонавтов журналисты не рассказывали без того, чтобы не запечатлеть его на батуде.

Барнпов улыбнулся:

— Имейте в виду, Алеша, батуд — снаряд сложный. Несколько вертикальных подпрыгиваний — и у вас немедленно подскочит давление крови.

— Небось шутите, Андрей Антонович, — засмеялся Горелов, — быть не может, чтобы такая мягкая штука и так повлияла.

Худощавый, жилистый Баринов кивнул головой:

— Ну, попробуйте.

Алеша вскочил на батуд, недолго на нем раскачивался и сильным толчком подбросил свое тело вверх. Опустив носки, ударился после прыжка о сетку и опять взмыл, смеясь, выкрикнул:

— Правда за мною, Андрей Антонович!

— Посмотрим, — сдержанно заметил Баринов своим чуть глуховатым голосом. После шестого прыжка он заставил Алешу пройти в его небольшой кабинет и попросил лаборантку Нину замерить давление крови. Она назвала цифры.

— Вот это да! — одобрительно воскликнул Баринов и сел рядом с Гореловым на диван.

Со стен на них глядели космонавты. Быковский в высоком прыжке застыл над батудом, Герман Титов тренируется на лопинге. Вытянувшись пружинисто на кольцах, улыбался Юрий Гагарин. Терешкова мчалась по льду катка на «гагах».

— На моих глазах их фотографировали, — гордо произнес Баринов. — Космонавт без физкультурного зала, плавательного бассейна, стадиона и катка — не космонавт. Правда, некоторые журналисты утрируют, изображая космонавтов как каких-то циркачей. У одного в статье я, например, так и прочитал: «Титов! Да это же настоящий циркач!» Вот до чего телячий восторг дилетантов доводит. Столько сил вкладываем, и так наивно все это оценивается. Ну скажите, Алексей Павлович, вам бы понравилось, если бы сказали: космонавт Горелов — настоящий циркач?

— Пожалуй, не обратил бы внимания.

— А я обращаю, — сухо заметил Баринов, — люблю точность, когда речь идет о моей работе. Мы здесь готовим, как я понимаю, не артистов цирка.

— Андрей Антонович, а вдруг я стану циркачом? — засмеялся Горелов. — В космос по каким-либо причинам не пустят, зато освою батуд, лопинг, кольца, хождение по канату. Кругом афиши: в программе популярный канатоходец А. Горелов. И вы, Андрей Антонович, прихóдите в цирк, садитесь где-нибудь в амфитеатре или партере на первый ряд. И вдруг видите своего питомца...

— Прокляну! — пригрозил Баринов. — И надеюсь, этого никогда не случится. У вас блестящие показатели после батуда. Таких еще не было ни у кого.

— Вы имеете в виду моих товарищей?

— И тех, кто уже побывал на орбите.

— И даже Гагарина?

— Даже и его.

Алексей ушел в тот вечер от Баринова в самом отменном настроении, долго сидел потом у себя в комнате над английским учебником и, время от времени отрываясь от книги, радостно восклицал:

— Лучше Гагарина? А? Это же надо!

* * *

Если человек много и упорно работает в будни, он, как никто другой, умеет замечать свободные дни. В городке космонавтов все воскресенья начинались с тихого утра. Голубые автобусы не подкатывали к проходной. Не скрипела входная калитка. Все лаборатории, рабочие комнаты и учебные классы были тщательно опечатаны. Лишь неугомонный полковник Иванников и заместитель по политчасти полковник Нелидов, у которых и в воскресные дни находились неотложные дела и заботы, появлялись в опустевших штабных коридорах.

Нелидов был в городке таким же старожилом, как и начальник штаба. Он выглядел гораздо моложе своих сорока четырех. Густая шапка каштановых волос, аккуратно зачесанных назад, нигде еще не дала приюта седине. Спокойные черты лица и такая же спокойная речь как-то сразу располагали к нему людей. И еще были две запоминающиеся приметы у замполита, которыми он втайне гордился: знак военного летчика первого класса и косой шрам от зенитного осколка над правой крутой бровью.

Эти два человека даже по выходным не оставляли в покое космонавтов. По их планам устраивались лыжные массовки и соревнования в тире, шахматные турниры и

концерты художественной самодеятельности. При этом Нелидов считал, что он всего-навсего «охватывает личный состав партполитработой», а начальник штаба торжествовал в душе от того, что не отступает от своей доктрины: всегда, во всякие дни давать физическую нагрузку космонавтам. Но получалось так, что, хотя лыжные кроссы, баскетбольные игры или гимнастические соревнования устраивались для космонавтов, участвовали в них десятки людей. Разве не интересно было идти по лыжне за сибиряком Андреем Субботиным или обогнать ловкого, выносливого Володю Кострова? Ведь если говорить откровенно, пройдет не так уж много времени, и каждый из них побывает в космосе, его имя станет известным. А ты будешь вспоминать, как ходил с ним по одной лыжне и, если не обогнал, то чуть было не пришел следом...

Работала в городке, например, двадцатилетняя лаборантка Наточка. Она пришла сюда в числе первых из маленького подмосковного села, ничего не умела и толком не знала. Но, убедившись, что люди, собравшиеся в этом большом лесу, будут готовить космонавтов, девушка преобразилась. В короткое время она так овладела своей профессией, что самые опытные и квалифицированные лаборантки не в силах были с ней соревноваться. Наточка и повзрослела. Когда же в городке появились две девушки космонавтки, дух соревнования ожил в ней со страшной силой. Где только можно, пыталась Наточка соперничать с ними. Если шло в физзале сражение в баскетбол или волейбол, она становилась в команду, игравшую против той, где были космонавтки. Высокая и легкая в прыжке, она по-детски радовалась, если выигрывала мячи у Марины или удачно блокировала Женю. Равнодушная к волейболу, Светлова лишь руками разводила:

— Вот бы кому в космонавты.

И не догадывалась Женя, как глубоко сидит в голове у Наточки мечта стать космонавткой. Иногда стремление не отстать от Марины и Жени приводило Наточку и к смешному. Полковник Нелидов, первым догадавшийся о ее волнениях, с доброй усмешкой наблюдал за выходками девушки. На одном из воскресных лыжных кроссов, когда все космонавты вышли на старт, Наточка поставила перед собой задачу занять в женской группе первое место. Она успешно обошла Женю, но никак не могла справиться с северянкой Мариной. По пятам пришла за той к финишу

и, едва-едва перешагнув заветную линию, потеряла сознание. Пришлось подоспевшей Жене «воскрешать» ее при помощи пузырька с нашатырным спиртом. И опять никто не догадался о подлинной причине, заставившей Наточку драться за первое место. Вечером в гарнизонном клубе под нестройный туш самодеятельного духового оркестра полковник Нелидов протянул ей приз — коробку духов «Красная Москва» и, пользуясь тем, что медные трубы все еще продолжали неистово гудеть, шепнул в ухо:

— А себя надо пожалеть, дочка. Даже если в космос хочется.

Наточка ничего не ответила, только покраснела до корней волос.

Воскресные дни в городке космонавтов были особенными. С людей слетала обычная озабоченность, они становились щедрее на улыбки и шутки.

Горелов в это воскресенье проснулся рано: никаких кроссов и других соревнований не предвиделось. Не было и обязательной ежедневной зарядки, с которой начиналось рабочее время космонавтов. В почтовом ящике Алеша нашел письмо от матери и медленно начал его читать. Знакомые округлые буквы:

«За помощь тебе спасибо, Алешенька. Те пятьдесят рублей, что прислал мне этим месяцем, я израсходовала на ремонт. Домик надо держать в приличном виде. Отцово наследство хоть и не сокровище какое брильянтовое, но всегда пригодится. Будет час, когда ты и жить, может, в родное гнездо вернешься, и жену с детишками заведешь. И еще имею я, старая, к тебе один вопрос. Что-то ты стал присылать очень много денег, соколик. Мне они, разумеется, не лишние, но смотри не обижай себя.

Ты мне пишешь, что переведен теперь в специальную часть. Понимаю, что, в какую именно, сказать не имеешь права. Но хотя бы намекни, сынок, лучше это или хуже твоего истребительского полка? Недавно к нам заезжал твой дружок давнишний по школе — Володя Добрынин. Он уже инженер и начальник какой-то партии, располнел, стал таким важным. Я ему сказала, что ты в специальной части, а он мне ответил, что, значит, ты попал на какое-то интересное и важное дело. И еще я спросила его, больше или меньше теперь у тебя будет опасностей, и он, конечно, сначала утешал, а потом сознался, что новое дело тоже может быть рисковым. Вот ты и развей мою

тоску, сыночек. Напиши, все ли ты так же много летаешь на тех окаянных самолетах или тебя к какому спокойному делу наконец прибило. Ты обещаешь по весне пригласить меня в гости. Обязательно приеду своими глазами посмотреть, где ты. А после этих строк обнимаю тебя, своего бесценного, и целую бессчетно».

— Ну и чудачка же мама! — засмеялся Алеша. — Все ей опасности мерещатся. А Володька тоже хорош гусь. Нет, чтобы успокоить старуху, так пустился в свои штатские домыслы.

Он сочинил матери ответ, потом сел в кресло просмотреть газеты. Часов около двенадцати тишину в комнате нарушил телефонный звонок. Веселый голос Игоря Дремова раскатился в трубке:

— Привет, старик. Моя Надежда уехала с дочкой в Москву, будет завтра. Я один. Поэтому ровно в три у меня начинается «большой сбор». Будь без опоздания.

— Подожди, что за «большой сбор»?

— Ах, ты еще не в курсе! — засмеялся Игорь. — «Трубить большой сбор» — это значит собрать всех космонавтов для разговора по душам на какую-нибудь определенную тему. Ну а сегодня наших девушек в городке нет, поэтому что-то вроде мальчишника получается.

— Так мы же недавно мальчишник проводили... — заикнулся было Горелов, — новоселье мое справляли.

— Да нет, Алеша, ты не понял. «Большой сбор» проводится без танцев и вина, по-серьезному. На сегодня и тема уже намечена: «Как я стал космонавтом», понимаешь?

— По-моему, это так интересно! — несколько растерянно сказал Алексей. — Только чаек бы еще.

— Будет чаек! — пообещал Дремов. — И получше коечто будет. Я килограмм воблы раздобыл. Вобла первый класс.

— А другие придут?

— Все, кроме Витальки Карпова. У него сынишка заболел. Зато у Субботина Леня Рогов обедает, Андрей и его затащит.

— А кто такой Рогов? — спросил Алеша.

— Журналист, наш постоянный шеф. Познакомишься, не пожалеешь.

Когда Горелов, переодевшись в штатское, прибыл к Дремову, он застал у него всех своих новых знакомых.

В квартире Игоря было даже тесновато: и мягкие кресла, и низкие стулья вокруг журнального столика, и диван были заняты космонавтами. Еще в коридоре, вешая пальто, Алексей услышал музыку. Черная крышка пианино была поднята, за ним сидел плечистый Олег Локтев, такой удивительно неуместный за этим инструментом. Голубые глаза его были прикованы к нотам, широкая спина чуть согнута. И самым странным было, что лицо Локтева то и дело менялось, приобретало то грустное, то торжественно-спокойное, то строгое выражение.

Дремов указал Горелову на диван, но Алеша, как вошел, так и застыл у стенки. «Как играет, — подумал он, — словно настоящий музыкант. Никогда не сказал бы, что он так может...» Локтева слушали в глубоком молчании. Подпирал ладонями голову Ножиков. Вперед подался Костров, и темные глаза его не могли оторваться от пальцев Олега. Затаил дыхание Дремов, и опять на виске у него запульсировала тонкая мраморная жилка. Только Андрей Субботин слушал стоя, прислонившись к оконной раме, но и его зеленые глаза утратили обычное насмешливое выражение, стали грустными. На диване сидел грузноватый мужчина, которого Горелов уже видел у полковника Иванникова в кабинете. Он догадался, что это и есть журналист Рогов. Когда Локтев кончил играть, все долго молчали. Локтев достал платок, устало отер пот со лба и, смущенный возникшей тишиной, глуховато сказал:

— Вот и все, ребята...

— Это же превосходно, Олежка... — сказал Дремов.

— Ты молодец, Олег, — присоединился Ножиков.

Костров затаенно молчал. Алеша тоже ничего не сказал, только восторженными глазами смотрел на Локтева. А тот, чувствуя, что всем нравилась его музыка, неловко встал с круглого стула, вздохнул:

— Эх, и влетало же мне когда-то от профессора за этот Двенадцатый этюд Скрябина! — И чтобы избежать новых похвал, покосился на молчавшего Субботина. — Андрей, я утомил их классикой, сядь теперь ты. У тебя веселее получится. А мы подпоем. Ладно?

Субботин отстранился от окна, с опаской сказал:

— После тебя и садиться-то жутко.

— Да ладно, парень, — сказал Ножиков. — Не скромничай.

Подбадриваемый дружными голосами, Субботин словно бы нехотя подошел к пианино, пробежал пальцами по клавишам.

— Игорь, давно вызывал настройщика?

— Неделю назад, — ответил Дремов.

— После моей игры снова придется вызывать.

— Да брось ты авансом извиняться, — укорил его Ножиков, — давай-ка лучше нашу, космическую.

Длинные тонкие пальцы Андрея высекли из клавишей два бурных аккорда, потом пробежали слева направо, и Алеша услышал незнакомый бравурный мотив. Чуть хрипловатым голосом, отбивая ногой такт, Субботин запел:

Эта песня про дни наши быстрые,
Про отчаянных наших парней.
Космос помнит ракетные выстрелы
И маршруты всех кораблей...

И тотчас же все подхватили припев:

Не всегда все свершается гладко,
Не всегда возвращаются в срок,
Но орбита будет в порядке,
Если мужества есть огонек.

Дремов склонился к Алеше, на ухо шепнул:

— Это он сам сочинил. Понял?

Голос Субботина, осмелевший и поднявшийся на бо́льшую высоту, продолжал петь о том, как потерпел в космосе катастрофу отважный человек, как корабль его был ранен метеором, но не сдался смертям, не отступил космонавт...

Все казалось однажды погубленным,
Наступал последний закат,
Непрославленный, недолюбленный
Умирал во мгле космонавт.

Метеором корабль его раненный
Неподвластен движенью руки,
И склонились над ним марсиане,
Крутолобые чудаки.

Отпевать его чинно хотели,
В марсианскую почву зарыть,
Чтобы больше земляне не смели
Марс таинственный навестить.

Но в скафандре своем белоснежном,
Нет, не сдался смертям космонавт,
И опять по просторам безбрежным
Разнеслось слово громкое «старт».

Далеко в голубом ореоле
Ожидала героя Земля,
Сквозь огромное звездное море
Устремился он к звездам Кремля,
Чтобы снова пить воздух полуденный,
Чтобы девичьи плечи обнять,
Непрославленный, недолюбленный,
Нет, не умер во мгле космонавт!

Бас Локтева и более слабые голоса Дремова, Ножикова и Кострова повторили две последние строчки:

Непрославленный, недолюбленный,
Нет, не умер во мгле космонавт!

А потом еще раз прозвучал в комнате припев:

Не всегда все свершается гладко,
Не всегда возвращаются в срок,
Но орбита будет в порядке,
Если мужества есть огонек!

— Вот так-то! — Субботин захлопнул крышку и подмигнул Рогову. — А что скажет по этому поводу пресса?

Рогов встал с дивана, одернул пиджак:

— Если подходить с точки зрения литературного мастерства, то этот текст...

— Не надо с точки зрения литературного мастерства, — взмолился Ножиков, — мы же не на заседании поэтической секции. Подожди, Леня, я его сейчас по существу буду критиковать... как космонавт.

— Давай, парторг! — задиристо бросил Субботин. — Начинай.

Густые черные брови Ножикова сомкнулись на переносице, и он загнул на правой руке указательный палец.

— Во-первых, об аварийности...

— А это больше всего беспокоит наше партбюро, — улыбнулся Андрей, — аварийность, так сказать, в космонавтике.

— Хотя бы! — подтвердил Ножиков. — Хотелось бы спросить, откуда уважаемый автор взял аварийную ситуацию? У нас ни один космонавт не терпел бедствия «во мгле». Все благополучно возвращались. Значит, жизненная правда уже нарушена? А?

— Узкий взгляд на космонавтику, — презрительно прищурился Субботин. — В вашей логике налицо догматизм. Сколько в мире совершено космических полетов?

Около двух десятков, если считать и американские? Но так ли?

— Допустим.

— А высота орбит? Не свыше пятисот километров. Конечно, мы к этому в техническом и научном отношении настолько подготовлены, что заранее предусмотрели любые неожиданности. Перед каждым полетом выбираем наиболее удобное время в смысле пониженности солнечной деятельности, работаем все на один корабль. А представь себе, что будет, когда высоты полетов возрастут, станут измеряться десятками, а потом и сотнями тысяч километров, когда трассы пролягут к Луне и другим планетам... Вы представляете, ребята, сколько тогда возникнет сложных и неожиданных вопросов, которые ни один ученый и ни один конструктор не в состоянии сейчас предвидеть. Начнем хотя бы со светящихся частиц. Они с огромной скоростью проносятся мимо корабля. Но знаем ли мы их температуру, их происхождение. Еще не полностью. А мы готовим выход человека в открытый космос. Значит, наука уже доказала то, что казалось еще пять лет назад неосуществимым. Так и в первых далеких космических полетах. Не верю я, что все они будут проходить гладко. И с авариями столкнемся, и потери, может быть, станем нести, когда от простых полетов перейдем к сложным. Значит, и ситуация, подобная той, что в песне, весьма возможна. Оправдался я или нет?

— Не совсем, Андрюша, — засмеялся Ножиков. — А чем ты объяснишь другое? В твоей песне космический корабль ранен метеоритом.

— Ну и что же?

— Практически вероятность столкновения корабля с метеоритом равна нулю, — вставил Локтев.

— А если уж и состоится встреча, так метеорит разворотит любой корабль, — подтвердил Дремов.

— Так ведь это пока предположение! — всплеснул руками Субботин. — А вы знаете, что будет в сфере Луны или на подходе к ней? Вы уверены, что там не встретятся метеориты и что нашим кораблям не понадобится специальная от них защита? То-то и оно, что, чем чаще мы наведываемся в космос, тем больше о нем узнаем и тем больше встает перед нами вопросительных знаков.

— Ладно, ладно, — прервал споры Дремов, — прошу в столовую, и начнем «большой сбор».

Над дверью, ведущей во вторую комнату дремовской квартиры, висел торопливо написанный рукой хозяина плакатик: «Добро пожаловать!» Между буквами торчали головки пивных бутылок, блеклыми глазами смотрели на них осоловелые воблы... Игорь широким жестом распахнул дверь, и Алеша увидел покрытый клеенкой стол, на котором навалом лежала вобла, нарезанный крупными кусками черный хлеб и стояли четыре бутылки пива, видно только что вынутые из холодильника, едва успевшие отпотеть.

— Прошу, ребята, занимать места.

— Отцы-командиры, нас, кажется, приглашают, — прогудел Локтев.

Космонавты расселись. Дремов погасил свет, оставив включенным лишь электрический обогреватель.

— Друзья мои, — заговорил Дремов, — сколько мы ходим по одной и той же жизненной тропе?

— Смотря что ты имеешь в виду? — уточнил Ножиков. — Если этот отряд, то не столь много. Здесь мы вместе всего два года.

— А знаем друг о друге далеко не все. Так или не так?

— Да, пожалуй, так, — протянул Субботин.

— А вот, Алеша, — продолжал Дремов, — так тот вообще ничего о нас не знает. Поэтому я решился на такой ответственный шаг, как «большой сбор». Давайте займемся воблой и поговорим о том, как каждый из нас пришел в космонавтику.

Алеша, сидевший на самом краю стола, почувствовал, что все смотрят на него. «А что я могу сказать?» — в смятении подумал он.

— С кого же начнем? — деловито осведомился Субботин.

— Не с Горелова же, конечно. Он новичок.

У Алеши отлегло от сердца.

— Да с тебя, Андрей, раз назвался, — сказал хозяин квартиры.

— Гм... — промычал Субботин, — полная неожиданность.

— Хозяин имеет право останавливать свой выбор на ком угодно.

— Позволь тогда хоть горлышко промочить. — Субботин потянулся к столу, достал самую крупную воблу,

предварительно пощупав, с икрой ли она, отхлебнул глоток пива. — Я вначале о батьке пару слов скажу. — Отсветы падали на его подвижное лицо и смуглый лоб с залысинами. — Все начинается от печки, а у меня от батьки, ребята. Сейчас ему семьдесят два, но не гнется. Высокий, худой, из тех, кому мальчишки кричат вдогонку: «Дядя, достань воробышка». В семье я был восьмым по счету, а всего ребят — десять. Когда в военные годы кусок хлеба попадался — на части рвали. Да и после войны не сладко жилось. Батька стал прихварывать. Ртов в нашей семье много, рабочих рук мало. А в сорок девятом беда нагрянула — в тюрьму наш батька угодил. И кто бы мог подумать, что так дело обернется. Батька всю жизнь был тихий: чтобы водку пить, карты или какое хулиганство — ни-ни. Но была у него одна страсть: зверье. Ох и нянчился с ними, собаками, кошками, козлятами, жеребятами! Если заболевала какая живность, со всех сторон лечить к нему несли. Денег с селян он почти никогда не брал. Праведник, словом.

— В кого же тогда ты? — кольнул Костров.

— Обожди, Володя, — развел руками Субботин, — не мешай, запутаюсь. Однажды мой батька увидел на колхозной ферме больного бычка. Был там сторожем его дружок, шамкающий старикашка по прозвищу дед Пихто. Так вот этот самый дед Пихто готовился укоротить дни больного бычка. Батька на него навалился: «Ты по какому праву?» Дед объясняет — приказ председателя колхоза. Батька к тому. Так, мол, и так, отдай бычка, на ноги поставлю. А председателем у нас был в ту пору рослый такой детина. Раньше в Мелитопольской области райисполкомом руководил, да за какие-то грехи получил отставку и в наших краях очутился. Но заступная рука у него была, дружбу водил с некоторым районным начальством. Кому подсвинка умел вовремя подкинуть, кого колхозным медом по государственной цене задобрить. Сам плечистый, красный, глаза рачьи. Что на сев, что в покос, что на уборку с таким винным духом выходил — близко не устоишь. Колхозники, что посмелее, говорить ему в глаза уже начали: дескать, сильно злоупотребляешь, Тарас Кондратьич. А он, знаете, что в ответ? «Молчите, плебеи! Да вы знаете, как сам Федор Иваныч Шаляпин об этом напитке отзывался? Великий певец нашей эпохи говорил: водка мне бас шлифует». Мужички наши, расходясь, иной

раз только затылки чесали: «Оно и действительно...» Так вот стал мой батька просить у этого председателя: «Тарас Кондратьич, отдай бычка. Не время его забивать». Тот не поверил: «Ты что, Субботин, белены объелся. Ветеринар смотрел, сказал — лечить бесполезно. А ты что же, умнее ветеринара?» Батька смелости набрался и ему в лоб: «Умнее». Ну, председатель наш был под шафе, ему эта выходка понравилась. Короче говоря, очутился бычок в нашей избе. Маленький, теплый, губы парные, глаза — пуговки янтарные. Батька его и молоком, и обратом, и настоем из трав каких-то отпаивал. Одним словом, сдержал наш батька обещание и поставил животину на ноги. Естественно, спасибо от председателя получил, бычка на ферму вернули. Батьку услали на неделю лес для строительства заготовлять. Возвратился он — и сразу на ферму шасть. Встречает его дед Пихто. Батька к нему: «Как поживает мой бычок?» Дед захохотал: «Эка хватился. Тут к председателю родич приехал, так они третьего дня бычка забили. В аккурат сейчас у него пиршество на завершении. Можешь зайти и убедиться, какие из твоего Савушки котлеты получились». Батька мой — как мел. Ничего не ответил — и домой. Прибежал, нас всех растолкал, топор схватил да к председателю. А у того море разливанное: и родич за столом, и уполномоченный райисполкома, и еще какой-то начальник. Батька топором машет и к самому Тарасу Кондратьичу: «Убью, подлюга, за колхозного бычка!» Председатель его унимает: как тебе, дескать, не стыдно, здесь же районное начальство. Отец мой что-то непотребное в ответ и с топором к нему подступает. Батьку кое-как угомонили, а через неделю не без старания нашего председателя и его дружков целое дело завели. Дескать, колхозник Субботин пытался привести в исполнение террористический акт против председателя передового колхоза.

— Подожди, — вдруг спохватился Горелов, — а какое это имеет отношение к тому, как ты попал в космонавты?

Субботин вытащил зеленую гребенку и пригладил редкие волосы.

— Ишь ты какой торопыга. Мы же договорились в ознакомительном порядке о самом интересном порассказывать. А в отряд я попал довольно просто. Ничего в этом сверхъестественного нет. Понимаешь, Алеша, тебе сразу полезно будет уяснить, что космонавт — это не сверхче-

ловек, а просто человек. Вот Чайковский, вероятно, с детства в мире музыки жил, Репин тоже рано к краскам и кисти потянулся, а Пушкин, скажем, к перу. Все это естественно, потому что великие ученые, музыканты, художники, они рождаются одаренными. А космонавтами не рождаются. Космонавтами становятся. Вот и я по воле случая попал в отряд. Служил я на юге в большом шумном городе. После авиашколы как-то быстро в старшие летчики вышел. Летать давали, не зажимали. А охоты летать — хоть отбавляй. Мы только что познакомились с моей Леной, она там педагогическое училище кончала. Дело молодое, известное, этого один только Горелов не понимает, потому что он холостяк самых строгих правил. А я понимал. В общем, у нас с Леной роман достиг самой кульминационной точки, и я пообещал на ней жениться, когда приехали в авиагарнизон два незнакомых полковника в медицинской форме. Беседовали с моими однокашниками, потом взялись за меня. Вызвали в кабинет и после нескольких наводящих вопросов напрямик спросили: «В космос хочешь?» У меня мурашки по коже пошли от такой неожиданности. Но взял себя в руки и говорю: «Космос? Так ведь там пока только Стрелка и Белка пилотировать умеют». Гляжу, один полковник подмигивает другому: а он, мол, остряк. И вслух мне довольно коротко: «Хорошо, лейтенант. Я не настаиваю на немедленном ответе. Даю час на размышление». Я в коридор вышел, и тут меня как серпом полоснуло по сердцу. А как же с Ленкой? Космос — дело особенное. Там небось и люди нужны с особым режимом. А что как прикажут позабыть о моей большеглазой Ленке, лучше которой нет на всей планете Земля! На кой мне тогда черт все эти Венеры и прочие небесные светила!.. Час пролетел, как реактивный. Вхожу в кабинет снова. Полковник спрашивает: «Ну что, лейтенант, надумал?» Я его в лоб: «А как у вас, жениться можно? А то ведь профессия космонавта — дело особенное». «Можно, можно», — засмеялся полковник. И я решительно заявил: «Тогда пишите». Ну а остальное сами знаете...

— Знаем, знаем, — засмеялся Костров, — пот и соль вместе делим.

— Так что же? — тоном старшего распорядился Дремов. — Теперь пойдем по солнечному кругу. Очередь за Сергеем Ивановичем.

Ножиков развел руками:

— У меня, друзья, такого юмора, как у Андрея, не получится.

— Давай без юмора, — ободрил его Дремов.

— Тогда и я с детства начну. Глаза закроешь — Азовщина вспоминается. Наше Азовское море хотя и маленькое, но коварное. Отец мой на колхозном рыболовецком сейнере плавал рулевым. Помню этот черный сейнер с красными буквами на борту — «Ведьма». Так его еще старик прасол назвал. Потом это название перечеркнули и уже в колхозе «Красным вихрем» назвали. Такому возвышенному революционному прозвищу эта посудина, сами понимаете, мало соответствовала. Я первую ступень кончал, когда сейнер этот на берег не вернулся. Отца на пятый день выловили. Привезли в хату уже в гробу, большого, молчаливого, распухшего. Мать убивается, а мы с сестренкой к ней жмемся. Было это как раз перед войной. А в сорок втором я в летное училище подался. Очень уж на фронт хотелось. В марте сорок пятого окончил училище на материальной части Ил-2. Попали мы в боевой полк в конце апреля, а девятого мая война закончилась. Горевал я тогда в свои девятнадцать. Как же так — без меня победа над Гитлером одержана? И вдруг наш полк в полном составе на Дальний Восток направляют. Пока формировались, грузились, время прошло, и прибыли мы туда в самый разгар событий. Если перебрать в нашем отряде все личные дела космонавтов, то на всех нас записан всего один боевой вылет, и совершил его я.

— Гордись, Сережа, — тихо сказал Костров, — хоть один, понюхавший пороха, среди нас да есть.

Ножиков мягко улыбнулся:

— Но ведь я и не знаю, ребята, считать ли еще этот вылет боевым.

— Это почему же?

— А вот послушайте, как обстояло дело.

Ножиков отпил из стакана пива, заел воблой, которую очистил по-рыбацки — в одно мгновение.

— Было это в августе сорок пятого, когда с Японией шла война. Получили мы задание нанести удар по сосредоточению военных кораблей в бухте Косю. Бухточка, даже по карте видно, микроскопическая. Но чего ни бывает. Мог в ней и транспорт, и эсминец, а то и сторожевой ко-

рабль укрыться. Короче, взлетаем парой. Настроение возвышенное. Война на исходе, хочется и тебе свой пыл в боевые дела воплотить. Над сопками нас, как и положено, японские зенитки обстреляли. А перемахнули линию фронта — и никакого сопротивления. Будто с аэродрома на аэродром в своем тылу перелетаем. Уже и низменность под плоскостями потянулась, и желтые зализы отмелей впереди в воду врезаются. А надо сказать, Японское море по внешности своей суровое, со свинцовым отливом, не наше Черное, что, как бриллиант сверкает и глаз твой радует. Вот мы и над целью. Действительно маленькая бухта под крылом, а у причалов черным-черно от судов. Сличаем карту с местностью: точно, Косю. У меня был ведущим веселый такой парень — старший лейтенант Балацко. На западе семьдесят боевых вылетов совершил. «Давай холостой заход!» — командует. Мы до двухсот метров снизились. Мотор на моем «иле» новый, как зверь, ревет. Море рябит, барашками набегает. Только что за загадка — ни одного выстрела по нашим машинам с земли, ни одного разрыва в воздухе: ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. Спрашиваю стрелка своего по СПУ[1]: «Зенитки бьют?» «Нет», — отвечает. У меня рука на секторе газа. Ставлю машину в вираж, чтобы получше рассмотреть цель, и вдруг — матушки мои! — да там же, у причалов, ни одного военного транспорта. Вся бухта забита жалкими рыбацкими посудинами. Только две мало-мальски приличные шхуны. А по берегу в черных робах людишки в панике бегают. Мужчин — кот наплакал, больше — женщины да дети. Верите ли, спрятаться негде — берег ровный, песчаный. Бедные детишки на колени попáдали и молятся своему самурайскому богу или кому там, может, самому японскому императору. И мысль у меня: неужели будем бомбить и открывать по ним огонь? Я даже похолодел, и сердце будто замерло под комбинезоном. Слышу по радио от Балацко: «Еще один холостой заход». Снова мы круг описываем, и я окончательно убеждаюсь, что в этой бухте одни рыбацкие челны. Даже сети для просушки, вытащенные на берег, вижу. И тогда, позабыв код, кричу по радио: «Командир, там бабы да пацаны! Нельзя бомбить». Балацко помолчал и через секунду коротко приказывает: «Сам вижу. Разворачиваемся на об-

[1] СПУ — самолетное переговорное устройство.

ратный курс». Прилетаем мы на свой аэродром и садимся с подвешенными бомбами. Сами понимаете, ребята, посадка не из веселых. Зарулили, винты еще на малом газу хлопают, а техники уже по крыльям к нашим кабинам лезут. «В чем дело, товарищ младший лейтенант? Заело?» — мой 'спрашивает. «Заело, — говорю. — Только об этом «заело» я самому командиру полка докладывать буду». Подходим с Балацко к штабной землянке, а наш полковник уже на пороге стоит. Бывалый был рубака. Левая щека вся обожженная — над Лозовой горел. Семью в оккупации потерял. Смотрит он на нас строго, ждет. Балацко вытянулся по команде «Смирно» и докладывает по всем правилам: «Товарищ командир, боевое задание выполнено. Бомбы не сброшены». — «Это как же надо понимать, товарищ старший лейтенант?» Балацко замялся, но тут я не выдержал, вперед шагнул: «А так, товарищ полковник, что вышестоящий штаб неверно нам указал расположение цели. В бухте Косю нет ни одного военного корабля. Там действительно скопление, но только рыбацких баркасов, женщин и детей». «И ты не бомбил?» — спрашивает полковник. «Никак нет, товарищ командир», — отвечаю. «А ты знаешь, что положено за невыполнение боевого приказа?» — «Так точно, товарищ полковник, трибунал. Но у меня в кармане гимнастерки билет коммуниста, да и совесть человеческая под гимнастеркой тоже в наличии». Положил полковник мне тогда руку на погон, в самые глаза глянул: «Жалостливое сердце у тебя, Сережа. Это хорошо. С таким сердцем ты путящим человеком станешь. Значит, пожалели старух и детишек?» — посмотрел он и на Балацко. «Так точно, товарищ командир! — гаркнул мой старший лейтенант: понял, что нагоняя уже не будет. — Пожалели». — «А вот наши союзники, господа американцы, не пожалели. Атомную бомбу час назад сбросили на Хиросиму». Не успел он это сказать, бежит к нам от машины-радиостанции начальник штаба майор Синенко, полный такой, солидный. Никогда бы не мог представить, что он в состоянии столь быстро передвигаться по летному полю. Подбегает и кричит: «Товарищ полковник, Тихон Васильевич, японцы капитуляцию запросили». Вот так и завершился мой единственный боевой вылет, — закончил Ножиков.

Алеша выключил накалившийся обогреватель и тихо спросил:

— В отряд как вы пришли, товарищ майор? Тоже, как Субботин и другие... с вами беседовали, отобрали кандидатом, а потом вызвали?

— Нет, — покачал Ножников головой, — у меня свой был путь. Когда наш отряд зарождался, я кончал академию. Последний, самый трудный курс. Увлекся телемеханикой, астрономией. У нас был чудесный доцент Кирилл Петрович Котлов. Большой специалист. Он-то первым и заметил мое увлечение. Стал присматриваться, будто бы случайно рекомендовал интересную литературу по нашим первым спутникам и астрономии. Я ее читал, как приключенческую, и как-то все больше и больше узнавал о системе запуска и вывода на орбиту, о торможении и возвращении на Землю наших спутников. Даже о перегрузках в плотных слоях атмосферы и управления с полигона читал интересные работы. Это спасибо все ему, Кириллу Петровичу, — смог добиться для меня допуска к этой литературе. Время шло, диплом писался, и я уже готовился к защите. Какие были планы? Кончить и снова в полк на реактивные истребители. Меня такая перспектива вполне устраивала. Но все же где-то внутри мучило сомнение, самому себе боялся даже признаться, как хочется прикоснуться всерьез к космической технике. Даже в роли инженера. И вот как-то весной засиделся я в классе самоподготовки допоздна. Вдруг входит Кирилл Петрович, этакий торжественный, пахнущий тонкими духами. Надо сказать, был этот ученый большим модником в свои тридцать семь. Мы его галстукам особенно завидовали. Я поднял голову на скрип двери, поздоровался. Кирилл Петрович и говорит: «Что же, глубокоуважаемый Сергей Иваныч, а не пора ли перерыв на отдых сделать? Глядите, как за окном весна бушует. Не хотите ли соблазниться небольшой прогулкой?» Вышли мы из корпуса, а на западе уже закат догорает. Первые звезды, и луна такая добрая, приветливая. Я еще пошутил: рукой, мол, достать можно. Кирилл Петрович внимательно на меня посмотрел и без улыбки сказал: «Рукой не рукой, а луну достанем. Есть для этого более надежные средства. И вы еще, уважаемый Сергей Иванович, будете свидетелем того дня, когда человек с близкого расстояния рассмотрит нашу соседку, а потом и ногой на нее ступит». И такую он мне интересную картину первого полета на Луну нарисовал, что сердце дрогнуло. Мы задержались до поздних сумерек и ста-

ли прощаться. Я ему сказал «до свидания», а он улыбнулся и поправил: «Вероятно, не до слишком скорого».— «Почему?» — спрашиваю. «Завтра я уезжаю, глубокоуважаемый, куда — сказать не могу, адреса сообщить тоже не могу. Не исключено, что и фамилия моя больше открыто упоминаться не будет». Я сразу все понял — наш Кирилл Петрович уходит на секретную работу, связанную с запусками спутников. Он помолчал и спросил: «Скажите, Сергей Иванович, вот вы скоро окончите академию. Не хотели бы вы попасть в маленькую группу людей, которые будут готовиться к первым космическим рейсам?» И я дал согласие.

— Где же теперь этот Кирилл Петрович? — поинтересовался Дремов.

— Да космической техникой занимается.

— Здорово! — воскликнул Локтев. — Выходит, повезло тебе, Сережа, на знакомство.

— Тебе слово, Володя, — произнес Дремов.

Костров смахнул со лба черную прядь.

— А если я очень коротенько, ребята? Здесь и без меня столько уже историй рассказано. Вы мой путь в этот городок все знаете. Авиация, инженерная академия и отряд. Схема простая, если не вдаваться в подробности. А настоящее призвание к космонавтике я почувствовал не в тот день, когда пришел в отряд, и не во время тренировок в термокамере и сурдокамере. Это пришло значительно позднее, после беседы с нашим конструктором. Собрал он нас как-то и стал рассказывать о ближайшем будущем космонавтики. Не про галактики и световые года теоретизировал. Он нам жизнь свою рассказывал. Да так ярко, что пошевелиться боялись: казалось, самую интересную сказку слушаем. Была когда-то в матушке-Москве небольшая мастерская, и собирались в ней молодые мечтатели, первые инженеры нашего советского ракетостроения. Именовалось это объединение ГИРД, а если полностью, то группа изучения реактивного движения. Сами же инженеры, когда их посещало плохое настроение, по-иному расшифровывали это название: группа инженеров, работающих даром. И на самом деле — заработки маленькие, а энтузиазма хоть отбавляй. С того двора запускались первые небольшие ракеты на разных видах топлива. Первые пусковые площадки весьма отдаленно напоминали наш космо-

дром. В ту пору некоторые смотрели на занятия этих инженеров, как на забаву. Но наш знакомый конструктор и его друзья видели за этими опытами будущее: и спутники, и космические корабли, и полеты во Вселенную. Очень образно поведал об этом наш знакомец. А потом и другую картину нарисовал, что в ближайшее десятилетие произойдет, как будут совершенствоваться корабли, создаваться космические станции, как мы поднимем орбиту и к старушке Луне начнем подбираться. После этого я всю ночь размышлял о космосе. Если бы наш врач-психолог Рябцев узнал о моей бессоннице, он бы сказал: «По ночам космонавт должен спать, а не о далеких мирах думать!» Но он об этом не узнал, а я действительно, как мальчишка, размечтался. О чем? Мы постигаем космос с азов, пока что летаем вокруг оболочки земного шара. Но эти полеты — первые шаги, и они никогда историей не будут забыты. Сейчас космос — это огромное пустое пространство. Но оно сравнительно скоро будет обжито. Представьте себе такую картину: с космодрома запущено в один день десятка полтора кораблей. Они выходят примерно на одинаковую орбиту и встречаются в космосе. Из шлюзов появляются космонавты и выносят отдельные детали сооружения. И голоса по радио раздаются: «Игорь, дай соединительную скобу», «Олег, пройдись по шву автогеном». Несколько дней, и собрана первая орбитальная станция. А потом на нее на полгода и больше прилетают старшие и младшие научные сотрудники, ученые, и дело закипает. Станция изучает солнечные вспышки, радиацию, деятельность метеоритов. Потом на орбите собирается огромный звездолет и стартует, скажем, к Марсу, чтобы проверить гипотезы старика Уэллса. Будет это или не будет? Да, конечно же, будет. И человеческие голоса зазвучат в космосе. А потом мы или наши потомки проверят, есть ли жизнь на более далеких планетах, откуда идут световые сигналы. Я уверен, что живые существа во Вселенной есть. Но может, они настолько выше нас интеллектуально и создали такую высокую цивилизацию, что к нам отнесутся, как к муравьям. А может, они и на нас чем-то похожи, и мы установим с ними дружбу. Вы сейчас, ребята, посмеетесь и скажете — фантазирую. Но ведь если бы во время войны какому-нибудь нашему асу сказали, что в шестьдесят первом году летчик облетит по космической орбите земной шар, тот бы тоже назвал вас фанта-

зерами. Или возразил: «Что ты, парень! Чкалов и тот только мечтал «вокруг шарика махануть».

— Я тоже так фантазирую, — застенчиво промолвил плечистый Олег Локтев, — но ведь от фантазии до реальности один шаг.

— И мы его сделаем, — убежденно продолжал Костров. — Наша профессия станет тогда самой интересной и самой мужественной профессией. Мы вот сейчас пожимаем плечами, выходя из сурдокамеры. Подумаешь, провести несколько суток в одиночестве. А я полагаю, что это одна из самых ответственных для нас тренировок. Вы, ребята, только вообразите, каким надо быть закаленным психически, если тебя отправят в годичное, а то и двухлетнее путешествие в космос, и ты, может, не всегда будешь иметь связь с Землей. Вот какие мысли навеяла мне эта встреча...

— А он по двигателям или кораблям?

— Кто его знает, — улыбнулся Костров, — мы не уточняли. Что двигатели, что корабли — вопрос, Алеша, сам должен понимать, деликатный. Этот ведь конструктор — один из многих. Талантливый, скромный, умница. Мне кажется, если бы ты повстречался с ним в фойе Большого театра или на улице Горького, ни за что бы не подумал, что этот человек причастен к космической технике. Костюмчик на нем не крикливый, орденов и знаков различия никаких, изъясняется без всякой высокопарности.

Костров смолк и потянулся за остатками воблы. Дремов взглянул на Рогова.

— А шестая держава сегодня не заговорит?

— А почему бы и нет, — откликнулся Леня, — я как раз забавную штуку вспомнил. Дело было еще до полета Гагарина. Однажды пришел к нам в редакцию старик пенсионер, чем-то напоминающий складной метр, только что вынутый из древнего сундука. Стихи принес. Были там строчки, которые я вовек не забуду. Дедок этот еще тогда предвидел запуск человека в космос. Знаете, как он выразился по этому поводу?

Мы запустили в небеса
Не только спутник, но и пса.
И уж теперь не пьяной дракой —
Наукой славен мой народ.
О! Я хотел бы стать собакой,
Чтоб залететь за небосвод!

— Вот это дедусь, — захохотал Андрей, — вот так теоретик космонавтики!

Гости стали прощаться. Горелов ушел одним из первых. Ему хотелось тишины и одиночества. Морозный бодрящий воздух плеснулся ему в лицо. От дома, где жил майор Дремов, до его семнадцатого было немногим более ста метров. Но Горелов не спешил возвращаться в пустую квартиру. Долго ходил он в этот вечер по дорожкам городка, любуясь рябым от звезд небом. Тревожные мысли теснились в разгоряченном сознании. Он теперь уже многое знал о них, своих новых друзьях по службе. Знал и самого себя спрашивал: «А я? Смогу ли я стать таким, догнать их, заслужить их признание?» Спрашивал и не находил ответа. Ночью, беспокойно ворочаясь под одеялом, он продолжал сам с собой рассуждать: «Космонавт — это очень высокое звание. Это не только комок мускулов и мышц, не только сгусток мужества и воли. Космонавт — это прежде всего огромная интеллектуальная культура». Вот бы о чем надо было ему сказать на «большом сборе»! Но разве имел сейчас на это право Алеша Горелов?!

* * *

Термокамера, известная всему миру по многочисленным очеркам и фотоснимкам, находилась в цокольном этаже учебного корпуса. Два низких окна снаружи почти совсем не заметны, зато света для лаборатории они дают достаточно. Если мимо проходят люди, они видны по пояс. Зимой прильнувшие к окнам сугробы едва позволяют увидеть из комнаты черные стволы сосен. Комната большая, тесно заставленная столами, на них размещены приборы. Каждый день к началу рабочего дня приходит сюда худощавый немолодой подполковник Сергей Никанорович Зайцев и вместе со своей помощницей, лаборанткой Олей, готовится к опытам. Если нет опытов (как их называет Зайцев), или тренировок (как их называют космонавты), работы у него все равно хватает. Надо расшифровывать и систематизировать записи осциллографов, приводить в порядок документацию, анализировать данные опытов, чтобы по ним составить точное представление о физической сопротивляемости космонавтов высоким температурам.

Просто тут все. Кушетка под белоснежной простыней, над нею аптечка, где на всякий случай хранятся противо-

ожоговые средства и лекарства. На вешалке кислородная подушка, шинель Зайцева да пальтишко лаборантки. Рядом медицинские весы. Весь этот уголок отгорожен матерчатой ширмой. За нею обычно раздеваются космонавты, прежде чем укрепить на себе электродатчики и уж потом, облачившись поверх них в обычные хлопчатобумажные летные комбинезоны и унты, ступить в камеру.

На самом большом столе смонтирован пульт управления. На щите несколько рядов кнопок, снабженных лаконичными надписями, часы, указатели температуры и влажности в камере. На другом стенде приборы, показывающие температуру кожи и тела испытуемого. За их показателями с обостренным вниманием следит белокурая, всегда очень серьезная лаборантка Оля.

Сама термокамера разделена на два отсека: одиночный и двойной. Три человека могут одновременно очутиться за ее жароустойчивыми стенами. Мрачное впечатление производят массивные тяжелые двери с ручками: как у банковских сейфов, с квадратными окошечками, затянутыми толстым плексигласом. Легко и бесшумно отворяются они. Перешагни порог — и ты окажешься в мире огромных температур.

Сегодня такой шаг предстоит сделать старшему лейтенанту Горелову. Он войдет в термокамеру впервые. Потом появится Женя Светлова, продолжающая по программе свои тренировки. Сергей Никанорович обожает новичков, с ними можно поговорить о всех тонкостях любимого им дела, уж они-то будут ловить каждое его слово.

Алексей ожидался в термокамере в четверть десятого. Ровно в девять в дверь лаборатории постучали. Зайцев открыл задвижку замка и разочарованно отступил. Порог перешагнул Леня Рогов. Журналист сразу заметил, как вытянулось лицо у Сергея Никаноровича.

— Я вижу, мое появление не вызвало восторга, — усмехнулся он, протягивая руку.

— Да нет, отчего же, — глядя в сторону, ответил Зайцев.

— А я-то торопился, боялся опоздать на сеанс Жени Светловой.

— Сеансы бывают в кино, — сухо заметил Зайцев, — а у нас опыты. И между прочим, опыт с Евгенией Яковлевной назначен на одиннадцать тридцать.

— Вот как, — огорченно протянул Рогов. — А что же будет сейчас?

— Будем проводить пробу с Гореловым.

Рогов вздохнул:

— С вашего разрешения я подойду к одиннадцати.

— Пожалуйста, — ответил Зайцев и попросил лаборантку: — Оленька, закройте за товарищем дверь...

Не успел Зайцев сесть за свой столик, как снова постучали, и на этот раз в лабораторию вошел Горелов. Синий спортивный костюм делал его фигуру еще худощавее, строже. Алеша поздоровался, потом подошел к Оле и положил перед ней букетик желтых цветов.

— Японская мимоза! Ой какая прелесть! — воскликнула девушка.

— Почему японская? — возразил Алексей. — Самая настоящая московская. Вчера у метро «Динамо» купил.

Зайцев искоса на них поглядывал. В чуточку выпуклых блеклых глазах хмурости как не бывало. Сергей Никанорович любил все красивое. Сам он был садоводом, немножко фальшивя, но зато самозабвенно играл на скрипке. В оценке космонавтов у него был свой особый критерий. Зайцев считал, что физическая закалка, теоретическая подготовка — это, конечно, очень важно. Но не менее важно и другое — личные, чисто человеческие качества: доброта, душевность, умение держать себя, то есть все то, что называют иногда коротко обаятельностью. «Чем покорил весь мир после своего первого полета Гагарин? Конечно же своим подвигом, но и обаятельность сыграла тут далеко не последнюю роль», — говорил он.

С первого взгляда новый космонавт пришелся Зайцеву по душе. Ему нравились и его чуть курчавившиеся волосы, и курносое, открытое, истинно русское лицо, и белозубая улыбка, и эта простота и непринужденность в обращении, без малейшего налета развязности, с какой он подарил Оле цветы.

— Ну, Алексей Павлович, настало нам время и поговорить.

— Я слушаю вас, Сергей Никанорович.

— Садитесь-ка напротив, — указал Зайцев на стул. Жиденькая цепочка его бровей над выпуклыми глазами пришла в движение. — Вы сейчас находитесь в лаборатории, именуемой термокамерой, — начал он торжественно. — Наша космическая медицина — наука еще молодая,

и некоторые ее представители утверждали, что человеческий организм для перенесения высоких тепловых нагрузок якобы нельзя тренировать. Лично я всегда придерживался иной точки зрения. Я считаю, что разумно спланированные тренировки в термокамере не только позволяют выяснить возможности организма, но и закалить его.

В глазах Горелова мелькнул какой-то огонек. Зайцев заметил это.

— Вы, кажется, хотите что-то спросить?

— Да, Сергей Никанорович, — заерзал на стуле Горелов, — я подумал: когда космический корабль входит в плотные слои и у него сгорает термообшивка, сколько градусов по Цельсию бушует за его бортом? Больше десяти тысяч, кажется? Так если такая температура даже на секунду ворвется в кабину, никакая закалка в термокамере не спасет.

— Это верно, — бесстрастно подтвердил Зайцев, — было бы смешно рассчитывать, что термотренировки тут пригодятся. Они предназначены для другого. Представьте себе, откажет система терморегулирования или, еще хуже, корабль потеряет управление. Значит, снижение пойдет по естественной орбите, корабль тогда сделает несколько лишних оборотов вокруг Земли, прежде чем войдет в плотные слои. И тут температура может повыситься. Закаленный организм ее выдержит, слабый — погибнет. Поняли?

— Понял, — кивнул головой Горелов.

— У нас в полетах этого не было, — продолжал Зайцев, — термосистема на кораблях работала идеально. А вот Гленну и Карпентеру — тем пришлось попариться. И лучше поэтому на земле готовиться к разным неожиданностям, вот за этими дверями, — показал Сергей Никанорович на отсеки, — так надежнее. Да закалка и в других случаях важна. Будете лучше себя чувствовать, проходя плотные слои, когда температура в кабине может подняться. И частичная разгерметизация тоже возможна.

Зайцев умолк и некоторое время испытующе смотрел на Горелова. Алеша сидел спокойно и ждал. Тогда Сергей Никанорович попросил Горелова обойти все стенды, ознакомиться с оборудованием кабины, хотя это оборудование Алексей уже изучил на занятиях. Только после этого Зайцев произнес опять тем же торжественным голосом:

— Переходим к опыту. Он продлится у нас сегодня двадцать минут.

— Так мало! — воскликнул простодушно Горелов. — Дали бы хоть сорок.

— Дух соревноваиия здесь неуместен, — осадил его Зайцев, — это я раньше по иеопытности ему поддавался. Однажды до беды чуть ие дошло.

— Как же это случилось, Сергей Никаиорович?

— Довольио-таки банальио. Пришли на опыт два дружка, сели в отсеки и начали меня, что называется, заводить. Одному было иазиачено пятьдесят минут сидеть, ои час выпросил. Другой — час десять. Потом все больше и больше. Сидел в отсеке капитан Слава Мирошииков спокойио и никому в голову не могло прийти, что держится он из последиих сил. А вышел из отсека и упал, не дойдя до кушетки.

— Я зиал Славу Мирошникова, — сказал Алеша. — Провожал его из городка, а теперь в его квартире живу.

— Достойиый был юноша, — вздохнул Зайцев, любуясь добрым лицом Алексея, — жалко вот только подкачало здоровье... Ну а что касается вас, то я уже слыхал о ваших хороших показателях на физподготовке. Сорок минут не обещаю, а до тридцати увеличу. Вы все же мужчина, Алексей Павлович. Это вот Жеиечка Светлова придет, ей после перерыва больше двадцати ни за что не дам.

Алешу провели за ширму. Там на него были наложены многочислеиные датчики: одии в виде электродов, другие приклеивали прямо на тело лейкопластырями. В мохнатых уитах и сером летном комбииезоие вышел он из-за ширмы.

Тем времеием в лаборатории появились еще трое: техиик-приборист, дежуриый врач и лаборант Федя. Под иаблюдеиием Зайцева Горелову замерили давление крови, температуру. Сквозь зубцы осциллографа побежала синяя леита, на ией возникла длиииая лииия кардиограммы.

— Исходиые данные в порядке, — отметил Зайцев. — А теперь, Алексей Павлович, в камеру.

Он открыл дверь одиночного отсека и глазами указал космоиавту иа вмонтированиое в пол самолетное кресло.

* * *

Горелов опустился на сидеиье, придал ему небольшой иаклон. По рассказам Кострова и Субботина он уже зиал,

что в таком положении легче переносить жару. В огромной черной трубке, что была за его спиной и поднималась от пола вверх, коленом изгибаясь у потолка, бушевал горячий воздух. Под сиденьем кресла находилась термонепроницаемая прокладка. Горелов поудобнее вытянул ноги в мягких унтах.

— Всё?

— Всё, — откликнулся Сергей Никанорович и показал на висевший над входной дверью динамик, — у нас многие любят при этом музыку. Включить?

— Не стоит, — сказал Горелов. — Все хорошо, Сергей Никанорович.

Дверь захлопнулась, и Алеша остался в отсеке один. Он с интересом осматривал прочные стены, не пропускающие сюда извне воздух. Посмотрел на белую кнопку переговорного устройства, позволявшего всем, кто находился за дверью, слышать каждое слово, сказанное космонавтом.

Взгляд его остановился на щитке приборов. В круглые гнезда были вставлены окончания проводов от датчиков, укрепленных на его теле. Они соединяли каждый толчок его сердца с умными машинами, производящими запись. На щитке — кнопка сирены. Нажми ее, и на пульте управления тревожно замигают красные лампочки, а в лабораторию ворвется зуммерящий сигнал. Но еще никто из космонавтов не прибегал к услугам этой кнопки — все выдерживали испытание.

Свободно откинувшись в кресле, Алеша глядел в затянутое плексигласом окошко. За дверью у окошка хлопотал дежурный врач. Он откинул вделанный в дверь с внешней стороны столик, положил на него медицинский дневник, куда должен был заносить записи о своих наблюдениях за Гореловым. Из лаборатории за космонавтом следили сейчас все. В квадратном окошке возникало то сосредоточенное лицо дежурного врача, торопившегося сделать очередную отметку в журнале, то белокурые локоны Оленьки, то сам Зайцев, одобрительно кивавший головой.

В камере было жарко, но эта жара, сухая и устойчивая, не действовала на Горелова изнуряюще, и он решил, что его лишь готовят к высокой температуре, и удивлялся, почему прошло так много времени, а настоящую большую жару он еще не почувствовал. Зашел Сергей Ника-

норович, замерил давление и вышел настолько быстро, что Алексей даже не успел его спросить, когда же дадут настоящую большую температуру.

В дверное оконце он видел, что три человека — лаборантка Оля, дежурный врач и Зайцев — о чем-то оживленно беседуют, жестикулируют, улыбаются. По рассказам того же Кострова он знал, что обычно человек, впервые попав в термокамеру, сначала обильно потеет, потом бледнеет, под глазами у него появляется отечность, а к концу опыта лицо иногда приобретает синеватый оттенок. У Горелова губы были все еще сухи, и лишь на лбу появилась испарина. Когда Зайцев зашел к нему вторично измерить давление крови, Алексей спросил:

— Сергей Никанорович, когда же вы настоящую температуру дадите?

— Батенька вы мой, — засмеялся Зайцев, — да у меня наушники так накалились, что, того и гляди, ожоги получу, а вам все мало. Вы уже двадцать восемь минут под термовоздействием, и на довольно суровом режиме.

— Не может быть! — удивился Горелов.

Ему вдруг вспомнился полет наперехват, отказ двигателя и та одуряющая, туманящая сознание жара, что хлынула тогда в кабину реактивного истребителя, едва не лишив его сознания. Разве ее можно сравнить с этой тренировкой? Только в последние минуты почувствовал Алексей некоторую тяжесть. Его одежда стала тяжелой от пота, но дышать было все же нетрудно, никаких для этого усилий не требовалось.

Внезапно шум в черной трубке смолк, дверь распахнулась, и Зайцев провозгласил:

— Опыт закончен, Алексей Павлович. Поздравляю с крещением и превосходными результатами!

В лаборатории Горелова взвесили — сначала в пропитанной пóтом одежде, затем без нее. Оказалось, он потерял семьсот граммов. Температура после тренировки была чуть повышенной. Оля захлопала в ладоши.

— Алексей Павлович, браво! С таким организмом хоть на Марс, хоть на Луну...

Обследованный врачами Алексей покинул лабораторию. Зайцев был настолько обрадован удачным опытом, что Женю Светлову встретил довольно рассеянно, чего с ним никогда не случалось. Сама Женя едва ли обратила на это внимание. Здесь она уже не считалась новичком.

А короткое, всего в двадцать минут, пребывание в отсеке ей запланировали потому, что у нее был перерыв в тренировках. С помощью Оленьки она быстро приготовилась к опыту и вышла из-за ширмы в кирзовых сапогах, с ног до головы окутанная проводами датчиков. На ее голове был черный шлемофон. В левой руке девушка держала пучок проводов. Федя расстегнул рукав ее комбинезона и закатал его выше локтя, чтобы наложить жгут. Ему надо было замерить кровяное давление. Худенькая тонкая рука лежала послушно на столе. Женя сидела, чуть ссутулив хрупкие плечи. На остроносом лице пробивались веснушки. Шлемофон, этот суровый головной убор летчиков, никак не сочетался с нежностью ее лица.

Появился чуть припоздавший Рогов. Решив не смущать Женю своим присутствием, он сел на круглый табурет в самом дальнем углу. Но Женя заметила его и беспокойно обернулась. На какое-то мгновение их глаза встретились, и Рогов неуверенно кивнул. Тонкие губы девушки едва приметно дрогнули.

Зайцев ласково потрепал ее по плечу:

— Женечка, нам пора.

Она встала, придерживая левой рукой пучок проводов, в правой руке у нее была книга.

— Концерт Чайковского в камеру дать? — осведомился Зайцев.

Девушка отрицательно покачала головой:

— Ничего не надо. Читать буду.

Тяжелая дверь в камеру захлопнулась.

Спустя минут пять Рогов подошел к окошку. Увидел часть отсека и кресло с космонавткой. Женя сидела, откинувшись на спинку, на ее коленях лежала раскрытая книга. Вот лицо ее порозовело: давала себя знать температура. Женя полотенцем отерла пот. Вскоре ей снова пришлось взяться за полотенце... Леня Рогов стоял в стороне и думал: «Как бы узнать название книги? Это же здорово можно обыграть в очерке! Блестящая деталь. Девушка среди адской жары спокойно читает... ну кого... Пушкина, Тургенева, Блока, может, Маяковского».

Незаметно истекло время опыта, и Женя с книгой в руке проследовала из камеры мимо Рогова. Сопровождаемая Олей, она скрылась за ширмой, откуда вслед за тем донеслось легкое шуршание сбрасываемой одежды. Один раз лаборантка неосторожно приоткрыла край ширмы, и Леня

увидел голую спину девушки. Ему стало неловко, он встал и вышел из лаборатории.

Когда Рогов возвратился, Светлова была уже одета.

— Последняя формальность, Женечка, — попросил Зайцев, — еще раз термометр под язычок.

Девушка согласно кивнула головой, придвинула к себе стул. Оля протянула ей тонкий градусник. Светлова взяла его в рот, и вдруг лицо ее страдальчески исказилось.

— Что такое? — всполошился Федя.

— Неужели градусник попал в раствор Ц? — воскликнула Оленька, которой часто мерещились ужасы.

— А ну-ка, дайте его мне, — решительно распорядился Зайцев и протянул руку.

Продолжая морщиться, Женя положила на его ладонь термометр. Зайцев сунул его тонким концом в рот и произнес:

— Ничего особенного... это же спирт. Чистейший медицинский спирт.

В лаборатории грянул дружный смех.

— Да ну вас, — отмахнулась космонавтка, — откуда же мне было знать! Чуть не задохнулась... я за всю свою жизнь ничего такого не пробовала, кроме шампанского.

Рогов вышел из комнаты. Прохладный коридор цокольного этажа был пуст. Шаги гулко впечатывались в тишину. В раздевалке он не торопясь снял пальто с вешалки. Ему уже некуда было спешить. Кое-что он обязательно запишет сегодня вечером в блокнот. Сцена в термокамере — это живой материал...

Рогов разматывал красный широкий шарф. Шорох за спиной не привлек его внимания. Мало ли кто мог одеваться рядом... Рогов обернулся и замер. В двух шагах от него надевала свое белое меховое пальто Женя. Они были одни в раздевалке, и пройти молча мимо нее Рогов посчитал неловким. Он решил дождаться, пока она выйдет из раздевалки. Но и Женя не торопилась. Подошла к зеркалу, поправила выбившиеся из-под теплого платка светлые прядки волос и внезапно улыбнулась.

— Между прочим, я читала сейчас вашу книгу «Тропы Алтая», — сказала она.

— Ну и как?.. — совершенно растерянный, никак этого не ожидавший, спросил Леня.

— Очень вы скучно написали о целинниках: ни людей, ни природы, ни сюжетов интересных...

У Рогова поплыли перед глазами зеленые круги. Собрав не без труда всю свою выдержку, он проговорил:

— Ну что же, спасибо за откровенность.

Светлова быстро прошла мимо опустившего руки журналиста, остановилась в дверях и мягко закончила:

— Только вы не обижайтесь, товарищ Рогов. Ваши очерки об Алтае действительно слабые... а вот репортажи с южного полюса и путевые заметки об Индии замечательно написаны. Ну, извините, я побежала на астрономию.

* * *

Запоздалый московский рассвет вползал в комнату сквозь давно не глаженные пыльные занавеси. На часах было семь, и металлический корпус будильника сотрясался от звона. Рогов стремительно вскочил с мягкого широкого дивана, зажег ночник. Комната наполнилась бледным светом. В ней ощущалась сумятица, свойственная обычно жилищам, где женская рука не прикасается ежедневно к мебели и некому убрать лишние, не на месте оказавшиеся предметы. Тонким слоем лежала беспощадная пыль на телевизоре, коричневой крышке пианино, на подрамниках картин, слабо освещенных ночником, свет которого смешивался с серым и тусклым светом наступающего дня. В дальнем темном углу стояло белое чучело. Было оно когда-то живым пингвином Васькой, вывезенным с Южного полюса. Походил, походил смешной и важный посланец антарктических льдов по квартире, да не выдержал тоски по собратьям и унылой московской зимы с мокрыми снегопадами. Нашел его хозяин однажды лежащим на полу с распахнутыми крыльями. Но расстаться не захотел. Вот и стоит он теперь белым чучелом в углу.

Рогов не спеша оделся, напился чаю, потом убрал постель и как человек, у которого много неясностей, присел на мгновение на диван и задумался. Мысли его были о Жене Светловой. Вот уже несколько раз порывался он набросать ее литературный портрет. Однако все выходило как-то тускло.

И вдруг незаметно для самого себя Рогов впервые подумал о Жене Светловой не как о будущей космонавтке и героине его очерка, а просто как о понравившейся ему девушке. Вспомнил, как Женя играла в бильярд. Ка-

жется, тогда от нее можно было ждать любой дерзкой выходки. Игорю Дремову, во всяком случае, досталось. И тут же представил ее в термокамере: тихую, всю какую-то собранную, терпеливо переносившую адскую жару. Память подсказала и другое: обнаженную спину Жени, мелькнувшую за занавеской ширмы в лаборатории. «Уж не влюбился ли я?» — подумал Леня. Он встал и прошелся по комнате. Искоса посмотрел на свое отражение в зеркале. Лысоватый лоб бугрился под редкими волосами, глаза были сосредоточенные и грустные. Он покачал головой: «Тебе ли ловить такую жар-птицу! Нет, у этой Джульетты будет другой Ромео».

* * *

Рогов взбежал по лестнице учебного корпуса на второй этаж. Дверь радиокласса была украшена табличкой: «Идут занятия», но он не обратил на нее внимания. Приоткрыл дверь и вошел. В совершенно пустом классе за первым столиком сидела Женя Светлова и выстукивала на быстроту заданный текст. Тонко и ритмично позвякивал ключ. Как ни старался Рогов двигаться тихо, но, садясь, в дальнем конце класса за столик, он скрипнул стулом. Женя быстро обернулась, хмуро кивнула ему и продолжала выстукивать. На Лене был сегодня строгий черный костюм. К лацкану пиджака привинчена его единственная награда — медаль «За отвагу». Вечером Рогову предстояла встреча с товарищами, с которыми он служил в полку: вот почему он был сегодня такой торжественный.

Светлова внезапно поперхнулась коротким смешком. Звуки морзянки стали четче. Ключ под ее рукой так и пел: «Ти-та, ти-та, та-ти-та». Леня внимательно вслушивался в передачу, карандашом быстро заносил слова на бумагу. Вот Женя закончила передачу и обернулась всего на секунду. В серых глазах ее мелькнула усмешка. Лене не надо было разгадывать смысл этой усмешки. На столе перед ним лежал текст, который передавала Женя: «Смешной и напыщенный корреспондент. Сидит с индюшиной важностью и ничего не понимает. Передачу вела Светлова».

Рогов, стараясь держаться серьезным, быстро перевел на своем столе ключ в рабочее положение, и, пока девушка готовилась к передаче нового текста, застучал — четко

и уверенно. Точки и тире посыпались градом. Женя удивленно пожала плечами и стала принимать. Через три минуты мочки ее ушей уже пылали. Она расшифровала текст, принятый от Рогова.

«Дерзкая девчонка! Я делаю вам замечаиие за иепростительную самоуверенность и словесный мусор в эфире. Передачу вел Рогов».

Жеия отбросила караидаш и повернула к иему смеющееся лицо.

— Товарищ Рогов, вы меня убили наповал. Только не обижайтесь иа меия...

— Да что вы! — улыбнулся Леня. — Я ие сердитый. Но как видите, вынуждеи был наказать вас за иепочтение к старшим.

— Да, — согласилась Жеия. — Никогда бы не подумала, что вы так чисто работаете. Наш преподаватель безусловио поставил бы вам пятерку. Один — иоль в вашу пользу...

Леия потрогал узел галстука и, пользуясь ее хорошим иастроеиием, решительио произиес:

— Победитель требует в знак капитуляции выполиить некоторые условия.

— Сколько же их, этих условий? — поинтересовалась Светлова. — Надеюсь, не слишком много?

— Только одно. Первое и последнее. Сорокамииутная беседа.

— О чем же я должна беседовать с вами?

— О своей жизии, Жеия.

Светлова поднялась из-за столика и подошла к Рогову.

— Хорошо, я согласна, — ответила оиа коротко, — но если я потерпела поражение, то хочу в свою очередь знать и его причину. Где вас так иаучили морзянке?

— В армии, — объяснил Рогов, — я же был стрелкомрадистом иа бомбардировщике.

— А медаль «За отвагу»?

— Тоже в армии.

— Странно, — протянула оиа, нахмурив лоб. — На вид вам едва ли больше тридцати. Зиачит, на войне вы быть не могли.

— В мириое время иногда тоже награждают.

— Да. Но чтобы получить медаль «За отвагу», эту отвагу надо проявить.

— Очевидно, те, кто меня наградил, сочли, что я ее проявил, — улыбнулся Леня.

— Как же это случилось? — спросила Светлова, садясь напротив.

— Очень и очень просто. Я летал стрелком-радистом на дальнем бомбардировщике. Гоняли новые машины на предельную дальность. Под крылом — то берега Северного Ледовитого океана, то приамурские степи, то горы Кавказа... А в официальном наградном документе сказано было весьма лаконично: «За освоение новой авиационной техники наградить сержанта Рогова медалью «За отвагу». Вот и все.

— Боже мой, как вы скучно рассказываете!

— Что поделаешь, — вздохнул Леня, — вероятно, журналисты могут только задавать вопросы, но не отвечать на них. Вот я и приступлю теперь к этому, Женя. Расскажите о своем детстве и о том, как жили вы до приезда в этот городок.

* * *

В детстве Женя Светлова очень любила цветы и стихи. После летних каникул она приносила в школу богатые гербарии. Между плотными листами альбомов можно было найти красные лепестки рододендрона, редкие цветки бамбукового дерева, белые листья магнолии, огненные маки, скромные васильки, пышные субтропические гортензии...

Поэзией она увлекалась так же самозабвенно, как и цветами. Наизусть знала многие стихи Блока, Есенина, Маяковского, Пушкина... Когда школьные подружки охотились в десятом классе за тонкими книжечками некоторых модных молодых поэтов, она пожимала плечами и говорила им словами Есенина: «Все пройдет, как с белых яблонь дым».

В небольшой комнатке, где стояла ее кровать, она повесила на стене портреты самых разных поэтов. Маяковский соседствовал с Есениным, Пушкин и Лермонтов попали в окружение Байрона и Гейне. Задумчивый Фет смотрел с противоположной стены на своего «визави» — Некрасова. Когда Женю спрашивали, почему она не пишет стихи сама, девушка отвечала:

— Зачем менять прочную позицию читателя на шат-

кую позицию автора-неудачника? Разве от этого, ребята, что-нибудь выиграешь?

У нее была добрая мать и такой же добрый отец — Яков Прокофьевич, со спокойным взглядом серых бесхитростных глаз, чуть сутулый оттого, что много времени на своем веку провел за станком. Женя родилась в начале сорок второго, но Яков Прокофьевич увидел ее лишь в августе сорок шестого, когда вернулся в свой маленький домик с войны. Отдохнув, он пошел работать на тот же самый «Красный металлист», с которого уходил на фронт. Снова его имя стало появляться на Досках почета, а иногда и на столбцах городской газеты. И на одном из собраний директор «Красного металлиста» Ветлугин, сам в прошлом кадровый рабочий, сказал, что на таких, как Яков Прокофьевич Светлов, не только завод — Советская власть держится.

После войны Женин отец с десяток лет проработал в цехе. Однажды вызвали его в горком партии, спросили, что делал на фронте. Помялся Яков Прокофьевич и довольно-таки определенно ответил:

— Все, что приказывали.

— А что же приказывали? — заинтересовался первый секретарь.

— Всякое. Сначала рядовым был. Назначили командиром отделения — принял отделение. Убили в атаке командира взвода — на его место встал. В сорок третьем послали на шестимесячные курсы политработников. Вернулся с них и до самого конца войны в замполитах командира стрелкового батальона проходил. В смысле опасности — разница маленькая. В пехоте не спрячешься. Что комбат, что заместитель по политчасти, что боец рядовой — в наступлении все равно в одной цепи идешь.

— Вот и останетесь в рабочей цепи, — серьезно заключил первый секретарь, — парторгом ЦК на завод пойдете.

В том же месяце перешел Яков Прокофьевич на новую работу. Забот теперь прибавилось, и нередко он возвращался домой в поздний час, даже с Женей не успевал поговорить. Училась девочка прилично, но отца и мать беспокоило какое-то дерзкое выражение в ее глазах, какого они не примечали за ней раньше. Она смеялась, если мать просила ее пораньше возвращаться домой, потому что на их заводской окраине еще не перевелись хулига-

ны, отмахивалась от родителей, если они убеждали ее не заплывать далеко, когда она купалась в быстром, широченном Иртыше.

Яков Прокофьевич в субботние дни и дни получек любил вместе с прежними дружками по цеху забрести иной раз по пути домой к голубому ларьку, выпить одну-другую кружечку янтарного пивца. В один из таких дней его окликнул седой как лунь табельщик Петрович, которого четвертый год не могли всем заводским коллективом уговорить выйти на пенсию. На седых усах Петровича таяла пивная пена.

— Яша, а Яша, — поманил он Светлова.

— Чего тебе, Петрович? — чуть насмешливо спросил Светлов. — Пену с усов отряхнуть, что ли?

— Пену я и сам отряхну, — хмыкнул старик, — а вот ты бы того... за дочкой своей присматривал.

— А что? — встрепенулся Яков Прокофьевич, ощутив неясную тревогу.

— Мост через Иртыш знаешь?

— Какой — железнодорожный или автотранспортный?

— Железнодорожный охраняется. Я тебе про автотранспортный толкую. Сколько там, по-твоему, от верхних перил и до воды будет?

— Не считал. Около двадцати, наверное.

— Так вот прыгала с тех перил твоя Женька в воду. Своими глазами видел.

У Якова Прокофьевича захватило дух.

— Да я ей!..

Домой он вернулся туча тучей. Женя сидела за письменным столиком над учебником геометрии. Тоненькие свои косички за то, что они плохо отрастали, она отрезала и стянула жидковатые волосы на затылке. Мать это одобряла, отец — нет: косы ему нравились. Сейчас это ему показалось совсем нетерпимым. Но Яков Прокофьевич сдержался и, насупив лохматые брови, спросил:

— Ты что же, дочка, в воздушные гимнасты собралась поступать после десятилетки.

— Нет, папа, — не отрываясь от тетрадок, кротко ответила Женя, — если не срежусь по геометрии, в пединститут, на физико-математический факультет пойду.

— Ты мне своими факультетами зубы не заговаривай! — прикрикнул он. — Мать, пойди-ка сюда! Ты знаешь,

какой нам сюрприз доченька преподнесла? Вчера с автодорожного моста в Иртыш прыгнула.

— С этого высоченного?! — всплеснула руками мать.

— Вот именно, с него. Кто же тебе это разрешил, героиня нашего времени? А?

Женя закрыла лежавшую перед ней тетрадь и, встав со стула, спокойно посмотрела отцу в глаза.

— Ты, папочка!

— Я? — Яков Прокофьевич от такой дерзости даже попятился.

— Да, ты, — повторила Женя. — Помнишь свои три заповеди? Я тебе их напомню. Заповедь первая: если растерялись или дрогнули товарищи и надо показать им пример, будь впереди. Заповедь вторая: никогда на полпути не останавливайся. Заповедь третья: всегда говори правду... Твои слова это или не твои?

— Кажется, мои.

— Вот я им и последовала, — быстро заключила Женя.

На мосту же произошло вот что. Готовясь к очередному экзамену, ребята устроили перерыв и убежали на песчаную речную отмель купаться. Оттуда любовались проплывающими теплоходами, поездами, что с грохотом проносились по железнодорожному мосту. Одноклассники Жени — Миша и Жора — заспорили, что прыгнут с такого же высокого, как и железнодорожный, автотранспортного моста в реку. Мост находился поблизости от того места, где они купались. Женя и ее подруга Ленка стали над мальчиками подтрунивать. Тогда ребята, наскоро одевшись, направились к мосту. Жора первым заглянул вниз через перила. Иртыш бурлил и пенился, хотя и был в этом месте несколько поспокойнее.

— За чем же стало дело? Раздевайся и прыгай, — предложила Женя, но Жора отпрянул от перил и пробормотал:

— Пусть Мишка первый.

Однако Мишка отрицательно покачал головой.

— Эх вы! А еще мужчины! — сказала Женя презрительно. — Хвастуны вы и трусы, вот кто!

— Может быть, ты прыгнешь? — огрызнулся Жора. — Храбрая!

— Я? — Женя уничтожающе взглянула на них. — А вот и прыгну.

На глазах у ошеломленных ребят она сбросила с себя ситцевый сарафанчик и туфли. Смело вскарабкалась на перила. Свежий теплый ветер обрадованно плеснул ей в лицо, а высота будто звала.

— Женька, сумасшедшая, остановись! — донесся испуганный Ленкин голос.

Женя увидела далеко внизу серую, рябую от солнечных бликов воду. «Метров пятнадцать, не меньше», — мгновенно оценила она. Железные перила, нагревшиеся на июньском солнце, обжигали ноги. По мосту с грохотом проносились грузовики. Водители с удивлением высовывались из кабин и смотрели на хрупкую девичью фигурку, приготовившуюся к прыжку.

— Раз, два — пли! — решительно выкрикнула Женя и оттолкнулась от перил.

Она прыгнула ногами вниз, вытянув руки по швам. Ветер устрашающе загудел в ушах. На мгновение Жене показалось, что она теряет равновесие. Она инстинктивно развела руки в стороны и скорее почувствовала, чем увидела, что Иртыш рядом. Наконец он все закрыл перед ее глазами. Женя не видела решительно ничего, кроме его серой бурлящей поверхности, и поняла, что самое ужасное мгновение наступило. Девушка сильнее прижала руки к бедрам и в этот миг ноги ее коснулись воды. Обжигая бедра и плечи, она глубоко погружалась в нее. Но теперь уже было не страшно. Открыв глаза и задержав дыхание, Женя увидела совсем близко всполохнувшийся косяк рыб, зеленый подводный мир реки. Инстинкт подсказал ей, что надо раскинуть руки. Зеленое мелькание в глазах прекратилось, и новая сила потянула ее вверх. Молоточками в голове стучала мысль: «Ничего, река. Ты вовсе не страшная, река. Ты не возьмешь меня, как взяла в свое время Ермака в тяжелой кольчуге. Неужели мне не хватит дыхания? А как же охотники за жемчугом? Им же труднее».

Работая руками и ногами, она всплыла на поверхность, увидела голубое свежее небо и облегченно вздохнула. Иртыш бережно пронес ее между двумя каменными быками. Лежа на спине и слабо шевеля руками, Женя увидела своих друзей, перебежавших на другую сторону моста. Они ей махали, ошеломленные и встревоженные. Она также помахала им из воды и, собрав силы, поплыла к берегу вразмашку, не противясь уносившему ее течению.

Примерно в полукилометре от моста Женя выбралась на берег. Голова кружилась. Издали черный мост казался великаном. «Неужели это я с самой его верхотуры?» — подумала Женя, и у нее захолонуло сердце от страха. Но лишь на секунду, не больше. А затем пришла радость, огромная радость покоренной высоты, и мост уже не казался страшным.

По берегу к ней во весь опор бежали ребята. Ленка отставала, долговязый Жора, лучший в школе волейболист, и боксер Миша пришли первыми. Запрокинув голые гибкие руки, Женя поправляла мокрые волосы. Небрежно спросила:

— Ах, это вы, мальчики? Ну что, нытики-хнытики, барахлишко принесли? Давайте его сюда, рыцари вы мои милые.

История с ее прыжком наделала в школе много шуму. Педагоги отнеслись к Жениной выходке по-разному.

— И она осталась жива? — спросил флегматичный учитель естествознания.

— Какая метаморфоза! — воскликнул более эмоциональный химик. — Кто бы мог подумать, что эта хрупкая девочка способна на такое!

— У этой Жени Светловой характер Жанны д'Арк! — воскликнула черноглазая историчка Вера Иосифовна.

— Ради бога, — развел руками директор, — не говорите так ребятам, иначе сумасбродная выходка Жени станет у нас эталоном мужества для всех старшеклассников.

Осенью Женя поступила в педагогический институт, но не на математический факультет, как предполагала, а на литературный. Той же осенью ее приняли и в аэроклуб.

О первом прыжке с высоты восемьсот метров с парашютом она никогда не вспоминала. Слишком он показался будничным. Все было обычным, столько раз прорепетированным на земле.

Не прошло и года, как Женя Светлова выдвинулась в число лучших парашютисток аэроклуба. На майские праздники несколько ее подруг должны были совершить групповой прыжок. Жене Светловой и инструктору аэроклуба Владимиру Гребневу поручалось показать затяжной.

— Высотенка у вас будет на сей раз приличная, — напутствовал их начальник аэроклуба, — три тысячи метров. Прыгать будете с интервалом в одиннадцать секунд. Греб-

нев, как более опытный, раскрывает парашют на высоте шестьсот метров, Светлова — на высоте восемьсот метров. Накануне получите полный штурманский расчет.

Женя плохо спала в эту ночь. Снился ей черный мост через Иртыш, она, босоногая, прыгает сверху в быстротечную реку и летит, летит, не достигая поверхности...

На аэродром она приехала рано, с твердым решением, известным одной только ей.

Маленький зеленый Ан-2 поднял их в воздух и долго набирал высоту. Начальник аэроклуба, сидевший в пилотской кабине на правом кресле, вышел к ним. Борттехник распахнул дверцу. Гребнев и Женя встали, поправляя на себе зеленые мешки, проверяя в последний раз кольца основного и запасного парашютов.

— Пошел, — громко сказал начальник аэроклуба, и Гребнев, подмигнув Светловой, исчез за овальным отверстием люка.

Оставалось еще одиннадцать секунд. Женя почувствовала, как по всему ее телу мурашками пробежало волнение.

— Светлова, пора!

Головой вниз устремилась Женя в необъятное пространство голубого дня. Под собой она видела широкое поле ипподрома и черный, такой маленький с трех тысяч метров, прямоугольник людей, пришедших туда на досаафовский праздник. Точными движениями рук и ног управляла Женя падением. «Чем же я хуже? — весело думала она. — Почему мне дали высоту раскрытия парашюта не такую, как Гребневу? Потому что я девчонка? Еще посмотрим».

Земля надвигалась широким разливом речной поймы, панорамой беленьких чистеньких городских улиц. Фигура парившего внизу Гребнева с растопыренными руками и ногами казалась похожей на лягушку. «Так некрасиво», — решила Женя. Она высвободилась из струйного течения и теперь падала отвесно, тоненькая, как свечка.

Над головой Гребнева золотистым от солнечного освещения цветком вспыхнул купол, а Женя продолжала мчаться вниз. Она уже обогнала в падении своего инструктора. Потом медленно отсчитала до десяти и рванула кольцо. Ее встряхнуло, и тотчас же всем существом девушки овладело то блаженное состояние, которое охватывает человека, осознавшего, что опасность уже за пле-

чами. Под звуки духовых оркестров и аплодисменты она опустилась на маленькую площадку, очерченную белым кругом, как было задано. Гребнев приземлился вторым. Отстегнув ремни и погасив купол, подошел к Светловой.

— Давай лапу, Женька, — сказал он грубовато. — Ты же раскрыла парашют в трехстах метрах от земли. Смотри, влетит тебе за эту самодеятельность.

Гребнев оказался прав. За нарушение дисциплины Светлова получила строгий выговор, но за точность приземления и смелый техничный прыжок присутствовавший на досаафовском празднике спортивный комиссар отобрал ее кандидатом в сборную команду страны.

Осенью Женя выступала на больших соревнованиях под Москвой. Выступала успешно, оказавшись в пятерке победителей. Она была уверена, что, получив грамоту и приз, с первым пассажирским самолетом возвратится домой. Но именно в эти часы ее вызвал к себе представитель ВВС и предложил идти в отряд генерала Мочалова. Ну кто же из девушек-парашютисток мог отказаться от такого предложения!

Вот и вся недолгая жизнь Жени Светловой. Конечно в разговоре с Роговым она обо всем рассказывала сухо и многое пропускала, опасаясь показаться нескромной, но это была одна только правда.

— А вы почти ничего и не записали? — с удивлением спросила она журналиста.

— Это мой метод, Женя.

— Метод? — приподняла она брови.

— Если делаешь записи во время разговора, ты этим как бы отпугиваешь собеседника, — пояснил Рогов, — он теряется. А если по ходу рассказа начнешь уточнять или переспрашивать, получается еще хуже. Поэтому я стараюсь слушать и запоминать, а дома, после беседы, в полном одиночестве записываю. Конечно, какие-то детали забудутся. Нам, Женя, еще раз надо было бы встретиться для уточнения.

Девушка смущенно пожала плечами:

— Вы же к нам, вероятно, еще будете приезжать?

— Конечно буду, Женя, — подтвердил он с готовностью, — но дней пятнадцать теперь мне придется провести в городе. А тянуть с уточнением записей не хочется.

— Так как же быть?

— А вы, Женя, за это время в Москве не появитесь?

— Пожалуй, да. В воскресенье собираюсь в Третьяковку.

— Вот и чудесно! — обрадовался Рогов. — Я от нее неподалеку обитаю. На Комсомольском проспекте. Если сможете, позвоните. Я весь день буду дома.

— Постараюсь, — пообещала Светлова не совсем уверенно.

* * *

Если сухощавого подполковника медицинской службы Зайцева, руководившего испытаниями в термокамере, заглазно именовали «хозяином пара и вара», то Василия Николаевича Рябцева, работавшего в сурдокамере, называли «начальником одиночества». Небольшого роста, с нервным очерком рта на полном смуглом лице, с резкими складками, избороздившими большой лоб, слыл он за вдумчивого и очень корректного человека.

Алешу Горелова, пришедшего уточнить сроки пребывания в сурдокамере, Рябцев неожиданно спросил:

— На гауптвахте когда-нибудь сидели?

— Не приходилось, — ответил озадаченный Алеша.

— Ну а в тюремной одиночке тем более, — весело продолжал Рябцев, — значит, опыта переносить длительное одиночество у вас никакого. Тем лучше для меня, врача-психолога. Я получу самые точные данные о вашей способности переносить тишину. Зачем космонавту проходить сурдокамеру, вы уже знаете. Космические полеты с каждым годом удлиняются по времени. Не за горами день, когда будем стартовать куда-нибудь подальше, чем в околоземное пространство. А в любом полете космонавт одинок. Черный воздух, бешеная скорость корабля, ощущение невесомости — все это по-разному отражается на человеческой психике. Значит, нужна закалка. Здесь у нас, так сказать, публичное одиночество, — указал он на тяжелую, окованную металлом дверь, ведущую в сурдокамеру, — космонавт ничего не видит и не слышит, его же видят все. Каждый шаг и каждый вздох на учете. Вот эти приборы, — кивнул он на многочисленные осциллографы, — будут записывать решительно все: работу вашего сердца, дыхание, биотоки мозга, состояние нервной системы. Так что вы постоянно будете помнить, что подконтрольны, а следовательно, и вести себя станете соответственно, совсем не так, как вели бы себя, будучи уверенным,

что за вами никто не подглядывает. А знаете, Алексей Павлович, как это было бы интересно понаблюдать за человеком, который знает, что его одиночество никто не контролирует. Даже самые великие в таком одиночестве проявляют себя необычно. Кто-то подсмотрел, что Наполеон прыгает на одной ноге, один из наших русских писателей-классиков выкрикивал по-петушиному и так далее. У вас же будет публичное одиночество, — назидательно повторил Рябцев.

— Василий Николаевич, — перебил его Горелов. — Я читал, будто Титов выучил в сурдокамере главу из «Евгения Онегина». Может, и мне чем-нибудь запастись, чтобы скрасить свое бытие?

Рябцев подтвердил:

— Да, да... журналисты этим очень умилялись. Это, конечно, было эффектно — учить стихи. Но мы сейчас против того, чтобы космонавт приходил в сурдокамеру с книгой. Чтение снижает суровость испытания. И притом, уважаемый Алексей Павлович, позволю себе уверить вас, что в реальном космическом полете парить с книжкой в руке в малогабаритной кабине — удовольствие не из больших.

— Стало быть, пойду в камеру с голыми руками.

— Нет, я этого не сказал. Кое-что мы разрешаем. Например, лобзик для выпиливания и кусок дерева впридачу. Карандаш и бумагу также... Но вы же, говорят, живописью увлекаетесь. Что может быть лучше? Берите краски и дело в шляпе.

— Значит, рисовать можно? — оживился Горелов.

— Можно, можно... Да вот посмотрите, сейчас в камере капитан Карпов. Чем он, однако, занимается? — Щелкнула кнопка на пульте, и на голубоватом экране телевизора возникла часть сурдокамеры и расхаживающий по ней Карпов, у которого уже выросла солидная борода. Карпов походил немного, потом уселся за рабочий столик, что-то записал в журнал-дневник и откуда-то снизу, из невидимой части сурдокамеры, достал вытесанную из деревянного бруска модель трехмачтового фрегата. Раскрыв перочинный нож, он деловито подстрогал изогнувшийся, словно под напором ветра, деревянный парус, отдалив от себя игрушку, пристально посмотрел на нее и под нос себе пропел фальшивым баритоном:

Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

— Эк его на Некрасова повело, — прищурился Рябцев, — бедняга еще и не знает, что сегодняшняя ночь у него здесь последняя. Настроился подольше у нас пожить.

Карпов положил на место модель фрегата, нажал на столе кнопку. Резкий скрежет зуммера наполнил лабораторию, и на пульте управления погасли лампочки, удостоверявшие, что телевидение работает нормально. Изображение камеры и сидевшего за рабочим столиком Карпова мгновенно пропало на обоих экранах.

— Зачем он выключил телевизор? — поинтересовался Горелов.

Лаборантка смущенно отвернулась. Рябцев дружески взял Горелова за локоть, отвел в сторону от пультовой установки.

— Дорогой Алексей Павлович, иногда космонавт имеет право выключить голубой экран. Когда ему э-э-э... это очень нужно...

Вскоре лампочки снова зажглись, и Горелов опять увидал на экране часть сурдокамеры с креслом, столиком и полочкой над ним. В соответствии с распорядком дня Карпов писал плакат: «Тише, нас подслушивают!» Потом приблизился обеденный час, и он деловито, как истая домохозяйка, гремел посудой, наливал в тарелку из термоса борщ. Его гибкая фигура неторопливо двигалась на экране, из камеры отчетливо доносился стук ножа и вилки.

— Ну что, Алексей Павлович, общее представление о нашей лаборатории получили? — осведомился Рябцев.

— Общее имею, — согласился Горелов, — остановка за детальным.

— Скоро и детальное получите — пятница не за горами.

* * *

Когда плохо писалось, Рогов любил смотреть в широкое светлое окно, выходившее на шумный, прямой как стрела Комсомольский проспект. Там ни на секунду не замирало движение. Шли люди, каких много в Москве: озабоченные и праздные, веселые и грустные, молодые и старые. По свободному от снега зимнему стылому асфальту проспекта проносились автомашины разных марок и цветов, шелестели синие троллейбусы. Иногда в этом потоке мелькали челноки-мотороллеры. Это жила Москва,

единая в своем движении, и картина, которую Рогов видел за окном, заражала его энергией и свежестью.

В этот воскресный день людской поток на широком Комсомольском проспекте отчего-то казался Лене пасмурным, лишенным обычной говорливой веселости. Возможно, так и было на самом деле. Сердитый март упорно боролся с затянувшейся зимой и никак не мог ее осилить. Словно брюзжащий старик, шипел он на нее потеплевшим ветром, старался пробить бреши в сером месиве низкого неба, чтобы подарить земле и людям солнечное тепло, но все усилия его оказывались напрасными. Солнце меркло, а низкое небо становилось все темнее и темнее. Во второй половине дня посыпал густой мокрый снег, заставляя людей шагать быстрее, поднимать воротники пальто. Крыши троллейбусов и автобусов сделались белыми. Было слышно, как на улице дворники со скрипом сгребают сугробы. После четырех часов промозглые сумерки, перемешанные с туманом, опустились па холодные глыбы зданий, мостовые и тротуары. Первые вечерние огни, загоревшиеся над столицей, тоже казались блеклыми, им трудно было пробить кромешную мглу.

Леня в этот день готовил для отдельного издания свои путевые очерки об Арктике. Черная лента портативной «Эрики» пропустила через себя десять страничек с двойным интервалом, а на одиннадцатой запнулась: она так и осталась недописанной. Позабыв об арктических свирепых морозах и своих недавних друзьях, осваивавших там белые просторы, Леня упорно думал: «Нет, она не позвонит... Слишком уже поздно, чтобы она позвонила». Он поймал себя на том, что волнуется, и откровенно спросил: «Да тебя-то, друг, почему зто взяло за живое? Ну не придет, сам съездишь в городок. Мало ли причин могло ей помешать? Да и велика ли охота разыскивать в Москве незнакомый адрес? И все ж таки ты волнуешься больше, чем положено».

Он тотчас же себе признался, что действительно очень хочет, чтобы появилась в зтой комнате девушка, чтобы, выбежав на звонок, он увидел ее румяное с холода лицо и тающие на меховой шубке снежинки. И чтобы она застала его именно за «Эрикой», рядом с которой уже лежат первые страницы нового очерка, названного «Белое безмолвие». Она бы сразу поняла, как удачно полемизирует он с Джеком Лондоном, у которого умышленно заимствовал

это название. Ведь именно для этого он с утра наводил чистоту в комнате, продумал все до мелочей, в том числе и беспорядок на своем рабочем столе: разбросанные сувениры, привезенные им из многих стран, и выставленный напоказ толстый фотоальбом с десятками экзотических снимков.

Но время шло, а никто не звонил. Сумерки за окном уже значительно погустели. Рогов включил телевизор и, разочарованно позевывая, впустил в комнату середину какого-то эстрадного концерта. Певец с высокой, смахивающей на парик шевелюрой меланхолично повествовал о том, что у него во дворе опять дождик идет. Плакали навзрыд под этот дождик саксофоны, неистовствовал тощий пианист. Рогов переключил программу. На экране заметались в залихватском танце кавказские джигиты. Не успели они завершить последние отчаянные прыжки, диктор объявил кинофильм «Верные друзья». Леня выключил телевизор и, чтобы получше осмыслить одиннадцатую, трудно дававшуюся страницу, лег на диван и заложил руки за голову. От ненастной, тоскливой погоды клонило в сон. Он зажмурил веки и сладко потянулся.

Телефон взорвался длинным звонком. Вскочив с дивана, он схватил трубку, едва не уронив ее, и совсем растерялся, услыхав знакомый звонкий голос:

— Это вы, Леонид Дмитриевич?

— Ну да, я. Самым подлинным образом я.

— Докладываю, что приехала.

— Где же вы сейчас, Женя? Скажите. Я поймаю первое такси и подскочу, чтобы вам не терять напрасно времени.

— Спасибо, но я совсем рядом. Только что была в магазине «Синтетика», потом пошла по проспекту и незаметно очутилась у вашего дома.

— Значит, вы у подъезда? — пересохшим от волнения голосом осведомился Леня. — Вы звоните из желтой будочки.

— Совершенно верно, из желтой.

— Я... я сейчас выскочу вас встретить.

— Да не надо, Леонид Дмитриевич, — засмеялась она совсем уже откровенно, — кнопку седьмого этажа я на лифте и сама в состоянии нажать.

Он распахнул дверь и стоял на лестничной площадке до тех пор, пока кабина лифта не остановилась. Женя в

белой шубке и теплой лыжной шапочке, со свертком в руках, веселая и раскрасневшаяся, шагнула к нему.

— Подержите мои покупки, Леонид Дмитриевич, и укажите, где раздеться. Впрочем, я уже вижу вешалку.

Она вошла в комнату, потирая порозовевшие ладони. Маленькими веселыми искорками сверкали на бровях тающие снежинки.

— Как у вас все здесь интересно! — нараспев сказала Женя, оглядываясь по сторонам. Еще не было случая, чтобы человек, впервые переступивший порог этой комнаты, безразлично отнесся к Лёниному фотоискусству. Фотоснимки, развешанные в продуманной асимметричности, сразу привлекали внимание, и Женя, как первоклассница, захлопала в ладоши.

— Боже мой, до чего же прелестны эти тигрята! Где вы их так удачно подкараулили?

— У нас на Амуре, — словоохотливо пояснял Рогов, — специально с тигроловами пять дней ходил по тайге. Самку они изловили, а этих, в то время еще совершенно безобидных, сирот мы позировать заставили немного.

Женя долго рассматривала африканские пейзажи, борьбу путешественников с грозной анакондой и тут же рядом фотоснимок широколицего курносого парня в тулупе на фоне бесконечных ледяных просторов.

— Повар полярников Леня Луков. Мой тезка, — представил Рогов, — прошу любить и жаловать. Вы и вообразить не можете, каким запасом юмора обладает этот человек. Зимовщики утверждали, что он один в состоянии заменить эстрадную программу. Кулинар первого класса. Работал, работал в московском «Гранд-отеле» и — добровольно на полюс. Мы так и называли там нашу столовку — «Гранд-отель». А вот эта белая медведица довольно свирепого нрава, — показал Рогов на соседний снимок, на котором зверь, поднявшись на задние лапы, шел на объектив. — Неприятное было свиданьице... радист ее наш подстрелил.

— А вот этого зверя кто подстрелил? — вдруг засмеялась Женя, и Леня поднял голову. С большого цветного фотопортрета смотрела на них белокурая молодая женщина, словно удивляясь, что́ эти двое могут здесь делать в ее отсутствие. Что-то холодное, подчеркнуто правильное было в ее красоте, будто сошла она с фарфоровой чашки дорогого сервиза.

— Это Нина... моя жена, — ответил Рогов тихо, и Женя перестала смеяться. Он помолчал и поправился: — Бывшая жена.

— Бывшая, — повторила за ним непосредственная Женя, — такая красивая, и уже бывшая.

Рогов пожал плечами.

— Ей не очень-то нравилось, что я такой бездомный бродяга. Да и поклонников было слишком много. Один из них оказался удачливым. — Он подумал и невесело прибавил: — Вероятно, мне надо было отказаться от профессии журналиста. Глядишь, и сберег бы красивую жену.

Женя не улыбнулась.

— А вот это что? — спросила она, подходя к столу и явно желая переменить тему разговора.

— Зуб акулы.

— Что вы говорите! — воскликнула Светлова. — Самой настоящей?

— Самой настоящей. Той, что довольно искусно хватает на пляжах непослушных, далеко заплывающих купальщиц. У меня таких зубов три. Хотите, один подарю?

— И всегда будете вспоминать, какая была у вас в гостях попрошайка?

— Что вы!

Рогов рад был сейчас перевернуть всю квартиру, лишь бы вызвать у Жени еще две-три улыбки. И вскоре, как Женя ни противилась, пришлось ей принять и другие трофеи: расческу из настоящей слоновой кости, нож для разрезания книг, ручка которого была обтянута крокодиловой кожей.

— Нет-нет, пора прекратить это ограбление, — засмеялась Женя, когда Рогов попытался отдать ей японскую зажигалку. Потом она села за рабочий стол и, скользнув взглядом по разбросанным вокруг пишущей машинки листкам, улыбнулась.

— Леонид Дмитриевич, «Белое безмолвие» это уже не ново. У Джека Лондона читала. Или вы забыли про Джека Лондона?

— Нет, Женя. Его я и имел в виду, решив так назвать свой очерк.

— Почему?

— Да потому, что мой очерк — это полемика с ним. Вы помните, Женя, в чем Джек Лондон видел свое белое безмолвие?

Рогов сел напротив своей гостьи на широкий диван и с увлечением продолжал развивать свою мысль. Светлова смотрела на смуглое его лицо, и полный искреннего вдохновения, несколько сумбурный Леня казался ей очень добрым и в сущности довольно несчастливым парнем. Еще раз искоса поглядев на портрет, она подумала, что эта красивая женщина едва ли когда его любила. Голос Рогова до Жениного слуха доносился будто издалека:

— Белое безмолвие, по Джеку Лондону, это огромное заснеженное и завьюженное пространство без конца и края. Бредет по нему одинокий герой, наталкиваясь на тысячи опасностей. Борется за свое существование. Он один во всем мире. Погибнет он или выживет, до этого ни одному черту дела нет. Вот что такое белое безмолвие у Джека Лондона. И тут же параллельно наши дни. Вот что на Южном полюсе случилось. Ушел у полярников на аэродром почтальон, а в это время разыгралась пурга. Пять часов бушевала. Пока восстанавливали связь, еще час с лишним прошел. Кинулись — нет почтальона. От нас ушел, до аэродрома не дошел. Сбился с дороги, попал в бурю и остался, как и джек-лондонские герои, один в белом бескрайнем безмолвии. Но разве о нем забыли? Десятки упряжек и лыжников еще в бурю вышли на поиски. А как только ветер утих, все вертолеты поднялись. Потом я его в больнице навестил. Спрашиваю: «Было тебе страшно?» — «Да, — говорит, — потому что самое страшное — это нелепая смерть». — «И ты потерял уверенность, что победишь в поединке со смертью?» Он на меня этак насмешливо посмотрел и говорит: «Во-первых, не было поединка. А было многоборство всех полярников со смертью, захотевшей прибрать меня к своим лапам. Нас было много, она — одна. А самое главное, что мне помогло остаться в живых, так это вера, что не бросят меня на произвол судьбы. Как я думал, так все и закончилось».

— Хороший замысел, — согласилась Женя, и еще раз ее глаза скользнули по диковинным фотоснимкам, которыми была украшена комната.

— Много же вы поездили по белу свету, Леонид Дмитриевич.

Рогов ободряюще сказал:

— Придет время, вы больше моего поездите, Женя.

Девушка пожала плечами.

— Ой, когда-то это будет! Да и будет ли еще?

— Будет, Женя, — уверенно произнес Рогов, — непременно будет. Смотрю сейчас на вас и думаю. Вот вы сегодня бегали по городу, и в потоке пешеходов никто нигде вас не выделял. Прошла обыкновенная москвичка, и все тут. А что будет через годик, другой? Прохода любопытные не дадут на этом же самом Комсомольском проспекте.

— Что вы, Леонид Дмитриевич, — смутилась Светлова. — К тому времени, когда я слетаю, космонавтов станет много, они уже не будут в диковинку.

— А вы хотели бы быть обязательно в числе первых? Боитесь, что у вас получится, как во французском анекдоте?

— Как это?

— Спрашивает один француз у другого: «Кто первый перелетел Ла-Манш?» — «Блерио». — «А второй?» Молчание, никакого ответа.

— Нет, я этого не боюсь, — засмеялась Женя. — И вовсе не мечтаю быть в числе первых. Первые утверждают, это верно. Но вторые и третьи в космонавтике идут дальше их и тоже утверждают свое, новое. Так же как Гагарина именуют сейчас Колумбом космоса, кого-то в свое время назовут Колумбом Луны, Колумбом Венеры, Марса...

— Такую дочь Земли, как вы, я бы на Марс не посылал, — неловко пошутил Леня, — это небезопасно. Ведь обратно марсиане могут не отпустить.

Она посмотрела на крепкие загорелые руки Рогова и подумала: «Ими он пишет очерки о добрых людях и о природе. Лицо доброе и доверчивое. Такого легко было обмануть этой женщине».

— Чего же я расселся, как пень? А кофе! — вдруг всполошился Леня.

Он сварил кофе, достал из холодильника торт, тарелку с бутербродами и красноватую бутылку рома. Женя с интересом рассмотрела броскую этикетку: заросли джунглей и индеец, переправляющийся на пироге через узкий бурный проток. Когда он поставил на стол две маленькие хрустальные рюмочки, девушка предупреждающе подняла ладонь.

— Меня увольте, Леонид Дмитриевич. Вы еще одной детали из моей биографии не знаете. Когда мне исполнилось четырнадцать и пришло время вступать в комсомол,

я записала в дневник: «Сегодня дала клятву на всю жизнь никогда не курить, не ругаться и не пить вина». А вы выпейте. Вы же мужчина, и притом за окном такая поганая погода. Совсем, что называется, «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя»...

— А я один никогда не пью, — заявил Леня.

Светлова посмотрела ему прямо в глаза, тонкие ее губы насмешливо вздрогнули.

— Ну а если вас попрошу, очень-очень, — дразня, сказала она.

— Тогда вынужден капитулировать, — развел он руками и налил маленькую рюмку. — За ваше здоровье и за ваши будущие успехи, Женя.

Она подняла чашку кофе в знак того, что с ним чокается, улыбнулась.

— О чем вы сейчас подумали? — спросил он.

— Насколько вы в сравнении со мной мудрее, — застенчиво промолвила девушка,— и в армии уже послужили, и полсвета объездили. А у меня все впереди: и ошибки, и приобретения.

— Вот это и хорошо, — улыбнулся Рогов, — и не торопитесь накапливать этот самый жизненный опыт.

Леня мельком отметил: уже шесть часов. За окном промозглые сумерки. Уличные фонари с трудом пробивают туманную мглу. Он включил люстру. От яркого света сразу растаял интимный уют. Будто застыдившись чего-то, Женя беспокойно поглядела на ручные часики. Ей подумалось о возвращении. Перед глазами встала дорога от полустанка сквозь молчаливый лес, без твердой уверенности, что в такой поздний час попадется попутная машина. Она зябко поежилась.

— Вот это да! — вырвалось у Рогова. — Нам же надо просмотреть запись беседы.

— А там много страничек?

— Около двадцати.

Женя встрепенулась, в глазах ее появился невыразимый испуг.

— Пощадите, Леонид Дмитриевич. Неужели вам меня ни капельки не жаль? Я и до дома тогда не доберусь. А завтра в девять лыжная прогулка по расписанию.

— Что же мне делать? — вздохнул Рогов. — Дожидаться, когда вы снова захотите посетить Третьяковку? Я опять всю неделю не смогу к вам выбраться.

Снимая с вешалки меховое пальто, Женя весело призналась:

— А я и не попала сегодня в Третьяковку. Там столько было экскурсантов! Решила отложить на следующее воскресенье.

— Это замечательно, — одобрил Рогов, помогая ей одеться, — если вы согласитесь, я с великим удовольствием буду вас сопровождать. А потом и запись беседы прочитаете. Идет?

Женя кивнула.

* * *

Трое суток прошло с той минуты, как двойная массивная дверь сурдокамеры захлопнулась за Алешей Гореловым и он очутился один в тесном помещении, ограниченном четырьмя звуконепроницаемыми стенами. За дверью остались врачи, лаборантка Соня, Володя Костров и Марина Бережкова. Ему почему-то особенно запомнилась Марина. Она пришла в синем платье с букетиком подснежников и была подчеркнуто ласкова с ним. Алеша не обратил внимания, что его спортивный свитер немного порвался на локте. Марина немедленно вооружилась иголкой, заявив, что в таком виде ни за что Горелова не отпустит. Алеша заметил: у нее были короткие и сильные рабочие пальцы. Не слишком эффектная внешне, Марина вся светилась щедрым добрым светом. Голос у нее был певучий, полные губы таили ласковую усмешку, застенчивые глаза с откровенной привязанностью глядели на Алексея.

— Главное, желаю вам хорошего крепкого сна, — шепнула Марина ему на прощанье, — это очень плохо, когда к тебе не приходит в сурдокамере сон. Особенно на седьмые и шестые сутки. А я буду ежедневно с вами видеться. По телевизору, разумеется.

— Это меня будет ободрять, — сказал, улыбаясь, Алеша.

Он вдруг подумал, что не испытывает к девушке никаких чувств, кроме искренней благодарности. Даже жалко стало Марину при мысли о том, как переполнено ее сердце нерастраченной добротой. Горелов понимал — Марина стесняется, что она такая внешне невыразительная и грубоватая. Девушка действительно стыдилась своих крас-

новатых крепких рук, широкого курносого лица, полноты. Когда в физкультурном зале ей приходилось вместе с Женей Светловой выполнять на лопинге, турнике или брусьях многочисленные упражнения, Женей откровенно любовались и прощали ей срывы. Бережковой, как должное, ставили молча пятерки, ибо не было в гарнизоне лучшей гимнастки. Горелов уже знал, что девушка прошла почти все виды тренировок и даже на центрифуге обнаружила завидную выносливость. Они часто занимались вместе в библиотеке, и Алеша с удовольствием ей помогал. «А вот полюбить ее по-настоящему я бы, наверное, ни за что не смог», — рассуждал он.

В сурдокамере царила мертвая тишина. «Вот так, видимо, будет и в кабине настоящего корабля», — подумал Горелов. Он медленно обошел сурдокамеру. Она была настолько тесной и неудобной, что Алексей даже не знал сначала, где поместить кисти, краски и два холста, что разрешили ему захватить с собой. Но постепенно пригляделся и нашел для всего место. Он не знал, что так бывает с каждым человеком, помещенным в сурдокамеру; опытный Василий Николаевич Рябцев называет это «приспособлением к окружающей среде».

Особенно любил Рябцев рассказывать историю о том, как отсидел в сурдокамере франтоватый Игорь Дремов. Дома он редко занимался хозяйством. Чтобы комнату когда подмел или посуду помыл — об этом и речи быть не могло. А вот к концу тренировки в сурдокамере до того дошел в своем стремлении заполнить время, что начисто собственными руками вымыл все ее помещение: и пол, и стены и немногочисленную мебель.

Алеша Горелов к исходу первых суток прекрасно приспособился ко всему, и сурдокамера стала казаться ему даже уютной. «Это не самое трудное из испытаний, — решил он, — подумаешь, несколько дней одиночества! Переживу». Он с любопытством опробовал кресло. На нем можно было и сидеть и спать, если придать ему горизонтальное положение. Небольшой рабочий столик, косое зеркало над ним, белая металлическая раковина для умывания, шкаф-холодильник, где в одинаковых отсеках лежат суточные пайки: концентраты, термос с горячим супом, емкость которого рассчитана на несколько дней, вилки, ложки и чашки — вот, пожалуй, и все. Раз в сутки, и всего на несколько минут, ему подавалась горячая вода, что-

бы успел заполнить ею термос. На голове Алексея белый матерчатый шлем, он служит опорой электродам, а с ними Горелов прочно соединен на все время пребывания в камере молчания.

В первые сутки своего «заключения» Алеша чувствовал себя как пассажир, начавший длительную поездку по железной дороге, едущий, скажем, из Москвы во Владивосток. Тронулся поезд, и тебе чертовски все интересно. Прильнув к окну, ты наблюдаешь за быстро меняющимися пейзажами; вагон и все его оборудование кажется тебе до крайности любопытным. На вторые сутки ты все так же увлеченно смотришь в окно. На третьи — играешь в шахматы и домино... Алеша еще не знал, что на пятые и шестые сутки такой пассажир резко меняется. К этому времени все истории уже рассказаны, партии в шахматы сыграны. Взгляните на такого пассажира, и вы не узнаете своего прежнего знакомца. Оживленность уступает место унынию и апатии. Соседи по купе ему до чертиков опостылели, а костяшки домино он перемешивает уже с явным отвращением.

Но ведь это в поезде, среди людей! А сколько же воли и твердости необходимо человеку, чтобы провести то же самое время в абсолютном одиночестве, закованным в толстые звуконепроницаемые стены сурдокамеры! Алеша Горелов решил рисовать. Он давно не брался за кисть и сейчас все свободное время посвятил новой картине. Почему ему захотелось писать портрет Марины Бережковой, он и сам бы не смог дать отчета. Очевидно, слишком большое впечатление произвело на Алексея ее светившееся добротой лицо. На портрете Марина получилась лучше, чем в жизни. Он не придал ее лицу слащавости, искажающей черты, но сделал чуть правильнее и тоньше широкий вздернутый нос, чуть погуще брови, а в глазах сохранил ту самую дымку, что постоянно туманила ее взгляд, делала его застенчивым и каким-то очень доверчивым. Коротко остриженные густые волосы Марины с двумя гребенками, не позволяющими им рассыпаться, получились так ярко, что Горелову самому захотелось до них дотронуться. Алеша долго работал над линией рта. Губы не удавались, были то слишком бледными, то неестественно яркими. Решил их сделать потоньше и аккуратнее, но передумал, опасаясь, что портрет от этого слишком разойдется с оригиналом. Когда Алеша устал и надо было от-

влечься от картины, он накрыл ее простыней. Взгляд его упал на белую широкую стену шкафа-холодильника.

— Черт побери, — вырвалось у него, — я художник и до сих пор не догадался украсить свой быт.

Алеша вырезал из бумаги несколько круглых листов. На одном нарисовал окорок с аппетитно зарумяненным бочком, на другом — овальное металлическое блюдо, на каких обычно подают в ресторанах самые изысканные яства. Подумал и наполнил его коричневыми ломтиками шашлыка, окруженного богатейшим гарниром. Каждый стебелек зеленого лука, каждый кусочек помидора и ломтик лимона и каждая капля соуса ткемали были выписаны им с такой старательностью, что сам автор неожиданно почувствовал вкусный запах. На третьем листке появился бочонок вина с надписью: «Цинандали». Горелов расклеил все эти рисунки на дверцах отсеков, где хранились суточные запасы его спартанской пищи, мало общего имевшей с изображенными яствами. Над ними появилась короткая выразительная надпись: «Ресторан первого класса «Юпитер».

Окончательно повеселев, Алексей возвратился к портрету Марины и к вечеру его закончил. Портрет ему очень понравился.

Время до отбоя прошло настолько незаметно, что он даже удивился. Удобно постелив себе в кресле, Алексей заснул крепким сном хорошо поработавшего человека, и если бы не будильник, то обязательно бы проспал подъем. Завтрак, состоявший из поджаренного им на электрической плитке куска мяса и горячего чая, пришелся по вкусу. Он сел заполнять очередную страничку бортового журнала. Авторучка оставляла на бумаге короткие ясные строчки. Внезапно он ощутил на лбу испарину. «Отчего бы это?» Чувствовал себя он бодро, но с каждой минутой становилось почему-то все жарче и жарче. Он перевел глаза на термометр и покачал головой: вот тебе на, вместо обычных восемнадцати дали целых двадцать восемь. Очевидно, Василий Николаевич Рябцев решил попробовать, что скажет его организм энцефалографу в этом случае. Что же, посмотрим. Заложив руки за спину, Горелов прошелся по камере, словно принимая вызов.

«Сурдокамера — это тот же космический корабль, — рассуждал он, — а там могут быть любые температуры, и я обязан их переносить».

Двадцать восемь градусов по Цельсию ничего особенного не представляют в обычных условиях. Но в сурдокамере человек находится взаперти. Забирая из окружающего воздуха кислород, он все время выдыхает углекислоту, и, как бы хорошо ни работали воздухозаборники, какая-то ее часть невидимым тяжелым пластом оседает в сурдокамере и при повышении температуры усиливает нагрузку на организм.

Прошло несколько часов. Ртутный столбик термометра оставался в прежнем положении. Сидеть, ходить и стоять Горелову чертовски надоело. Чтобы легче переносить новое испытание, он старался не думать о жаре. Это не удавалось. Духота все сильнее и сильнее наваливалась на него. Несколько раз он брался за влажное горло с таким видом, словно хотел расстегнуть тесный воротник, но тесного воротника не было — пальцы наталкивались на мягкую материю свитера. Звенело в ушах, даже ресницы были влажными. Дыхание становилось тяжелее, казалось, поднимается он в гору, а дороге не видно конца.

«Но ведь так надо, — убеждал себя Алексей, — предположи, что ты летишь к далекой планете, тебе не час и не три надо бороться с нехваткой кислорода. Это трудно, но надо. Какой же ты космонавт, если не выдержишь, а?»

Алексей достал самый небольшой по размеру лист загрунтованного картона, снова взялся за кисть. Она добросовестно наметила зимнюю деревенскую улицу, длинный строй нахохлившихся под соломенными крышами избенок, дымки из труб, отвесно устремленные в синее стылое небо, и дорогу, заваленную огромными сугробами. Потом подумал и прибавил к пейзажу мостик у околицы над заледенелой речушкой.

Пока Горелов писал пейзаж, все время видел перед глазами снег и зимнее небо, — в жаркой сурдокамере дышать становилось все легче и легче, даже пот перестал проступать на лбу и щеках. Отодвинув пейзаж, он критически вгляделся в него. Рисунок, по мнению Алексея, ничего особенного не представлял. Почему же так легко ему вдруг стало и так приятно? Он посмотрел на термометр и облегченно вздохнул. Вот в чем дело! Пока он рисовал зимний пейзаж, испытание высокой температуры закончилось, и в сурдокамере снова водворились столь приятные восемнадцать градусов.

Так прошел и второй день. А на третий случилась беда, которую ни врач-психолог, ни его ассистенты, ни сам космонавт не могли и предвидеть. К вечеру он почувствовал испарину и легкие боли в желудке. Боли стали нарастать и беспокоить сильнее. Проклиная все на свете, Алеша ложился то животом вниз, то на спину, когда экраны на ночь временами выключались, прикладывал к животу подушку — ничего не помогало. Удрученный и похудевший, промаялся он животом и весь четвертый день. Чтобы не вселять подозрений у наблюдавших за ним медиков, Алексей в назначенное время добросовестно принимал пищу, а потом скрипел зубами от новых болей.

«Черт побери! — думал он. — А что, если тебя этаким образом во время настоящего космического полета хватит? Каюк». Было и смешно и грустно.

* * *

Вечером Марина отыскала Женю Светлову в классе самоподготовки. Женя сидела над толстым учебником политэкономии и конспектировала главу «Прибавочная стоимость». Увидев встревоженное лицо подруги, немедленно все отложила в сторону.

— Что с тобою, Маринка?

— Понимаешь, — сбивчиво объяснила Бережкова, — мне очень не нравится Алеша Горелов.

— Вот как? — игриво улыбнулась Женя. — А я полагала, что он тебе, наоборот, нравится.

— Да нет, Женя, — отмахнулась подруга, — я о том, какой он сейчас в сурдокамере.

— Похорошел или подурнел? — все так же игриво спросила Женя.

— Да перестань ты! — возмутилась Бережкова. — С парнем на самом деле что-то неладное. Может, заболел, а сказать — самолюбие не позволяет, боится, что опыт могут прервать. У меня есть план. Сейчас там дежурит Сонечка. Зайдем к ней на полчасика и уточним, что с ним.

У Жени округлились глаза.

— Что ты, Марина! Или забыла, что с тем, кто в сурдокамере, переговоры запрещены?

— Спокойно, Женечка, я все продумала. Соня нас пропустит, и ты пойдешь к ней. А я задержусь в первой комнате. Там есть отверстие в сурдокамеру для киноаппа-

рата. Оно закрыто черной металлической трубкой, которая снимается лишь в том случае, если надо производить киносъемку. По ней можно пробить морзянку даже обыкновенным карандашом.

— Маринка, ты гений!

Взявшись за руки, подруги пробежали по снежной аллее к учебному корпусу, поднялись на третий этаж. На дверях сурдокамеры висела знакомая всем табличка: «Громко не разговаривать. Идет опыт!»

Марина, встав на цыпочки, шепнула:

— Ты будешь Сонечке зубы заговаривать, а я с Алешей свяжусь, — и нажала на кнопку звонка.

Как они и ожидали, дверь отворила лаборантка Сонечка. Вышла она с томиком Тургенева в руках, свеженькая, несмотря на поздний час. Появление космонавток обрадовало ее.

— Девочки, вот не думала!

— А мы к тебе, Сончик, — затараторила бойкая Женя. — Понимаешь, шли мимо, видим, в окнах свет и сразу подумали: давай проведаем. Небось скучно тут одной.

— Ой, какие вы молодцы! Я действительно одна. Василий Николаевич встревожился. Ему вид Горелова не нравится. Говорит, болезненное лицо. Пошел к полковнику Лапотникову советоваться. А я одна. Идемте на Алешу посмотрим.

— Идем, идем, Сонечка, — Женя схватила лаборантку за локоть и довольно энергично повела к пульту управления. Тем временем Марина юркнула в маленькую комнату, не зажигая в ней света, быстро нашла металлическую трубку, входившую в сурдокамеру, вынула из кармана своей кофточки тонкий напильник и уверенно, четко выбила по Морзе:

— Я космонавт-икс, я космонавт-икс. Переговоры храни в тайне.

Полминуты спустя она приняла ответ:

— Чего тебе надо?

— Алеша, — взволнованно спросила Марина, — что с тобой? Ты так похудел.

В тишине она ловила ответную дробь, складывала в слова.

— А ты бы не похудел, если бы тебя так несло?

Марина прыснула со смеху. Это ей-то, девушке! Хорошо, что нет Женьки, разнесла бы по всему свету. Марина

почувствовала, как уши и щеки ее запылали. Снова застучал по металлу напильник.

— Как питаешься?

— По расписанию.

— Глупый! Немедленно прекрати, — простучала Марина. — Делай только вид, что ешь. Перейди на чай и сухари, все пройдет. С незнакомыми корреспондентами будь вежливее.

— Кто со мной говорит? — донесся вопрос Алексея, понявшего, что он допустил какой-то промах.

— Космонавт-икс, — отстукала Марина. — Всё.

Она вернулась в пультовую в тот момент, когда Сонечка оживленно рассказывала Светловой о своем последнем платье, заказанном в военторговском ателье:

— Знаешь, Женя, я такое на модельерше видела. Очень, очень прелестненькое. Вырезы на спине и на груди самые скромные, рукавчики — одно загляденье, и цена недорогая. Как ты считаешь?

— Недорого, — одобрила Светлова, — только я бы на твоем месте покороче его сделала. Сейчас такая длина не в моде. И притом коленки у тебя посмотри, какие красивые.

— Да ну тебя, Женька, — смущенно фыркнула Сонечка.

— А ты в каком ателье шьешь? — спросила Марина, чтобы хоть как-нибудь обозначить свое присутствие. — На Фрунзенской или в Центральном военторге?

— В Центральном.

— Я тоже там шью. Там на совесть делают.

Женя пытливо посмотрела на подругу.

— Мы, наверное, пойдем, Мариночка?

— Угу,— ответила Марина,— визит вежливости нанесли, теперь можем удалиться. Только разреши мне на Горелова взглянуть.

По голубому полю телевизионного экрана неторопливо двигалась фигура Горелова в темном спортивном костюме. Курчавые волосы выбивались из прорезей белого шлема. Насвистывая что-то себе под нос, Горелов деловито отвинчивал крышку термоса. В металлический стакан, булькая, полился круто заваренный чай. Всыпав в него три ложки сахарного песку, Алексей разломил сухарь, и в телевизоре раздался веселый хруст. Бородатый человек самому себе подмигивал в зеркало.

— Ну, мы пошли,— объявила Бережкова,— до свидания, Сонечка.

На улице обняла Женю и, не удержавшись, рассказала все как было. Светлова прыснула, залилась таким смехом, что повстречавшийся полковник Неделин не удержался от реплики:

— Ну и ну, девушки. Или весну почувствовали?..

* * *

Алеша Горелов уходил на испытания в сурдокамеру 31 марта. Было еще холодно, снег звонко пел под ногами людей на утрамбованных дорожках и аллейках. Днем холодное солнце, а ночью огромный желтый месяц плавали над густыми, одетыми в пышные снежные шубы подмосковными лесами. Но по трудноуловимым признакам опытный наблюдатель мог уже угадать приближение весны: опадали сугробы, как-то легко струился днями на солнце голубой хрупкий воздух, смелее чирикали около столовой воробьи.

Но все эти изменения в природе происходили за глухими стенами сурдокамеры, одинаково безразличной и к теплу, и к холоду, и к дождям, и к ветрам.

Лежа после отбоя, Горелов думал о своих первых месяцах жизни и учебы в отряде. Вспоминал авиаучилище, аэродром в Соболевке, друзей. Сравнивал прошлое с настоящим, в котором еще до сих пор не мог разобраться. Пытался привести в стройное течение мысли и наблюдения.

В авиации все для него было просто и ясно, он давно почувствовал себя там своим человеком, привык к несколько тяжеловатому ритму ее жизни. Там редки были перерывы на отдых. Дневные полеты перемежались с ночными, классные занятия сводились к проработке заданий на учебный полет да инструктажам. Там все было ненормированным: требовалось — и он проводил на ногах любое количество часов в сутки. Здесь преобладал строго очерченный рабочий день с началом в девять и окончанием в пять. Там были одни порядки, здесь — другие. Бывалые, видавшие виды летчики-истребители не считали за грех подтрунить над начинающими, иногда больно раня их самолюбие. Здесь к любой осечке товарища — новичка или ветерана — относились с повышенной обеспокоенностью. Алексей никогда не забудет, как Володя Костров однажды сорвался с турника, встал, прихрамывая. Тотчас же к нему метнулся Олег Локтев:

— Плохо, старина?

— Нога подвернулась.

— Ложись на мат поскорее. Я помассирую.

К концу занятия Костров был уже снова в строю.

Там, в авиации, летчик был фигурой номер один, непререкаемым авторитетом. И это позволяло ему порой покровительственно, с оттенком снисходительности относиться к техникам и механикам. Здесь фигурой номер один был космонавт. Но Алеша ни разу не видел, чтобы кто-либо из его коллег позволил себе грубость или бестактность по отношению к медикам, тренерам, инструкторам. Когда он отпустил как-то не слишком удачную остроту по адресу Василия Николаевича Рябцева, Игорь Дремов так посмотрел на него, что у Алеши надолго отпала охота острить.

— А ты знаешь, что Рябцев был ранен под Киевом в танковой атаке?

— Мой отец тоже сгорел в танке,— сказал Алеша, и это прозвучало как извинение.

А однажды Горелов был свидетелем не очень приятного эпизода. Все они сгрудились вокруг биллиарда, наблюдая за поединком Игоря Дремова и Субботина. Неожиданно распахнулась дверь, и на пороге появился подвыпивший Олег Локтев. Он вошел в шинели и шапке и стал бесцеремонно стряхивать на паркет снег. По широкому его лицу бродили красные пятна.

— Играете, да? — заговорил он громко, явно рассчитывая привлечь к себе внимание.— А я вот с дружком отметился. Дружок ко мне в гости, капитан Васильев, приезжал. Сам полковник Иванников разрешил его принять в нашем городке. Все чин по чину. Пропуск ему выписали, а он бутыль французского коньяка притащил. За-а-нятная бутылочка! К горлышку маленький Наполеон привешен. Так мы узурпатора ножичком — чик. И коньячок тот — чик. А Васильев мне еще по авиаучилищу товарищ. Мы трое вместе кончали: он, я и Мирошников. А где сейчас наш Мирошников, а? По состоянию здоровья из отряда отчислили, да? Место для Горелова освободили. А за что именно, позвольте спросить, уволили Славку Мирошникова? За то, что у него повышенная чувствительность кожи и он не выносит матушку-центрифугу? Да? А когда полетим на Марс или Венеру, то, кто его еще знает, может, там и будут выживать именно те человеки,

у которых повышенная чувствительность кожи. Кто за это может поручиться? Космическая медицина, что ли? Да? Так это ж еще дитя.

Пока Локтев произносил весь этот длинный монолог, никто из космонавтов не обращал на него внимания. Игра шла своим чередом. Кое-кто подбадривал сражающихся, бросал в их адрес замечания. Локтев смолк и поглубже нахлобучил шапку.

— Не слушаете, да? — сказал он обиженно.— Ну и не надо. Я спать пошел.

— В самый раз тебе сейчас это,— заметил ему вдогонку Дремов.

А в понедельник, в присутствии всех космонавтов, секретарь партбюро отряда Сергей Ножиков подошел к Олегу и мимоходом сказал:

— Слушай, ты, когда в следующий раз будешь свои субботние гастроли давать, предупреждай заранее. Мы тебе побольше зрителей соберем. Весь отряд, если хочешь. Как на концерт самодеятельности.

Локтев вспыхнул и быстро отошел в сторону. Не было никаких разносов и разбирательств, но несколько дней под осуждающими взглядами друзей Олег ходил сам не свой, пока тот же Ножиков не хлопнул его однажды по спине и не сказал кратко:

— Хватит, старик. Простили твой редкий случай.

Там, в истребительном полку, Горелов не смог бы, пожалуй, назвать фамилию летчика, который с таким обостренным вниманием следил бы ежедневно за прибором, регистрирующим давление крови, за своим пульсом, дыханием, составом крови и весом. Здесь, в отряде, фигура врача сопровождала космонавта, что называется, и в будни, и в праздники. Если у кого-то из космонавтов появлялись отклонения в здоровье от обязательных минимальных показателей, он немедленно попадал во власть врачей, медсестер и санитаров, подвергался процедурам, получал в избытке советы и лекарства.

Ежедневно в лабораториях городка изводились десятки метров бумаги для записей кардиограмм и регистрации биотоков, сотнями появлялись цифры и пометки, сообщающие о физическом состоянии космонавтов. А приходил новый день с новыми тренировками, и вся эта работа начиналась сызнова.

В отряде стала притчей история о том, как однажды журналист Рогов отобедал сразу у двух космонавтов и уехал в Москву полуголодным. Случилось это недавно. Леня провел целый день в городке и пропустил обеденные часы.

— Дорогой,— сказал узнавший об этом Андрей Субботин,— за чем дело стало? В пять мы кончаем, так ты сразу ко мне.

— Ты меня давно уже собирался проведать, Рогов,— обратился к нему через несколько минут и Володя Костров,— приходи сегодня часикам к семи, раз задерживаешься в нашем городке. Пообедаем, поговорим.

Рогов, для которого каждая встреча с космонавтами давала так много, решил, что не следует отказываться ни от одного из этих предложений. Ровно в шесть он уже сидел за столиком у Субботина. Хлебосольная хозяйка, жена Андрея, выставила такое обилие закусок, что у Лени буквально глаза разбежались. Была тут и заветная коробочка крабов, и красная икра, и холодное, тонкими ломтями нарезанное мясо лося, маринованные огурчики и маслята. Жирная атлантическая сельдь подмигивала Рогову просоленным глазом. Андрей сказал «Ладно, ладно» укоризненно посмотревшей на него жене и достал небольшой, граммов на двести, графинчик водки, настоенной на красных стручках перца.

— Мне семьдесят пять, тебе сто двадцать пять,— распорядился он,— сам знаешь, как говорит наш генерал Мочалов: космонавты живут на земле. А раз на земле, значит, и водочки иногда немножечко можно.

Они выпили, и Андрей с жадностью набросился на закуски.

— Ты почему так мало ешь? — удивлялся он, глядя на гостя.

А Рогов в эту минуту хитровато рассчитывал: «Сто двадцать пять граммов водки я, разумеется, выпью, это не помешает. А вот на закуски нажимать не буду. Надо оставить место на второй обед. Володя Костров примет не хуже. Однако жаль такие грибы и крабы оставлять! Ишь, как заразительно хрустит на зубах у Андрея огурец...»

И не знал Рогов одной небольшой детали: Субботину постоянно недоставало полутора килограммов в весе, и в эти дни он усиленно питался.

— Ты куда же? — закричал он, когда Леня собрался

уходить.— А какой еще бифштекс впереди ожидается! Пальчики оближешь.

Но Леня, ссылаясь на дальнюю дорогу, поспешил уйти. Спустившись на этаж ниже ровно в семь, он очутился у Кострова. Володя встретил его по-домашнему просто, в одной пижаме. Жена его, Вера Ивановна, была на собрании женсовета, и он укладывал детей спать.

— Ты извини, мы тут сами будем хозяйничать,— сообщил Костров.

Он долго гремел мисками и кастрюлями на кухне, потом внес две тарелки жидкого рисового супа и сковородку с поджаренной баклажанной икрой.

— Вот. Ешь. Овощи — это очень полезно, в особенности для таких толстяков, как ты,— провозгласил он,— гораздо полезнее мяса. Да и мне надо два килограмма согнать, чтобы в весовую норму прийти. Так что у нас отношение к еде одинаковым должно быть. Правда?

— Правда,— упавшим голосом выдавил Леня и, с грустью вспоминая богатый стол у Андрея, подумал: «Ну, водочки-то он немного нальет, раз в гости в такой мороз пригласил. Не может быть, чтобы не налил».

И как раз в это мгновение Костров хлопнул себя ладонью по лбу.

— Вот голова садовая! Обед-то обедом. Но запить его надо! — весело воскликнул он.— Помнишь, как там у Маяковского: «Ну, а класс-то жажду заливает квасом? Класс — он тоже выпить не дурак!» Так, кажется?

— В общих чертах да,— обрадованно подтвердил Рогов.

Сопровождаемый его взглядом, Костров метнулся из комнаты, а Леня облегченно вздохнул: «Вот оно. Наконец-то опамятовался». Но Костров остановился в дверях и, не оборачиваясь, спросил:

— Позабыл выяснить, ты чем запивать будешь: молоком или нарзаном? Я спиртного не употребляю, да и тебе не советую. От него полнеешь.

— А кефира у тебя нет? — мрачно спросил журналист.

Позже он сам со смехом рассказывал всем эту историю.

Генерал Мочалов, не уставая, повторял:

— Вы запомните, вы теперь другие. Авиация была для вас только первой ступенью. Вторая ступень — космо-

навтика, и ой каких сил потребует она от каждого, прежде чем кто-то будет допущен к старту!

Алеша Горелов прекрасно уяснил смысл этих слов. Его друзья по отряду ушли далеко вперед, и часто во время их бесед он никак не мог себя проявить, а только слушал и слушал, потому что многое из того, о чем они говорили, было для него еще недосягаемым. Разве мог он поддерживать беседу с Володей Костровым, когда речь шла об анализе бесконечно малых величин, теории вероятности или интегральном исчислении? Мог ли тягаться с Андреем Субботиным, если речь заходила о вселенной, характеристике небесных тел и галактики? Игорь Дремов был не только отличным биллиардистом и незаменимым нападающим в гарнизонной хоккейной команде. Он выступал с блестящими философскими докладами, мог часами говорить о древнегреческих мыслителях, о римском праве, материалистах восемнадцатого века, о ленинских философских работах. Сергей Ножиков был не только их партийным вожаком, но и отличным инженером. Вместе с Володей Костровым он часто выезжал на завод, где создавались новые космические корабли, вместе с конструкторами участвовал в сложных усовершенствованиях.

Алеша гордился, что попал в семью этих умных, дружных людей, но постоянно чувствовал, как много ему еще недостает. И он был рад видеть, с какой трогательной заботливостью все ему помогают учиться и никто при этом не подчеркивает свое превосходство. Его приняли здесь как равного...

* * *

Он всегда спал крепко, как и всякий человек, сменивший много разных жилищ в своей жизни и привыкший быстро засыпать на любой постели. Снился Алексею то родной Верхневолжск и старая добрая мать, то ровное знойное поле соболевского аэродрома и бронзовое от загара лицо комдива Ефимкова, то сосредоточенный Володя Костров, с которым он никак не может решить математическую задачу. Сны были разными, сменялись быстро и неожиданно, вплоть до той минуты, когда жесткий звонок будильника обрывал их. Открыв глаза, Алексей мгновенно возвращался к действительности. В сурдокамере было тепло, на пультовой уже включили свет, и он видел четкие часовые стрелки, показывавшие семь утра.

Алеша включил микрофон, чуть хрипловатым со сна голосом передал:

— Сегодня десятое апреля. Семь часов две минуты. Температура в камере плюс восемнадцать, пульс шестьдесят два. Приступил к выполнению распорядка. Летчик-космонавт старший лейтенант Горелов.

Он зевнул и стал умываться. Струйки холодной воды лениво бились о металлическую раковину. Отфыркиваясь, тер полотенцем лицо. И не знал, конечно, какое оживление царит сейчас за звуконепроницаемыми стенами сурдокамеры. Голос Василия Николаевича Рябцева настиг его в ту минуту, когда Алексей просовывал курчавую голову в воротник синего свитера.

— Внимание, внимание! Как вы меня слышите, Алексей Павлович?

Голоса «оттуда», из внешнего мира, очень редко проникали в камеру, и Горелов удивился, что сам начальник лаборатории затеял с ним разговор в такую рань. Откликнулся:

— Хорошо слышу.

— Вот и чудесно, — весело продолжал Рябцев, — через двадцать минут мы вас выпустим.

— Меня? — спокойно переспросил Алексей. — Так скоро?

— Ничего не поделаешь. Опыт завершается. Каждого космонавта, выходящего из сурдокамеры, мы встречаем музыкой. Что вам включить? Чайковского, Шопена, Моцарта? Может, легкой музыкой встретить?

— Нет,— засмеялся Горелов,— арию князя Игоря «О дайте, дайте мне свободу!»

— Обоснованно просите,— согласился Рябцев, и тесная сурдокамера, такая непривычная к лишним звукам, наполнилась голосом певца, восклицавшего под аккомпанемент оркестра «О дайте, дайте мне свободу!»

Алексей слушал улыбаясь, ладонями подперев голову. А за двойной дверью сурдокамеры все нарастало и нарастало оживление. Дежурная лаборантка Сонечка, поправив высокую пышную прическу, крутила регуляторы, устанавливая на экранах телевизоров самую четкую видимость. За ее спиной колыхались тени, гудели веселые голоса врачей и космонавтов, пришедших встретить Горелова. На стене красовался боевой листок. Марина Бережкова и Женя Светлова читали вслух короткую заметку:

«Дорогой Алеша! Вот и заканчивается сегодня твое нелегкое испытание. Утром ты выйдешь к нам после десятидневного одиночества. Ты провел в сурдокамере тот срок, которого с лихвой хватило бы, чтобы пропутешествовать в космическом корабле к нашей соседке Луне и вернуться обратно. Мы убедились за эти дни, что ты спокойный, волевой человек и в достатке обладаешь теми качествами, которые так нужны человеку твоей профессии».

За спиной у Сонечки подполковник медслужбы Рябцев кому-то пространно объяснял:

— Обратите внимание на рисунки, наклеенные Гореловым на шкаф с провизией, и на шутливые подписи к ним. Алексей Павлович, вероятно, и сам не предполагает, какой он жизнерадостный парень. Только одиночество смогло это выявить.

— А я с вами в этом не согласна,— вдруг запротестовала Марина Бережкова.— Мы давно знаем, что он общительный и жизнерадостный.

Она неожиданно вспыхнула, и все на нее посмотрели. Рябцев недоуменно приподнял покатые плечи, но не возразил ей.

— Однако мы увлеклись,— сказал Рябцев.— Пора выпускать нашего узника.

Горелов вскочил с кресла, едва лишь загрохотали тяжелые двери. Он ожидал увидеть только Рябцева и лаборантку Сонечку и удивленно попятился, когда в суровую его обитель ворвалось около десятка человек. Первым облобызал его Андрей Субботин.

— Алешка! Поздравляю тебя с выходом из одиночки. Какие великие идеи родились в твоей курчавой голове за это время? Гляди, а бородища-то какая выросла! Может, мне еще раз сюда попроситься суток на двадцать. Вдруг волосы отрастут, а?

— Ну что! Рад свободе, князь Игорь? — улыбался более сдержанный Костров.

Широколицый Ножиков тянул издали руку:

— А я от имени и по поручению...

— Партийного бюро, что ли? — засмеялся Горелов.

Женя кокетливо заметила:

— А ему очень идет борода. Ты как находишь, Марина? Не Алеша Горелов, а этакий Дон Диего рыцарских времен.

Но Бережкова никак не откликнулась на шутку подруги. Подошла к Горелову, протянула сразу обе руки.

— Здравствуй, Алеша,— сказала она просто, и только один Горелов заметил, как стыдливо опустились ее ресницы.

Тем временем Рябцев деловито гудел:

— Обратите внимание, товарищи. Вот зимний пейзаж. Знаете, при каких обстоятельствах Алексей Павлович его рисовал? Усложняя испытание, мы ему на некоторое время создали довольно суровый тепловой режим. Ему было душновато, и, чтобы легче переносить жару, Горелов ушел, что называется, в зиму.

— А это, интересно, при каких обстоятельствах создано? — громко спросил Андрей Субботин, показывая на портрет Марины Бережковой.— Василий Николаевич! С точки зрения врача-психолога не объясните ли?

Рябцев, стиснутый со всех сторон, молча всматривался в портрет. Краски высохли и стали ярче. Смуглое лицо Марины было хорошо освещено. Добрые глаза, согретые застенчивой усмешкой, как живые смотрели на подошедших, словно хотели спросить, зачем те нарушили ее уединение с художником.

— Да это же превосходно! — проговорил Володя Костров.

Рябцев, откидывая голову то влево, то вправо, любовался портретом, как завзятый ценитель.

— Алексей Павлович... Не нахожу слов.

— Я, разумеется, не умаляю этого шедевра,— бубнил Субботин,— но почему автор избрал объектом Марину? Ребята, к этому вопросу надо вернуться.

Ножиков хмыкнул:

— Андрюха, про таких, как ты, Козьма Прутков в свое время говорил: «Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану».

— Ребята, а почему не высказывается сама героиня? — упорствовал Субботин, которого не так-то легко было смутить.— Мариночка, оцени исполнительское мастерство. Где ты, Марина?

Космонавты, столпившиеся в сурдокамере, напрасно ждали от Бережковой слова. Никто из них не заметил, как она вышла.

* * *

Апрель. Он был необыкновенно теплым и щедрым в этом году. После душной сурдокамеры, притупившей на какое-то время восприятие красок и звуков окружающего мира, Алеша Горелов буквально задохнулся от пьянящего голубого воздуха и парного запаха просохшей земли. Он уходил в сурдокамеру, когда еще потрескивал мороз и на аллеях городка лежала ледяная корка, а с зеленых разлапистых елей сыпалась пороша. А сейчас таким помолодевшим выглядело кругом все: и серые здания, и первые листочки на месте недавних почек, и серый асфальт под ногами, уже чуть согретый солнцем.

Вечером Алексей вышел погулять. Даже в легком военном плаще было жарковато. За зеленым дощатым забором угасало солнце, озаряя малиновым светом стволы берез и елей. За его спиной электрическими огоньками загорался городок. Гремела в гарнизонном клубе радиола. Проходя по дальней аллейке, Горелов увидел скользнувшую навстречу ему тень, услышал хруст гравия. Он сразу все понял и растерянно улыбнулся:

— Это ты, Марина?

— Я, Алеша...

Она подошла и доверчиво посмотрела на него.

— Здравствуй, Алеша. Там, в сурдокамере, было много людей, и я даже не могла с тобой толком поздороваться.

Ее маленькие сильные руки были горячими. Марина их долго не отнимала. Легкий ветерок ласкал непокрытую голову. Едва слышно шуршал на девушке плащ.

— Ты гулял, Алеша? Давай посидим.

— Давай, Марина.

Скамейка была чуть влажной от вечерней росы. Одетые сумерками, они не видели друг друга, но Горелов чувствовал, как она волнуется. Он и рад был и не рад этой неожиданной встрече. Он твердо знал, что если будет молчать, девушка заговорит первая. Все равно от этого разговора не уйти. Что он ответит? Да, Марина ему нравится, и больше всего боится Алексей обидеть ее холодным словом. Но разве это честно — подать ей надежду, вскружить голову, а потом горько разочаровать? Плечо Марины было рядом, и, если бы он сделал одно движение навстречу, слова стали бы ненужными. Но он не сделал этого движения.

— Тебе не зябко? — спросил он довольно спокойно.

Она промолчала, лишь покачала отрицательно непокрытой головой.

— Зачем ты рисовал меня в сурдокамере? — промолвила она тихо.

— Чтобы дать Субботину тему для острот.

— Неправда, Алеша. Зачем? Я была просто поражена. И я, и не я. Ты нарисовал меня гораздо лучшей, чем я есть.

— Нет,— горячо запротестовал Алеша,— ты в жизни еще лучше, Марина.

— Чепуха,— глуховато рассмеялась она.— Выдумщик, да и только. Что ты вообще обо мне знаешь?

— Все и ничего,— пожал он плечами.

— Вот именно — все и ничего,— грустно повторила девушка.— Я часто думаю: какие у нас коротенькие биографии! Зимнего не брала, с басмачами и кулачеством не сражалась, у Доватора в кавалерии не служила, знамя над рейхстагом не водружала... А если разобраться, то как много в этих биографиях и радостей и потрясений. Я, например, даже родителей своих не помню. Считают меня сибирячкой, а если по правде говорить, то какая я сибирячка! Родилась подо Ржевом, потом война. Смутно помню столб огня перед глазами. Это когда фашистская бомба в наш дом угодила. А потом чужие руки меня из огня вынесли. Отец и мать погибли. А дальше — детдом, интернат, техникум, парашютный спорт. Дальше, как у всех. Жаль только знаешь чего, Алеша? Вот прошла я по своей коротенькой жизни, все ко мне хорошо относились. Но ни разу материнской ласки и отцовского тепла не почувствовала. Думаешь, я ожидала, что ты мой портрет в сурдокамере нарисуешь? Нет, конечно... Это для меня как самая лучшая ласка. Вот и спрашиваю поэтому, отчего меня для портрета выбрал?

У нее жалко дрогнул голос. Алеша понимал, как хочется сейчас Марине ласки и сочувствия. И ему захотелось ее утешить. Только утешить. Алеша нашел в темноте ее горячие ладони, взял в свои.

— Чудачка! У тебя же чудесное лицо, Марина. В нем столько доброты, отзывчивости. Я часто о тебе думал за теми стенами.

— А я о тебе все время здесь, Алеша,— шепнула она в ответ.

Весенний ветер тугим парусом выгнулся над городком. Смутными фиолетовыми огоньками трепетали над землею звезды. Марина всматривалась в них, угадывая знакомые астрономические сочетания.

— Спасибо, Марина,— Алексей крепче сжал ее руки.

Им владело странное и грустное чувство. Словно он теряет что-то самое дорогое, а не потерять не может. «А если не так? — озадачил он себя.— Если поцеловать, приласкать эту искреннюю в своем порыве, в сущности еще совсем-совсем девчонку? Ведь небезразлична же она тебе? — Но целая буря протестующих мыслей метнулась в ответ.— Как ты смеешь, если знаешь, что не можешь полюбить ее по-настоящему! Пойти на сделку с совестью, обмануть и себя и Марину?» Он долго молчал. Плечо девушки придвинулось к его плечу, и даже в темноте различал он наполненные ожиданием ее глаза. Марина вздрогнула.

— Тебе холодно?

— Нет, это от звезд.

— Почему от звезд?

— Чудной ты, Алешка! Просто я на них загляделась, и только. Далекие, стылые. Понять не могу, почему со звездами люди всегда связывают самое святое и нежное — объяснение в любви. Для меня звезды — это далекие безлюдные тела, к которым надо лететь через страшные радиационные пояса, опасаясь на пути метеоритов... Как хорошо на Земле!

— Значит, тебе и в космос не хочется?

— Что ты! — отстранилась она настороженно.— Космос для нас — самое заветное. Теперь и для тебя и для меня это цель жизни.— Помолчала и прибавила: — Только звезды от этого не станут ближе и теплее.

И опять Алексею стало грустно.

— Хорошая ты, Маринка!

— Я бы очень хотела, чтобы мы когда-нибудь попали в один космический экипаж, Алеша,— тихо заговорила она.— И полетели куда-нибудь далеко, далеко... Не по орбите...

— С такой, как ты, я куда угодно,— сказал Горелов,— и если какая беда, я бы тебе весь свой кислород отдал!

— Вот как! — засмеялась она счастливо. Ей было зябко в легком нарядном плаще, но скорее не от сырой весенней ночной прохлады, а от волнения.

— Алеша, — спросила она переставшими слушаться губами, — ты кого-нибудь любил?

Он ссутулился, отрубил коротко, как выстрелил:

— Нет. Не любил и не люблю.— И сразу почувствовал, как легла меж ними холодная тусклая межа, хотя плечо девушки все еще касалось его плеча. И не разумом, а скорее сердцем понял он, что надо немедленно эту межу убрать, только тогда они останутся настоящими друзьями и много времени спустя будут легко и благодарно вспоминать эти минуты, когда не обманули друг друга.— Ты пойми меня,— заспешил он,— слишком еще короткая у меня жизнь. И такая торопливая. Совсем как лента в кино. Что в ней было, я тебе по пальцам пересчитаю. Детство без отца, сгоревшего в танке. Обиды от отчима. Мама. Живописи немного. И вот наш городок... Так что места для любви в этой жизни попросту не осталось. Понимаешь, Маринка, я это тебе самым честным образом. А ты... ты — настоящий мне друг, Маринка,— закончил он сбивчиво.

Девушка отодвинулась и выпрямилась. Алеша увидел большие печальные глаза, боль в складках у рта.

— Это все, что ты хотел мне сказать?

— Все, Марина.

— А других слов ты для меня не найдешь?

— Нет, Марина.

— Тогда прощай. Спасибо за правду.

Она встала и медленно пошла по аллейке, неестественно прямая от того, что была придавлена первым в ее короткой жизни горем. Алеша сорвался с места и догнал ее в конце темной аллеи.

— Маринка, ты только не сердись. Ты пойми, у меня никогда ни сестренки, ни брата не было, и мне больно потерять в тебе друга. Хочешь, Маринка, я тебе сейчас портрет этот подарю? — просительно протянул он.— Давай сейчас же ко мне зайдем. И чаю попьем. Ладно?

Она обернулась, и по лицу ее было видно, что она уже овладела собой. Лишь в больших глазах горела обида.

— За портрет тебе большое спасибо. Сейчас же его заберу. Да и чаю у тебя выпью,— отчаянно махнула она рукой, и тогда Горелов обхватил ее за плечи, привлек, несопротивляющуюся, к себе и поцеловал в мягкие теплые губы, но совсем не тем поцелуем, какого ожидала Марина.

* * *

Прошла неделя. Апрель бушевал над затерянным в подмосковных лесах городком космонавтов. Кроны деревьев сделались вызывающе яркими, зазеленели цветочные клумбы и даже одинокое вишневое дерево, что стоит за проходной, начало покрываться белым цветом. Днями ярко светило солнце, а по ночам, ему на смену, выходил месяц и безмолвно сторожил звездные стада Вселенной. К полуночи воздух становился холодным, сырым — Алексей закрывал окно. Но и сквозь гладкое темное стекло он видел желтое загадочное лунное сияние и невольно ловил себя на мысли, что любуется им совершенно профессионально, не забывая, что далекая холодная Луна стала теперь его целью, так же как и целью всех других космонавтов их маленького отряда.

Когда не спалось, Алеша вспоминал недавнюю беседу с генералом Мочаловым. Тот вызвал его как-то к себе в кабинет и очень доверительно, как равный у равного, спросил:

— Вы знаете, Горелов, какая задача стоит перед нашим отрядом?

Алексей не совсем уверенно кивнул головой:

— Учиться, готовить себя к космическому полету.

— А точнее? — улыбнулся Сергей Степанович.— К каким космическим полетам?

— Вероятно, об этом я узнаю позднее.

— Это верно,— подтвердил генерал,— но вы, Алексей Павлович, уже сейчас должны знать, какая задача стоит перед отрядом. Это знают все ваши коллеги.

— Кроме меня.

— Не удивительно,— успокоил его Мочалов.— Вы пришли в отряд позднее других и только сейчас заслужили право об этом узнать. — Мочалов снял чехол с большого глобуса, стоявшего на сейфе. Горелов настороженно следил за его движениями. — Знаете, что это такое? — продолжал генерал. Алеша чуть было не брякнул: «Конечно, знаю. Еще с третьего класса», но вдруг понял: в руках командира отряда был вовсе не тот глобус, с каким каждый знаком со школьной парты, а глобус Луны. — Вот цель, поставленная перед нашим отрядом, — тихо продолжал генерал, и Алеша, все уже понявший, оцепенел от удивления.— Я не знаю, когда это произойдет и кто поведет первый космический корабль: Костров

или Дремов, Субботин или вы. Но именно наш отряд пойдет к этой цели. Мы не будем участвовать в программе обычных орбитальных полетов.— Генерал замолчал и щелкнул по голубому глобусу. Маленький лунный шар с легким скрипом пришел в движение.— Что мы знаем о Луне, Алексей Павлович? Много и слишком мало, потому что многое может легко меняться и оборачиваться в свою противоположность при ближайшем знакомстве, ибо ничто не вечно под Луной. До нее, голубушки, меньше чем четыреста тысяч километров. Днем там сто двадцать градусов жары, а ночью сто пятьдесят градусов холода. К этой характеристике можно было бы прибавить и многое другое. Не так ли?

— Совершенно верно, Сергей Степанович,— бодро подтвердил Алеша,— но разве это так просто — сразу на Луну?

— Чудак человек, а кто же сказал, что сразу? — пожал плечами Мочалов.— Еще не однажды будут стартовать космонавты, прежде чем мы решимся на высадку человека на другой планете. Сначала надо разведать радиационные пояса на больших высотах, метеоритную деятельность и действие солнечных взрывов, магнитные поля Луны, облететь ее, а уж потом... Но любой полет, который будет осуществлен нашим отрядом, входит в план «Луна».

Сейчас Алеша вспомнил эту беседу с генералом и, глядя на желтый серп месяца, встревоженно подумал: «Неужели и на самом деле придется когда-нибудь пролететь над морем Спокойствия или лунным полюсом? Просто не верится...»

Рано утром Горелова разбудил телефонный звонок. Говорил дежурный по штабу:

— Алексей Павлович, к семи ноль-ноль к генералу.

— Чего это в такую рань? — поинтересовался Горелов, но получил в ответ лаконичное «Не знаю».

В назначенное время в кабинете у Мочалова он застал помимо самого генерала майора Ножикова, полковника Иванникова, замполита Нелидова и еще одного незнакомого человека в штатском, черноволосого, с подвижными, глубоко посаженными глазами и загорелым лицом. Был он в светлом лавсановом костюме и летних туфлях.

— Старший лейтенант Горелов явился, товарищ генерал,— доложил с порога космонавт.

Мочалов озабоченно кивнул головой и спросил:

— Вы сегодня хорошо отдохнули, Алексей Павлович?

— Хорошо, товарищ генерал,— ответил Алеша и посмотрел на незнакомца. Люди в штатском часто навещали городок космонавтов и удивления у него не вызывали, но этот появился очень рано, и, значит, неспроста. Штатский сдержанно улыбнулся, перехватив его взгляд.

— Товарищ Горелов,— медленно заговорил Сергей Степанович,— вам предстоит пройти ответственное испытание. Подробно объяснит его условия Станислав Леонидович,— кивнул он на штатского,— с ним вы и уедете.

— Слушаюсь,— по-военному коротко откликнулся Горелов,— с собой брать ничего не надо?

— Не надо. Я вас всем обеспечу,— пояснил штатский.

Ножиков и Нелидов как-то очень серьезно поглядели на Алексея, и тот почувствовал, как в него закрадывается тревога. Но Мочалов добродушно подбодрил:

— Испытание интересное, Алексей Павлович. Ни пуха вам, ни пера.

Штатский гулко рассмеялся и неожиданным для его не слишком могучей фигуры басом спросил:

— Это вы кому «ни пуха ни пера» пожелали, Сергей Степанович? Горелову или мне?

— Обоим,— уточнил командир отряда.

У штаба стояла длинная черная машина. Штатский сел рядом с водителем, Горелов — сзади. Когда машина плавно тронулась, он обернулся и коротко сказал:

— Меня можете называть Станиславом Леонидовичем.— И тут же спросил: — Значит, на здоровье не жалуетесь, Алексей Павлович?

— Да нет,— подтвердил Алеша,— не хуже, чем у других космонавтов.

— А жена, дети?

— Так у меня же их нет.

— Вот как! — с удивлением воскликнул штатский и погрузился в долгое молчание.

Нет, он не был веселым собеседником. За всю дорогу так больше и не возобновил разговора. Машина бесшумно скользила по широкой окружной автостраде, потом, не доезжая до Москвы, снова свернула в лес и по извилистой узкой дороге примчала их к белому каменному забору. Часовой бегло взглянул на сидевшего рядом с водителем человека в штатском, молча взял под козырек и отворил

ворота. «В лицо знают,— подумал Горелов о своем спутнике, — не из рядовых необученных этот Станислав Леонидович». Машина остановилась у высокого белого здания, увенчанного куполом, и Алеша тотчас же догадался, что это одна из тех многих испытательных станций, без которых немыслима подготовка космической техники и космонавтов.

— Вот мы и приехали,— почти весело сказал Станислав Леонидович.

На широкой лестнице их никто не встретил, но когда они шли длинным коридором, люди уступали им дорогу, и по тому, с какой почтительностью они здоровались с человеком в штатском, Алексей понял, что здесь он один из главных. В большом рабочем кабинете Станислава Леонидовича все стены были увешаны чертежами и фотографиями космонавтов в скафандрах, в углу на специальной вешалке поблескивал гермошлем, висел голубой теплозащитный костюм. Над широким столом, совершенно пустым, если не считать чернильного прибора, календаря и маленького бюста Циолковского, висела большая картина, не имевшая никакого отношения к космонавтике. Накренившись на левый борт, двухмачтовый фрегат боролся с бушующим морем. Низкое полутемное небо падало на разгневанную поверхность моря, и казалось, что вспененные верхушки волн дотрагиваются до него. У Алеши, не помнившего этого сюжета, манера письма не оставляла никаких сомнений.

— Айвазовский,— сказал он уверенно.

— Подлинник,— гордо заявил Станислав Леонидович,— такой картины нет ни в одном музее. Мочалов говорил, что вы тоже художник.

Горелов махнул рукой.

— Да уж какое там... так, балуюсь.

— Ну, ну, не скромничайте. У Сергея Степановича превосходный вкус и чутье...

Он сел в кресло и сцепил перед собой руки на зеленом сукне. Горелов отметил — на правой не было мизинца. Человек в штатском перехватил его взгляд.

— Это подо Ржевом... в сорок втором,— пояснил он,— я тогда командовал инженерным батальоном особого назначения. Словом, дела давно минувших дней.— Живое лицо Станислава Леонидовича на мгновение стало задумчивым, и он продолжал: — Так вот, дорогой мой Алексей

Павлович, теперь давайте к делу. Вы сейчас находитесь в гостях у конструктора космических скафандров. В его пенатах. Что такое скафандр космонавта — мне вам пояснять не надо. Сейчас практически доказано, что экипаж корабля, приспособленного для мягкой посадки, в состоянии обойтись без скафандров, которые, согласитесь, сковывают и утомляют человека. Вы знаете, что такой полет готовится. Так вот полет еще не состоялся, но некоторые товарищи уже подняли шум: а нужны ли скафандры вообще для космических полетов; а не лучше ли считать устаревшим это облачение, раз доказана полная возможность полета в космос без скафандров? Все это, разумеется, чепуха,— жестко произнес Станислав Леонидович, и глаза его сузились,— но давайте оставим в покое дилетантов. Вы, Алексей Павлович, прекрасно понимаете, что исследователю космоса без скафандра не обойтись.

— Это же ясно! — воскликнул Горелов.— Разве можно осуществить выход из корабля без скафандра? А защита от космических лучей и радиации? А на другой планете — там же только скафандр даст возможность двигаться и работать!

— Совершенно верно,— кивнул конструктор,— жизнеобеспечение космонавта в дальнем полете невозможно без скафандра. Так вот, Алексей Павлович, мы приготовили новый тип скафандра, предназначенный для пространства, где нет кислорода, а колебания температуры будут достигать ста пятидесяти градусов холода и ста двадцати жары.

— Как на Луне? — уточнил Горелов.

— Почти так,— согласился конструктор.— Этот тип скафандра уже испытывался на людях. Кое-что мы учли. И вот теперь решили привлечь к очередному испытанию вас, космонавта. Все мерки для изготовления скафандра наши товарищи с вас уже взяли. Скафандр готов. Я надеюсь, что все получится отлично, Алексей Павлович. Вашему сердцу, нервам и мышцам сам Илья Муромец смог бы позавидовать. Короче говоря, за дело.

Несколько дней изучал Горелов новый скафандр, долго обживал эту не совсем удобную и привычную одежду. Потом Алеша поступил в распоряжение врачей. В субботу вечером, пройдя все обследования, он освободился и был направлен на отдых в гостиницу — маленький двухэтажный коттедж, светлые стены которого прятались в ельнике.

В закатный час он долго сидел на широком балконе, любуясь падавшими на лес синими сумерками и далеким заревом подмосковных огней. Ему было досадно, что не может он подавить непонятного внутреннего волнения перед предстоящим испытанием. Шутка ли, первым из всего отряда ему доверяют побывать в обстановке, напоминающей пространство, окружающее другое небесное тело. И пусть это сходство будет приближенным, все равно от него, Алексея Горелова, облаченного в новый скафандр, потребуется необыкновенная выносливость и хладнокровие. Конструктор так и сказал: «Если выдержите это испытание, Алексей Павлович, большие перед вами перспективы откроются». «А если не выдержу?» — вдруг подумал Алеша, и у него дрогнуло сердце. Но крепкий здоровый сон убил эти сомнения, и утром он явился на испытательную станцию свежим и бодрым. Врачи снова замерили пульс и дыхание, зубцы самописца вывели на бумаге зыбкую линию кардиограммы. Седой подполковник поглядел на нее и похлопал Алешу по обнаженной спине:

— Отличные показатели. Вы посмотрите-ка, Станислав Леонидович,— сказал он вошедшему в комнату конструктору, но тот с непроницаемым, озабоченным лицом прошел мимо и даже не кивнул Горелову, словно и не был с ним знаком. Лишь с порога требовательно кинул:

— Поторопитесь, Лаврентьев. Через полчаса начинаем.

Появился еще один подполковник с узким, в складках лицом и коротко пригласил:

— Идемте, товарищ Горелов, наш час настал.

Возможно, он хотел пошутить, но голос прозвучал сухо и скованно. Следуя за ним, Горелов поднялся на второй этаж, вошел в светлый зал с высокими сводчатыми потолками и увидел огромное сооружение, похожее на ажурный белоснежный дирижабль.

— Это и есть опытная термобарокамера,— не оборачиваясь, пояснил подполковник.

— В термокамере я уже побывал...— протянул было Алеша, но тот его сдержанно перебил:

— Это совсем не то.

Но Алеша и так уже понял, что отсеки в лаборатории Сергея Никаноровича Зайцева ничем не напоминают этот дирижабль. Опутанный сетью проводов и труб, он производил внушительное впечатление. У массивной двери из

белого металла стоял Станислав Леонидович в белом хрустящем халате. Сейчас он посмотрел на Алексея ласково и ободряюще, будто спрашивал: «Ну как?» И Алексей, чуть улыбнувшись, ответил:

— Я готов.

— У нас еще десять минут в запасе,— произнес конструктор,— идемте, соседние залы пока покажу.

Конструктор быстрыми шагами провел его в два соседних помещения, и Алеша увидел сложный лабиринт приборов, вакуумных насосов и электронных устройств. Потом они прошли на пульт управления, с которого при помощи телевизоров велось наблюдение за самой камерой.

— На эти приборы можно положиться,— рассказывал конструктор.— Трудно придумать более точные. Они и биотоки, и частоту дыхания, и пульс, и температуру — все берут.— Конструктор несколько нервничал и не скрывал этого от космонавта.— Вы волнуетесь? — спросил он неожиданно.

— Чуточку,— засмеявшись, сознался Алеша.

— А я здорово,— прошептал он.

— Так и вы же держите испытание.

— И еще какое! — воскликнул Станислав Леонидович, и на его осунувшемся лице исчезла улыбка.— Сколько бы ни пережил на своем веку человек, в каких бы переделках ни побывал, а каждое новое испытание рождает новые сомнения и тревоги. А сегодня... Хотя меня и называют в шутку «главным закройщиком космической одежды», но, понимаете, космический скафандр не так просто кроить, как модный костюм.

— Понимаю,— окнул Алеша.

— Вот и хорошо, волжанин,— передразнил его Станислав Леонидович, и оба улыбнулись.

— У нас в Верхневолжске так не окают,— поддел Алеша,— это только плохие киноактеры так окают, когда Максима Горького играют.

— Так я же не киноактер, я к-о-о-нструктор,— протянул Станислав Леонидович.— Теперь слушайте дальше. Космонавт в термобарокамеру допускается после того, как скафандр уже проверен на испытаниях. Вам будут даны три режима. Первый режим: вы проходите сквозь разреженное пространство, заполненное светящимися частицами. Их температура временами бывает очень высокой. Но частицы находятся в постоянном движении,

проносятся с большим интервалом, поэтому воздействие их на организм должно быть незначительным. Потом мы включим режим два, и вы попадете в устойчивую температуру плюс сто двадцать градусов в условиях отсутствия кислорода. Представьте себе, что вы на Луне. Режим три — тоже пребывание на Луне, но уже ночное, когда там господствует космический холод в минус сто пятьдесят градусов. Запомните эти три режима.

— Запомнил, Станислав Леонидович.

— Тогда в камеру.

Под руководством конструктора два молодых техника облачили Горелова в новый скафандр. Жесткая его оболочка была не очень тяжелой. Она состояла из многих слоев: теплоизоляционного, герметического, силового и других. В скафандр непрерывно поступал кислород для дыхания, а вентиляционная система подавляла избыточное тепло. Новый гермошлем был не похож своей формой на предыдущие, открывал перед космонавтом хороший обзор. Горелов сел в просторное кресло, и его накрепко привязали. Затем на руки надели мягкие перчатки, и он услышал щелчки замков. Динамик над головой доносил в камеру голоса.

— Красавец,— поощрительно сказал руководитель опыта, а конструктор ласково похлопал ладонью по стеклу гермошлема.

Потом голоса стихли и Алеша услышал удаляющиеся шаги и легкий скрип, догадался: это закрыли внешнюю дверь, закрыли наглухо, и мощные насосы сейчас возьмутся за свое дело. Теперь за пределами его костюма создавалась такая воздушная среда, что, если на мгновение высунуться из скафандра, кровь закипит в жилах. Непослушное сердце забилось гулкими толчками.

— Алексей Павлович,— донесся голос конструктора,— не утомляйте себя мыслями об испытании, постарайтесь отвлечься.

«Ах вы, подлые доносчики! — подумал Горелов о самописцах, успевших сообщить на пульт, что пульс у него несколько нарушился.— Ерунда, справлюсь как-нибудь с собой.— Мысли бежали быстро и нестройно.— Тебе будет трудно,— убеждал он себя,— но ведь ты же еще не в настоящем космосе, а на земле. За каждым твоим движением наблюдает добрый десяток специалистов. Чего же волноваться?!»

— Вот так,— послышался снова голос конструктора.— Теперь можно и начинать. Через две минуты даю первый режим. Положение корпуса и головы не менять. Движения будете производить по моим командам.

— Есть,— откликнулся космонавт.

Бежали секунды, а он не ощущал никаких изменений. Белый металл шарообразной термобарокамеры окружал его со всех сторон. Спокойно подрагивали на приборах стрелки. Легкий звон улавливался в окружающем пространстве. Бас конструктора возник в ушах:

— Режим номер один, Алексей Павлович... сорок секунд... тридцать... десять...

Легкий звон стал нарастать и крепнуть, вся камера заполнилась им. И вдруг яркие имитационные вспышки, совсем такие, какие возникают при автогенной сварке, резанули по глазам, сначала больно, потом все слабее и слабее, будто накал их постепенно спадал. Стало жарко, и шарообразная кабина неестественно осветилась. «Так будет, когда я выйду в космос из корабля,— догадался Горелов.— Так будет, когда человек один на один останется с черным бездонным космосом». Прошла минута, другая, он постепенно привык и к жаре, и к бушевавшему вокруг яркому свету, они перестали его раздражать. Горелов спокойно выполнял движения, подсказанные с пульта управления, отвечал на вводные, передавал показания приборов, расположенных на специальной доске перед его глазами. Прошло запланированное время, и голос Станислава Леонидовича, но уже не такой торжественный, как перед началом испытания, сообщил:

— Начинаем режим номер два...

Вспышки исчезли, и неестественный свет в термобарокамере померк. Снова ее стены и вмонтированные в гнезда приборы обрели устойчивость и не подрагивали перед глазами. Жара резко спала, и Алеша обрадованно вздохнул. Конструктор задал несколько стереотипных вопросов: «Какое сегодня число?», «Жмет или не жмет скафандр?», «Сколько минут прошло на первом режиме?». Потом стало тихо. В камеру проник желтый холодный свет, совсем такой, какой излучает Луна. Он не резал глаза; скорее, был даже приятен тем, что казался ровным. Но вот Горелов явственно почувствовал, что ему становится в скафандре все жарче и жарче. Резким голосом конструктор запросил:

— Повторите условия режима номер два!

Сделав глотательное движение, Алеша четко ответил:

— Устойчивая температура плюс сто двадцать градусов при отсутствии кислорода.

— Правильно, — одобрил Станислав Леонидович.

«Сто двадцать градусов жары, — проносилось в голове Алексея, — это температура дня на Луне. А день там длится пятнадцать суток. И скафандр все это держит. Вот это одежка!»

Он больше не ощущал нарастания жары. Казалось, она остановилась, дышалось без больших усилий. Так можно было держаться и сутки, и больше, если привыкнуть к температурному режиму. В этом Алеша теперь не сомневался и совсем не удивился, когда услышал восклицания с пульта управления:

— Смотрите, как выдерживает! Пульс и дыхание вошли в норму.

— Потише, товарищи, — прогудел бас конструктора, — не отвлекайте космонавта.

Еще прошла минута, и Станислав Леонидович изменившимся голосом, будто ему самому в совершенно нормальных условиях недоставало кислорода, врастяжку скомандовал:

— Режим номер три... последний.

Желтый устойчивый свет дрогнул лишь на мгновение и снова покрыл стены испытательной камеры ровным слоем. Горелов ощутил толчок, его плотно прижало к спинке кресла. Потом тяжесть прошла, он свободно, по команде конструктора, поднимал то руку, то ногу, отвечал на его вопросы. Все же это утомляло его, и он очень обрадовался, когда вопросы прекратились. Наступила тишина. Неприятная и липкая, она обволакивала сознание. Какое-то новое ощущение непривычно коснулось Алеши. Дыхание! Он ясно почувствовал, с каким трудом давался каждый новый глоток воздуха. Для этого приходилось напрягаться, высоко поднимать отяжелевшую под скафандром грудь. Каждый вдох вызывал в легких покалывание. На контрольном приборе стрелка уперлась в цифру сто пятьдесят. Минус сто пятьдесят градусов нагнали в испытательную камеру специальные насосы. При этой фантастической температуре окаменевало все живое. Только невозмутимая Луна выдерживала ее в длинную

свою ночь. «Что за чертовщина?! — озадаченно спросил себя Алексей. — Минус сто пятьдесят, а мне кажется, что становится очень жарко. Неужели так влияет на организм космический холод? Но я выдержу. Я обязательно должен выдержать, иначе испытание сорвется». Мелкие капли пота проступали у него на лбу, губы, наоборот, пересохли, как во время жары. Тело каменело, клонило в сон. Он старался угадать, сколько еще минут осталось до конца испытания. «Не может быть, чтобы много. Значит, надо собрать всего себя в единый упругий комок и молчать, ни одним мускулом не проговориться, что тебе трудно. А самописцы? Они все фиксируют. Ну и что же? Разве есть пределы, способные остановить мужество? Скоро они иссякнут, эти последние минуты испытания, и я останусь победителем. Только почему слабеет свет?»

Из пультовой донесся обеспокоенный голос конструктора:

— Если чувствуете себя плохо, немедленно доложите.

— Докладываю, — нетвердо начал было Алеша, — чувствую себя хоро... — Стены поплыли куда-то в сторону, лунный свет исчез, и тяжелая, сковывающая лицо и тело плита навалилась на него. Больше он не смог ни слова прибавить и уже не слышал, как на пультовой конструктор изменившимся голосом рявкнул:

— Испытание прекратить!

Он очнулся от легкого шороха — это с головы снимали гермошлем. Прежней слабости как не бывало. Стены камеры были на своем месте, но теперь их не заливал таинственный желтый свет. Они были ажурно белыми, как обычно. Стрелки на приборах не подрагивали. Близко от себя Горелов увидал встревоженное лицо подполковника Лаврентьева. Врач держал его за руку.

— Я что? — сбивчиво спросил Алеша.

— Обморок продолжался минуту и двадцать три секунды. Сейчас пульс нормальный... Самостоятельно прошагать сможете?

— Конечно, смогу, — холодея от неясной тревоги, сказал Алексей.

Техники освободили Горелова от скафандра. Лаврентьев повел его в медицинский кабинет мимо пультовой. В дверях Алеша увидел сумрачного Станислава Леонидовича. Тонкие пальцы конструктора безжалостно стискивали потухшую папиросу.

— Не выдержали, Алексей Павлович...— горько вздохнул он. — А как я надеялся!

— Значит, не получилось? — шепотом спросил Алеша. — Совсем?

— Совсем, Алексей Павлович, — мрачно подтвердил конструктор.

* * *

Домой он возвратился глубоким вечером и был рад, что па пути от проходной и до самой квартиры ни с кем, кроме часового, не встретился. Никогда еще не испытывал Горелов такой подавленности. Забыв закрыть на замок дверь, он прошел на кухню, долго пил из-под крана холодную воду, будто она могла успокоить. Потом снял с головы фуражку и с ожесточением забросил ее в смежную комнату на кровать. Туда же с размаху полетел и китель. Оставшись в тенниске и брюках, Алеша распахнул окно и долго стоял у подоконника.

Над городком космонавтов простиралась тишина. В дальнем лесу одинокий филин попытался соревноваться с соловьем и не смог, умолк. Впервые за прожитые в городке месяцы полупустая квартира тяготила Алешу, и он недобро подумал: «Вот тебе и подсунула фортуна тринадцатый номер! Правильно Мирошников говорил, что здесь ни пера жар-птицы, ни маршальского жезла не уготовано». И ему вдруг вспомнились ссутулившаяся, мрачная фигура капитана Мирошникова и пятеро космонавтов, провожавших его до проходной. «Похоже было на похоронную процессию. А у меня не будет похоронной процессии! — подумал он. — Сам конструктор сказал: испытания не выдержал. Так чего же остается ждать? Какой из меня космонавт, если я не мог в течение каких-то считанных минут перенести режим космического холода. В настоящем полете такой режим надо выдерживать часами!»

Непонятное возбуждение владело Гореловым. Ему все еще мерещился матово-желтый свет термобарокамеры, голос Станислава Леонидовича звучал в ушах: «Не выдержали, Алексей Павлович...» «Ну и пусть! — ожесточенно решил Алеша. — Лучше сам сделаю вывод. Сам разрублю узел!» Он кинулся к письменному столу и на чистом листе бумаги неровными крупными буквами написал:

«Рапорт». Перо авторучки быстро покрыло лист мелкими строчками. Но дописать Горелову не пришлось. Им овладела необыкновенная слабость. Алеша шагнул к постели и, бессильно на нее повалившись, тотчас же забылся в тяжелом непрошеном сне.

Он проснулся оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. Комната была наполнена прохладой раннего утра. За окнами щебетали птицы. Алеша уже знал, что около семи часов этот щебет дружно, как по команде, смолкает. Он привстал с подушки и увидел над собой хмурое лицо майора Ножикова. Над темными его глазами сердито дыбились густые брови. Крупные губы были сердито сжаты, и все его выбритое, успевшее загореть лицо выражало осуждение.

— Сергей... вы? — протянул Алеша пораженно. — В этакую рань в моей комнате?

— Надо входную дверь на ночь закрывать, молодой человек, — сурово сказал Ножиков, — это во-первых. А во-вторых, что это за литературное произведение? — В толстых сильных пальцах майора вздрагивал листок, покрытый мелкими строчками. Медленно, с издевательскими паузами Ножиков прочел: — «Командиру отряда генерал-майору авиации Мочалову. Рапорт. Прошу меня отчислить из отряда летчиков-космонавтов и отправить в прежнюю летную часть. Вчерашнее испытание убедило меня в том, что для длительных сложных полетов в космическое пространство я не подхожу». — Ножиков отвел от себя листок и покачал головой. — Здорово написано, ничего не скажешь, и слог-то какой... Ни дать ни взять «Песнь о Гайавате» в переводе Ивана Бунина.

— Уж как сумел, — буркнул Горелов. Ему сделалось вдруг стыдно оттого, что вчерашний недописанный рапорт попал в руки другого человека. — Заглядывать в чужие письма тоже не следовало бы!

— Нет, следовало! — резко прервал его Ножиков и помахал перед лицом еще не проснувшегося окончательно Алексея листком бумаги. — Такое произведение — не только твое личное дело. Это всех нас касается, товарищ Горелов.

— Так вы пришли ко мне заседание партийного бюро проводить? — издевательски остановил его Алеша. — Тогда почему же без других его членов? Где же графин с водой? Протокол?

— Партийное бюро здесь ни при чем, — еще больше насупился Ножиков. — Я с тобой хочу по душам, как старший...

— Ах, по душам! — протянул Горелов. — Оказывается, заседания бюро не будет, а товарищ Ножиков прибыл ко мне на квартиру проводить, так сказать, индивидуальную работу, наставить на путь истинный заблудшую душу. Ну, давайте.

— Перестань кривляться! — угрожающе сказал Ножиков. — Представь на минуту, как ты будешь выглядеть, если этот рапорт прочтут все наши ребята. Давай поговорим серьезно.

— Серьезно! — зло воскликнул Алексей и стал быстро одеваться. — Давайте говорить серьезно, Сергей. Я не буду ссылаться на этот еще не до конца мною осмысленный и отредактированный рапорт. Я о другом — о вчерашнем испытании. Послушайте внимательно меня, Сергей, и постарайтесь понять. Зачем я рвался в отряд? Зачем отдавал всего себя для учебы и тренировок? Вы скажете — все это наивно сформулированные вопросы. Может быть, не спорю. Но служить космонавтике для меня — цель. Всего себя готов я отдать новому делу. И все шло гладко. А вот вчера...

— Что же вчера? — насмешливо спросил Ножиков и присел на стул.

— Вчера я понял, что не смогу стать настоящим космонавтом, — тихо признался Алеша.

— Почему?

— Испытание доказало, Сергей. Вчерашнее испытание. Я всю жизнь буду помнить Станислава Леонидовича, конструктора скафандров. Сколько в нем скромности и сердечности! Как он на меня надеялся, когда посадил в кресло испытателя в термобарокамере!

— Ну и что же? — смягчился майор.

— Как что! — горячо воскликнул Горелов. — Да разве вы еще не знаете позорных подробностей? Мне дали три режима. Последний, самый тяжелый, — испытание при низких температурах. Огромная цифра минусовой температуры, а сидеть всего несколько минут. Понимаете, несколько. И я не досидел, как ни крепился, не смог выдержать, потерял сознание. Это на земле, не отрываясь от нее ни на метр, когда вокруг тебя десятки людей, когда каждый твой вздох записывают десятки самописцев.

А что же будет в космосе? Ведь если понадобится лететь к той же Луне, например, такую температуру нужно будет выдерживать часами! Так я же в ледяную мумию в скафандре превращусь, Сергей. Какой из меня, к черту, летчик-космонавт! — Он внезапно умолк и, горестно махнув рукой, договорил: — Или мне, как Славе Мирошникову, ждать, пока пройдут десятки медицинских обследований и медики вынесут приговор — в космонавты не годен! Зачем же, Сергей? Ведь я духом не пал, воля у меня еще есть, чтобы вернуться назад в кабину реактивного истребителя, хотя и горько все это.

Ножиков встал со стула, подошел к Горелову и положил ему руку на плечо. Темные глаза майора уже не сердито, а с доброй насмешкой заглянули старшему лейтенанту в лицо.

— Эх, ты, Олеша, — произнес Ножиков, окая, — и как же тебе не совестно! Что же ты думал, дорога к старту для тебя розами будет усеяна, а? Первая осечка, и ты уже за рапорт взялся. Тебе разве кто-нибудь сказал, что вчерашнее испытание зачеркнуло тебя как космонавта?

— Не́-ет, — протянул Алеша.

Ножиков подошел к столу, взял раскрытую, в пожелтевшем переплете книгу.

— Пока ты спал, я на этой странице один римский афоризм обнаружил: «Сделал что мог, и пусть кто может, сделает лучше». Так, по-моему, римские консулы говорили в древности, когда отчитывались и передавали власть другим.

— Разве плохо сказано? По-моему, блестяще.

— Блестяще, — согласился равнодушно Ножиков, — вот ты и решил последовать этому девизу. Раз не выдержал испытания — значит, надо уходить. Пусть, мол, другие пробуют. Шаткая логика. Ты — коммунист, Алеша, и должен помнить, что формула «сделал все что мог» для коммуниста неприемлема. Коммунисты делают и невозможное. Если бы не это, вряд ли была бы победа над фашизмом, атомная энергия, полет Гагарина и многое иное. А ты раскис. Я знаю детали вчерашнего испытания...

Горелов недоверчиво покосился на Ножикова. Простые слова Сергея, тихий его голос странно обезоруживали. И Алеше теперь хотелось только одного — чтобы Ножиков не уходил.

— Не твоя вина, что скафандр не выдержал критических температур. Но в том, что ты не нажал красную кнопку, когда стало не по себе, — виноват.

— Самолюбие, — опустив голову, признался Алеша,— думал, дотерплю.

— Это все закономерно, — улыбнулся Ножиков, — со многими так бывает. Самолюбие часто становится для космонавта препятствием. Надо уметь на него наступать и обезоруживать самого себя, если необходимо. Тебе это еще не под силу. Вот и берешься за подобные рапорты.— Ножиков снова сел, положил на колени широкие ладони. — Нас в отряде немного, но почти у каждого были срывы и даже суровые испытания. Только воля да дружба помогали их выдерживать. Взять хотя бы Игоря Дремова. Ты знаешь Дремова?

— Полгода почти в одном отряде, как же не знать!— пожал плечами Горелов.

— Ну а что ты о нем знаешь?

— Как что? — неожиданно запнулся Алеша, потому что сам себя в это мгновение спросил: «А что я действительно о нем знаю?» — Игорь Дремов, — сбивчиво продолжал он, — сильный парень, немножко гордый. Помните, Сергей, мы же вместе на квартире у Дремова были, когда все рассказывали, как стали космонавтами, когда «большой сбор» проводился.

— И что же о себе рассказал тогда Игорь? — прищурился Ножиков.

Горелов поморщился.

— А он ничего не рассказывал. Промолчал.

— Вот то-то и оно, — подтвердил Ножиков, — ты правильно сказал — гордый Игорь. И волевой, надо прибавить. Ему эта воля с детства понадобилась, если хочешь знать. Да садись, в ногах правды нет.

Горелов снова опустился на кровать. В раскрытом окне появилось заголубевшее от солнца небо, совсем не такое бледное, каким было несколько минут назад, когда Горелова будил Ножиков.

Медленный голос майора наполнял комнату:

— Отец Игоря, Игнат Дремов, с Котовским белых крошил. После гражданской два ромбика в петлицах носил — комдив. Военным округом командовал. Игорю не было и одиннадцати месяцев в тридцать седьмом году, когда к ним на квартиру ночью ворвались незнакомые люди в

штатском, предъявили ордер на арест и увезли отца. Это было в тридцать седьмом году. В газетах и по радио было объявлено, что он враг народа, японский шпион. Жена Игната Дремова, Роза Степановна, женщина молодая, красивая, потужила, потужила, да и вышла снова замуж за горного инженера Орлова. Отчим был умный, честный. Как только Игорь подрос, все ему рассказал. Когда Игоря привели записывать в школу, учитель спрашивает фамилию, мать говорит: «Орлов», а сам он брови сжал, губы стиснул и громко: «Дремов, а не Орлов». Мать на него: «Перестань глупить, отлуплю», а он снова: «Дремов, а не Орлов». Так и записали его в школу Дремовым, и никогда он не боялся этой фамилии, дрался за нее с мальчишками не раз, когда те начинали говорить про отца его плохо. В пятьдесят третьем отца посмертно реабилитировали. Игорь попал в отряд. Шел сначала в числе первых, но случилась с ним такая беда, что, если бы не воля и самообладание, не был бы он сейчас с нами.

— Что такое? — вырвалось у Горелова.

— Подожди, — осадил его Ножиков, — не суйся поперед батьки в пекло. На прыжках парашютных случилось. Мы с Ан-2 в заволжских степях прыгали. Дремов — парашютист что надо. С ним по красоте эволюций одна Женя Светлова может спорить. Точность приземления тоже у парня была высокая. Но в тот час, когда он прыгал, смерч прошел над степью. Игоря отнесло, он опустился на крутой склон оврага и при толчке поломал ноги. Здорово поломал. Три месяца лежал в госпитале на вытяжке. Будем прямо говорить, Алексей, не то чтобы он пал духом, но мысленно уже прощался со своей профессией. Так нам и сказал однажды: «Кто же меня теперь оставит в космонавтах?» Мы на него: «Да как ты смеешь, кто тебе дал право самому себе приговор выносить? Мы лучших врачей мобилизуем, у койки твоей сутками будем дежурить, все новости об отряде рассказывать. Но ты не имеешь права раскисать ни на секунду». Выслушал нас Игорь, губы сжал, по всему чувствуется, растрогали мы его. «Хорошо, ребята, — говорит, — больше не услышите от меня таких слов». Короче говоря, через полгода он снова у нас появился, потихоньку в строй начал входить. Наш бог физкультуры Баринов стал ему уже турник и брусья разрешать, пробежки небольшие, батуд. Все шло гладко. И наконец позволили после перерыва вновь к парашют-

ной подготовке приступить. Вместе с Карповым должен был прыгать Игорь. Погода что надо — ни ветра, ни дождя. Но штурман умудрился рассчитать точку приземления по прошлогодней карте. Получалось, что наши ребята должны были в конце аэродрома приземлиться. По карте все правильно, но ведь карта прошлогодняя. За это время на краю аэродрома дровяной склад выстроили с покатой крышей. И так случилось, что наши ребята должны были опуститься прямо на склад. Карпову повезло — у забора приземлился. А бедному Игорю пришлось садиться прямо на крышу. Когда до нее оставалось метров пять, он похолодел: «Вот это уж настоящий конец карьере космонавта! Теперь уже точно!» Собрал себя в комок, все что смог постарался сделать, чтобы ослабить удар. Опять же по римскому афоризму действовал: «Сделал что мог, пусть другие сделают лучше». Ударился, почувствовал боль, стал гасить купол. Встал на ноги — держат. Спустился с крыши на землю, снова упал, стараясь, чтобы на бок удар пришелся. Опять встал: шаг, второй, а перед глазами мурашки. «Когда же я упаду, — думает Игорь, — сейчас? Нет, на следующем шаге, на пятом, десятом». Себе не верит, что идет, и ноги повинуются. Его на рентген — ни одной трещины. После этого Дремов всегда шутит: «Два раза не умирать. Я теперь на любую Венеру и Марс приземлюсь с парашютом». Вот какие у него кости!

Алеша слушал, не проронив ни одного слова.

— Это не кости, Сергей. Кости тут ни при чем, это — воля!

— Воля, говоришь? — захохотал Ножиков. — Так я же умышленно это слово опустил. Иначе ты опять бы сказал, что я тут партбюро провожу. На-ка, возьми лучше, — закончил Сергей, протягивая Алексею его рапорт.

Горелов взял рапорт, порвал его на клочки...

* * *

Горелов часто думал о том, как встретится с Юрием Гагариным. Но так случалось, что космонавт-1, наезжавший иногда по служебным делам в их отряд, появлялся здесь в те дни, когда Алексей или бывал на занятиях в академии, или на учебных полетах, в сурдокамере, или на вестибулярных тренировках. Однако встреча эта состоялась неожиданно и до крайности просто.

Ранним утром шел Горелов в штаб по широкой асфальтовой дорожке и у цветочной клумбы наткнулся на веселую группу людей. В центре с непокрытой головой стоял генерал Мочалов, рядом щурился на солнце замполит Нелидов. Их окружали космонавты, что-то наперебой рассказывавшие под одобрительные раскаты генеральского смеха. В центре группы Андрей Субботин совсем вольно обнимал крепко сложенного молодого полковника. Подошел Алексей, всем откозырял да так и ахнул: это же Гагарин! Удивительно солнечными были глаза первого космонавта, а на губах трепетала та самая «гагаринская» улыбка, которая столько раз была воспета на всех языках мира и только здесь, в городке космонавтов, среди своих, была такой по-домашнему простой. Андрей Субботин совсем фамильярно подергал Гагарина за локоть и, перекрывая голоса других, сказал:

— Юра, а вот это наш новенький. Старший лейтенант Горелов.

— А я знаю, — просто сказал знаменитый космонавт. — Но он настолько неуловим, что езжу, езжу, а застать не могу. Здравствуйте, Алексей Павлович. Рад с вами познакомиться.

— А уж меня и не спрашивайте о радости, Юрий Алексеевич! — воскликнул Горелов и потряс его руку.

Поправляя встрепанную ветром шевелюру, генерал Мочалов напомнил:

— Это он пробивался к вам, Юрий Алексеевич, с рапортом в Верхневолжске, когда вы проезжали этот город.

— Ах, Верхневолжск! — оживился Гагарин. — Это где нас колокольным звоном встречали. Помню, помню... Что же, Алексей Павлович, не удалось тогда рапорт вручить?

Серые глаза Горелова брызнули смехом:

— Куда там, Юрий Алексеевич. Даже за дверцу вашей машины подержаться не пришлось.

— Верю, — засмеялся первый космонавт, — придет время, сами еще не раз убедитесь, что далеко не всегда легко бывает космонавту быть доступным и внимательным, когда его встречают тысячи.

Гагарин, перестав смеяться, посмотрел на часы.

— Ну вот что, — сказал он, обращаясь к Горелову. — Делу время — потехе час. Сейчас мы будем совещаться, а в пятнадцать десять заходи в кабинет начальника штаба. Потолкуем, волжак.

Алеша явился в назначенное время. Юрий Алексеевич без кителя сидел за столом полковника Иванникова, что-то писал. Сильные его лопатки туго обтягивала офицерская рубашка. Судя по подстриженным вискам, он недавно побывал в парикмахерской. Метнув на Горелова беглый взгляд, одобрительно отметил:

— А-а, пришел, волжак. Отлично. Сядь подожди.

Минуту спустя он закрыл записную книжку, спрятал в карман авторучку — и потекла беседа. Сначала Юрий Алексеевич заставил Горелова рассказывать о себе. Слушал терпеливо, подперев рукой подбородок. Потом заговорил сам и незаметно увлекся. Вспоминал первые тренировки космонавтов, первых тренеров и врачей, руководивших опытами, приводил разные смешные истории, которые произошли либо с ним самим, либо с Титовым, Быковским, Николаевым. Горелов смотрел на его молодое, свежее, будто росой умытое, лицо и дивился: сколько энергии таится во взгляде веселых глаз космонавта, в росчерке рта и его точных, выдающих ловкость и силу движениях! И, глядя на него, думал Алексей: «Вот сидит передо мной человек, которому суждено навечно остаться в истории. Будут проходить десятилетия и столетия, совершаться революции и землетрясения, уходить в прошлое и сменяться более совершенными социальные системы, а имя Юрия Гагарина вечно будет жить в истории, точно так же, как и имя Главного конструктора, создавшего первый космический корабль. А ведь всего на неполных семь лет старше меня Гагарин».

Неожиданно улыбка сбежала с лица Юрия Алексеевича, и он спросил:

— Значит, обжился, говоришь, и в отряде понравилось?

— Понравилось, товарищ полковник, — подтвердил Горелов, почувствовав, что сейчас надо отвечать деловито. И действительно, Гагарин заговорил строже, даже на подчеркнутое «вы» перешел, и подумал Алеша, что таким суровым и требовательным едва ли представляет Юрия Алексеевича кто-либо из тех, кто знает его только по портретам, газетным очеркам да кинофильмам.

— С вашей подготовкой меня генерал Мочалов ознакомил, — продолжал Гагарин, — видел я и отчеты, и расшифрованные кардиограммы. Хорошие показатели, товарищ старший лейтенант. Значит, надо еще упорнее над

собой работать. Профессия летчика-космонавта среди героических профессий самая молодая. Но и она уже имеет два поколения. Побывавшие в космосе — одно поколение, готовящиеся к запускам — другое. Первое поколение тем мир удивило, что поборолo силы земного притяжения и вырвалось в космос. Вы же пойдете дальше, вам будет интереснее и сложнее. Готовы ли вы к трудностям? Лично вы, старший лейтенант Горелов?

Алеша поднялся и твердо, не избегая испытующего гагаринского взгляда, ответил:

— Готов, товарищ полковник. Всегда готов.

И первый космонавт снова осветился доброй улыбкой, давая понять, что уводит его от официальной беседы в русло дружеского доверительного разговора.

* * *

Володе Кострову далеко не всегда было весело. В маленьком отряде космонавтов за ним давно уже укоренилась репутация самого уравновешенного и вдумчивого человека. Даже наиболее строптивый, порою задиристый и острый на слово Андрей Субботин воспринимал любой его совет, как приказ самого высокого начальника. Горелов его попросту боготворил, Дремов и Карпов часто обращались к Кострову за помощью и в житейских делах, и в учебе. Женя и Марина угадывали в его мягких, адресованных им замечаниях трогательную заботу старшего о младших. Сергей Ножиков — тот, пожалуй, не выносил на обсуждение в партийном порядке ни одного вопроса, не согласовав его с Володей. И когда в самых задушевных беседах космонавты размышляли, кто из них будет кандидатом на очередной полет, рослый Олег Локтев или порывистый, всегда чуть возбужденный Игорь Дремов при всеобщем одобрении говорили:

— Как кто? Конечно же, майор Костров.

Но самому Кострову далеко не всегда казалось, что это будет так.

У всякого человека есть широкий круг друзей, которым он свободно рассказывает о себе почти все. Есть и более узкий круг, с которым он делится своими тайнами, замыслами. И есть, наконец, своя собственная совесть — беспощадный и неподкупный судья и советчик. Ты можешь поступать так или иначе, внимать или не внимать

ее голосу, но совесть все равно скажет свое беспристрастное слово, скажет одному тебе — прямо, без обиняков.

Володя Костров часто советовался с собственной совестью. Она представала перед ним в образе тихого и с виду застенчивого человека с небольшими темными усиками и мягкой прядью волос на лбу. Этого человека он не видел с июня сорок первого года, но единственную фотографию его бережно хранил и в эвакуации, и потом, когда умерла состарившаяся от горя мать, оставив в немногочисленных бумагах официальную справку со страшными словами: «Пропал без вести». И когда возникала необходимость посоветоваться о чем-то самом сокровенном с собой, он мысленно обращался к этому человеку, как к собственной совести. «Ты меня выслушай, отец. Выслушай и скажи, что бы ты сделал на моем месте. Все ребята намного меня моложе и сильнее. И Карпов, и Дремов, и тем более Горелов. Они сложены не хуже, чем римские гладиаторы, легко переходят с турника на брусья, оттуда на кольца или батуд. А я тихонько отхожу после первого же комплекса упражнений в сторону, потому что учащенное дыхание распирает мне грудь. И отхожу в сторону я только затем, чтобы ничего этого не заметил наш физрук Баринов. Однако он всевидец. Он уже давно отметил, что мои прыжки через голову над сеткой батуда стали тяжелее и падаю я не так ловко, как три-четыре года назад. Но он подходит ко мне и по-братски шепчет в самое ухо — так, чтобы другие не услыхали: «Ничего, Володя. Мы же старая гвардия. Нам трудно с такими, как они, тягаться. Успокойся. Полторы минуты передышки, и снова к снарядам». Я беру себя в руки и опять, как на поединок, выхожу к снаряду. Но мои тридцать семь! Они никак не хотят соревноваться с двадцатью шестью Игоря, двадцатью восемью Карпова и тем более двадцатью тремя самого молодого и крепкого среди нас — Алеши Горелова. Так же и в термокамере, на вестибулярных тренировках, когда ты с закрытыми глазами раскачиваешься на качелях или вращаешься на стуле, устроенном в полосатом шатре, а белые и черные полосы, густо нарисованные на холсте, мечутся перед твоими глазами, извиваясь, словно змеи. Выходишь, а потом тебя сдержанно успокаивают: «Сносные показатели». Сносные! Шесть, пять лет назад они были отличными. И чего скрывать: тогда, на рубеже первого запуска, я тоже лелеял надежду занять

место в кабине первого космического корабля. Но я не полетел ни тогда, ни в следующий раз. Два года назад меня обнадежили: следующий полет — твой. Нелепая, совершенно случайная операция, и я на три месяца выбыл из строя накануне стартовой горячки. А годы прибавились. Даже вес стало тяжелее регулировать, чем раньше. Того и гляди, белая прядка засветится в голове. Вот ты и скажи мне, отец, что делать?» — спрашивал Володя Костров свою собственную совесть, так похожую на отца. Но она молчала, и он ходил погруженный в сомнения.

Был у него, правда, и еще один человек, которому он доверял все: жена, Вера. Еще лейтенантом, рядовым летчиком реактивного истребительного полка познакомился он на молодежном балу с нею, тогда студенткой пединститута. Заглянул в глубокие черные глаза девушки и почувствовал: другой не надо. Вызвался проводить ее домой, и за длинную дорогу до городской окраины Вера успела рассказать ему о своей недолгой жизни, увлечениях и привязанностях. В первый же вечер, когда невысокая калитка у заборчика захлопнулась за ней и легкая тень девушки метнулась к крыльцу, он окликнул:

— Вера.

Она остановилась, теребя прозрачную косынку, наброшенную на смуглую шею.

— Чего?

— А я на вас женюсь... вот увидите.

Она приняла это за шутку и, давясь смехом, убежала. Проводив ее во второй раз, он крикнул на прощание те же слова. Девушка ушла молча. А когда Володя в третий раз грустно и мрачно вымолвил при расставании: «Я на вас женюсь», она кокетливо повела плечом.

— Это что же?.. Карфаген будет разрушен? Знаете такую фразу?

— Знаю, — отмахнулся Володя, — не одни инструкции по технике пилотирования изучал. Имел и по Древнему Риму в свое время пятерку. Только я поупорнее Сципионов.

— Вы странный, — сказала девушка и, помолчав, добавила: — Если не боитесь проспать завтра полеты, давайте еще немного побродим по берегу реки.

Той же осенью они сыграли свадьбу. А теперь у них уже двое ребятишек: черноглазая, вся в Веру, Тамара и похожий на него Алька.

И однажды Володя все рассказал жене. Случилось это совсем на днях. Была светлая весенняя ночь за окном, и он, беспокойно ворочаясь с боку на бок, вдруг заметил, что Вера не спит. Она только притворялась спящей.

— Вера, ты же не спишь, — усмехнулся он.

— Разве заснешь, если ты так волнуешься, — ответила она.

— Откуда ты взяла, чудачка? Я спокоен. В космосе — как на Шипке.

— Ты никудышный конспиратор, Володя. Я уже целую неделю примечаю, как ты волнуешься. Даже по ночам два раза стонал.

— Это плохо, — вздохнул Костров, — слава богу, мне сурдокамеру больше не проходить. Иначе бы Рябцев к разряду психически неуравновешенных причислил.

— Что тебя мучает, Володя? Расскажи, — попросила Вера.

И он рассказал ей о своих сомнениях, о нарушениях в дыхании, иногда возникавших после трудных физических упражнений.

— Ты понимаешь, Вера, что будет, если я не полечу еще год, другой, третий. Какой я в сорок лет космонавт!

Она громко вздохнула.

— Через три года тебе будет сорок, а мне — тридцать семь. Какая все же короткая у человека молодость!.. Послушай, Володя, — заговорила она шепотом, — мы тоже очень хотим, чтобы ты стал космонавтом и чтобы твой корабль так же благополучно, как и все предыдущие, опустился после полета на землю. И чтобы задание ты выполнил самое героическое. Посмотри на Альку. Он уже в третий ходит и кое-что понимает. Как он тобой гордится! Недавно с ним учительница беседу затеяла на тему «Кем быть». Так он знаешь что ответил? Хочу быть, как папа... Но знаешь что?.. — Вера вдруг отняла руки от его головы, жестко спросила: — А если ты вообще не полетишь?

Он даже вздрогнул от неожиданности и привстал в кровати.

— То есть как это?

— Да очень просто. То ли здоровье подведет, то ли по каким другим причинам.

— Вера, зачем ты так шутишь? Этого быть не может.

— Я не шучу, — тихо продолжала Вера. — Ну а если не полетишь? Разве тогда вся дальнейшая жизнь станет

для тебя сплошным разочарованием и ты не найдешь себе места? Стыдись, Володя. Ты же прекрасный летчик, авиационный инженер. Какое будущее пророчат тебе руководители твоей работы по математике! А мы? Неужели оттого, что ты не полетишь в космос, мы станем меньше тебя любить? Думаешь, нам обязательно нужно, чтобы ты прошагал по ковру на Внуковском аэродроме и отрапортовал секретарю ЦК, чтобы везде, даже на марках и спичечных коробках, красовались твои портреты? Конечно, слава — вещь заманчивая и мы бы тобой гордились. Но пойми, ты и без славы этой нам дорог. Помнишь, как несколько лет назад мы жили на зарплату рядового летчика? Комнату с окошком на Дон снимали. На двоих — два чемодана...

— Да, да, — в тон ей ответил он. — И любовь наша, которую ни в какие космические габариты не упрячешь... Нет, Верка, за свою судьбу космонавта я еще постою...

— Конечно, Володя, разве мы против? — Вера придвинулась к нему. — Ты должен взять себя в руки и освободиться от малейшей неуверенности. Я знаю, ты еще поцелуешь нас перед тем, как ехать на космодром, а потом мы будем ждать, ждать, и слезы я не однажды вытру, пока ты будешь носиться по далекой орбите. А наш Алька — тот до твоего возвращения даст в школе не одно интервью.

— А может, не будет орбиты? — мечтательно произнес Костров. — Может, повыше куда-нибудь.

— К Венере, что ли? — перебила его весело Вера, и в ней проснулась прежняя озорная девчонка. — Нет, туда я тебя не пущу, а то еще во второй раз женишься. Эта планета небось вся красавицами заселена. Так и фантасты наши считают. Ты лети лучше на Марс, Володенька...

* * *

В пятницу Костров возвратился домой озабоченный и чуть усталый. Раскладывая свои рабочие тетради, не переставал хмуриться, и даже трехлетней Тамарочке, вернувшейся из детского сада, отвечал односложно.

Подошла Вера, пытливо всмотрелась:

— Ты чего такой скучный?

— Тяжелый день завтра, женушка. — Он встал из-за стола. Темные глаза его глядели настороженно. — На центрифугу надо ехать. В этом году последняя тренировка.

Обойдется благополучно — смогу рассчитывать на полет... Вот так-то! — И прищелкнул пальцами над головой дочери, возившейся в углу с игрушками.

Вера прекрасно понимала, что он бодрится, пытаясь побороть внутреннюю тревогу.

— Один поедешь на центрифугу?

— Нет, Вера. Полковник Иванников наметил еще Горелова.

— Алешу?

— Так точно, женушка...

В передней послышался звонок. Вера пошла открывать.

— Ну и легки же вы на помине, Алексей Павлович,— донесся из коридора ее голос. — Володя дома, проходите.

— Кто же меня тут поминал? — спросил, входя в комнату, Алеша, обычно почему-то смущавшийся при встречах с Верой.

— Мы с Верой о тебе говорили, — ответил за нее Костров. — Садись с нами ужинать.

— Спасибо, Володя, — отказался Горелов. — Я по делу, и всего на минуту.

— Тогда выкладывай.

— Завтра у нас центрифуга, и прибыть туда надо к двенадцати.

— Совершенно верно.

— Я думаю на часок раньше прийти. Все-таки в первый раз. Хочется еще до тренировки осмотреть это сооружение. Интересно очень.

Костров пожал плечами.

— Да разве я против? Но с кем ты уедешь? Машина ровно на одиннадцать заказана.

— Все уже продумано, — улыбнулся Горелов. — Я с майором Ножиковым. Он в академию на своем «Москвиче» поедет и меня захватит.

* * *

Алеша Горелов, волнуясь, вошел в просторное куполообразное здание, напоминавшее своими размерами и очертаниями цирк. Было здесь удивительно светло и тихо. В дверях его встретила моложавая женщина в строгом коричневом костюме с университетским значком на отвороте жакета. Женщина вопросительно скользнула по Алеше темными продолговатыми глазами. Их восточный раз-

рез да густые черные брови сразу убедили Горелова, что перед ним Зара Мамедовна, «хозяйка центрифуги», как именовали ее летчики-испытатели и космонавты. Он подробно объяснил, почему приехал на целый час раньше. Зара Мамедовна внимательно посмотрела на него, кивнула головой:

— Очень хорошо, товарищ Горелов!

По узкой винтовой лесенке она провела его на железную площадку, с которой хорошо обозревалось все помещение. Это был огромный зал. Голубая яркая центрифуга возвышалась посредине. И оттого, что ее со всех сторон окружало пустое пространство, а в большие высокие сводчатые окна вливался солнечный свет, она казалась еще более внушительной. Тонкие сплетения ферм сверкали своей белизной в тех местах, где не были покрыты голубыми листами металла. Один конец центрифуги был увенчан пилотской кабиной, а другой — кабиной для испытания грузов и аппаратов, которым предстояло выдерживать большие перегрузки. «Как дальнобойное орудие, — подумал Алексей. — Стоит тихо, мирно, будто дремлет. А подвези снаряды, пальни́, и все вокруг задрожит от небывалой силы огня и гула».

Сотни проводов с черной и красной изоляцией тянулись к центрифуге, оплетали ее агрегаты, уходили наверх к застекленной пультовой, так остро напомнившей Горелову аэродромный командный пункт. Зара Мамедовна терпеливо дала ему осмотреться, потом спросила:

— Понравилось наше сооружение?

— Да-а, ничего, — протянул Алеша, — внушительно выглядит.

На смуглом лице Зары Мамедовны появился румянец.

— Вы сейчас увидите маленькую центрифугу в действии, Алексей Павлович. Я вас проведу в другой зал. Там как раз через пять минут начнется опыт. Она вас неминуемо разочарует. О! Это не очень приятное зрелище — наблюдать работу маленькой центрифуги. Ничего эстетического. А моя, большая, — просто красавица в сравнении с ней. Я так и называю ее: красавица! Движения у нее плавные, сосредоточенные — залюбуешься. Но это потом. А сейчас пройдемте...

По тем же узким железным лесенкам-переходам она провела Алексея в соседнее помещение. Здесь зал был гораздо меньше. Меньше была и площадь, занимаемая

центрифугой. На консолях машины располагались маленькие кабины, и Горелов догадался, что предназначены они для животных. Рослый человек в белом халате опускал в распахнутую кабину какой-то неподвижный ком. Мужчина средних лет в штатском, вероятно инженер, приводивший в движение маленькую центрифугу, деловито осведомился:

— Так будем собаку крутить или нет? Она же все равно не выживет. Сколько ей дадим?

— От десяти до сорока, — флегматично ответил врач и полез в карман за папиросами, — на режиме сорок подержим пару минут. После операции этот пудель долго не протянет. Надо испытать крепость собачьего организма при сорока Ж...

— Живодерня, а не центрифуга,— проворчал Алеша.

У Зары Мамедовны дрогнули тонкие губы.

— Вы очень жестоко о них отзываетесь, Алексей Павлович. Примите во внимание, что Павел Матвеевич, который сейчас устраивает в кабину этого пуделя, давал в свое время «добро» на космический полет и Белке и Стрелке. Наука требует жертв...

Алексей ничего не ответил. Он внимательно следил за тем, что происходит в зале. Вот Павел Матвеевич отошел от центрифуги, а инженер захлопнул крышку кабины, затянутую прочным плексигласом. Потом они поднялись на помост, к столику-пульту, и до Алеши донесся хрипловатый голос инженера: «Начнем?» Алеша посмотрел вниз на два маленьких лотка. В одном из них увидел лохматого пуделя, доставленного из операционной.

Окрашенная в кремовый цвет центрифуга мирно дремала внизу. На пульте загорались разноцветные лампочки. Желтая, две зеленые, еще раз желтая... Инженер сосредоточенно нажимал кнопки. И вдруг центрифуга ожила, ее консоли описали над полом круг, второй, третий. Секунда — и они быстро завертелись вокруг своей оси.

— Даю пять Ж! — выкрикивал инженер. — Десять, пятнадцать, тридцать, сорок!

Вся комната от пола до потолка наполнилась гулом. Со столика инженера вихрь сорвал забытые бумажные листки и закружил их по залу. Железный помост, на котором стояли Горелов и Зара Мамедовна, задрожал, охваченный мелким ознобом. Казалось, центрифуга вот-вот разлетится на куски. А какой тяжестью для бедного пу-

деля были сорок Ж! Каждое Ж — это нагрузка, равная весу испытываемого существа. Бедный лохматый пес, только что весивший на операционном столе каких-нибудь десять килограммов, находился сейчас под давлением почти полутонны. Но вот реостат был выключен, и ветер, поднятый центрифугой, тотчас же стих. Желтая молотилка сделала несколько последних оборотов и замерла. Пронесли неподвижное тело пуделя, стянутое ремнями, державшими на себе электроды. Врач, разглядывавший над осциллографом кардиограмму, воскликнул:

— Дышит. И не подозревает псина, какую услугу оказала сейчас космической медицине!

Зара Мамедовна тронула Горелова за локоть.

— Пойдемте, Алексей Павлович, теперь нашу пультовую посмотрим.

Пультовая большой центрифуги была просторнее и уютнее. Тонкий запах краски и металла улавливался в воздухе. На двух столах под стеклянными чашечками приборов дремали стрелки. Белые надписи над кнопками и рычагами напоминали об их назначении. Два реостата управляли вращением центрифуги. Один, вмонтированный в правый стол, позволял плавно или резко включать перегрузки до десяти Ж. Если надо было перегрузку добавить, включалась ручка второго реостата. Слева виднелся экран телевизора. На всем протяжении опыта Зара Мамедовна могла наблюдать за лицом космонавта и по нему судить о состоянии человека, находящегося в машине. Тут же работали два осциллографа, пропуская сквозь свои зубцы длинные ленты, на которые наносился каждый толчок сердца и удар пульса. Существовали и еще два вида связи с космонавтом: по радио и световая. На вопрос «Как себя чувствуете?» человек, находящийся в бешено вращающейся центрифуге, отвечал миганиями зеленой лампочки. Три мигания — отлично. Два — хорошо. Одно — удовлетворительно. Там, в кабине, космонавт на всем протяжении опыта держит в руке шнур с кнопкой. И только в одном случае отпускает палец, если станет ему невыносимо плохо. Тогда в пультовую ворвется тревожный звуковой сигнал, и при помощи реостата вращение огромного механизма будет немедленно остановлено. Времени для этого много не надо. Ведь за пять-шесть секунд центрифуга набирает скорость, обеспечивающую десять Ж.

— А я все равно не снял бы палец с этой кнопки,— задиристо объявил Заре Мамедовне Горелов, — пусть хоть сто зеленых чертиков в глазах появилось, не снял бы.

Женщина с любопытством посмотрела на его решительно сдвинутые брови и такие мирные и добрые кудряшки. Усмехнулась:

— Оптимизм, конечно, дело хорошее, Алексей Павлович, да только не здесь. Ни за что не отпускать кнопку, говорите? Некоторые так стараются. Но это неверно. Даже нечестно, если на то пошло. — Порывистым жестом правой руки она указала на телевизор. — Спасибо вот этому экрану. Если бы не он, я бы однажды взяла, что называется, грех на душу.

Горелов с интересом на нее посмотрел.

— Как же это?

Зара Мамедовна вздохнула.

— Очень просто, Алексей Павлович. Из-за одного оптимиста. Вы когда-нибудь видели, как человек падает в обморок?

— Не-ет. Я же не в институте благородных девиц учился, а в авиации.

— В авиации это тоже бывает. Неприятно такое наблюдать. Видишь на экране лицо человека. Видишь, как ему становится тяжело от нарастающей перегрузки. Нижняя челюсть отвисает, кривится рот, одни глаза сохраняют осознанность. Ты запрашиваешь о самочувствии, а он тебе в ответ два, а то и три мигания зеленым светом: мол, отлично. И вдруг ты видишь, как его глаза останавливаются, расширяются, а потом делаются мутными, потусторонними. Даже белые яблоки в синеву одеваются и голова заваливается либо влево, либо вправо, либо вперед. Только не назад, потому что спинка кресла не позволяет. Вот мы и испытывали подобным образом одного известного летчика. За плечами у него три войны, грудь в орденах, летать стремится, как юноша. Но голова уже седая, под глазами синие тени, да и по паспорту пятьдесят первый пошел. Довела ему нагрузку до одиннадцати Ж. Вижу и по экрану: плохо человеку. Но как ни спрошу, лампочка загорается трижды. Хотела уже выключать машину, но, спасибо, внутренний голос какой-то добрый подсказал: подержи под нагрузкой еще две-три секунды. И вот голова моего подопечного завалилась влево. Глубокий обморок... И как же хорошо, что я дала ему

эти лишние секунды! Ведь иначе все это с ним бы случилось не на высоте в полтора-два метра от пола да в такой красивой кабине, а в стратосфере на высоте в восемнадцать — двадцать километров. Вот и все. А тут написала ему жесткое заключение, что к перенесению больших перегрузок организм уже не приспособлен, и точка.

— И как же он пережил это ваше вмешательство?

— Довольно темпераментно, Алексей Павлович. Сначала настолько рассвирепел, что здороваться перестал. А потом все вошло в свое русло. Мы иногда встречаемся, и бедняга полковник, уже переживший серьезный сердечный приступ, только благодарит за своевременное вмешательство в его судьбу.

Бодрый голос Кострова прозвучал в эту минуту с порога:

— Здравствуйте, Зара Мамедовна. Позвольте вас одарить этими вот знаками весны. — Майор протянул ей букетик цветов.

Зара Мамедовна смутилась.

— Благодарю вас, Володя. Давненько мы не виделись. Как чувствуете себя?

— Вопрос весьма широкого диапазона: физически, морально, материально? Смотря, что вас интересует?

— Я врач. Следовательно, здоровье прежде всего.

— Я так и знал, — Володя изобразил на лице разочарование и с тяжким вздохом опустил руки. — Как древний спартанец, воспитанный по законам Ликурга...

Она пристально вгляделась в его лицо, отметила легкую синеву под глазами, но ничего не сказала. Кострову замерили давление крови, пульс. Пультовая незаметно наполнилась людьми. Пришла лаборантка и стала настраивать осциллограф. Дежурный врач, готовивший Кострова к тренировке, стал рядом с ним. Появился рослый, спортивного вида инженер — майор Федор Федорович Захаров, руководивший технической эксплуатацией большой центрифуги. Потом Кострова повели вниз. Горелов вышел из пультовой. Но вниз не стал спускаться, посчитал неловким, и за тем, как Кострова сажали в пилотскую кабину и давали ему перед тренировкой последние указания, наблюдал с верхней площадки. Зара Мамедовна громко спросила:

— Вам ознакомительную нагрузку давать?

В пустоватом зале смех Володи прозвучал гулко:

— Ерунда. Давайте сразу основную.

— Смотрите, — неопределенно проворчал Федор Федорович, — повторение — мать учения.

— А ученого учить — только время терять, — возразил Костров весело.

Потом кабину закрыли, и все поднялись наверх. Так же неподвижно голубела внизу большая центрифуга, но теперь в ее испытательной кабине находился человек. Алексею она показалась большой нахохлившейся птицей, готовой вот-вот замахать крыльями. Он усмехнулся нелепости этого сравнения и снова вошел в пультовую. Резким гортанным голосом Федор Федорович говорил Заре Мамедовне:

— Он просит дать ему сразу одиннадцать Ж.

— Ни в коем случае, товарищ инженер-майор, — сухо отрезала Зара Мамедовна. — Костров давно не был на центрифуге. Дать как после перерыва. Сначала двойку, потом пять, восемь и только через минуту после восьми — одиннадцать Ж. Никаких скидок на опыт. Поняли?

— Я-то понял, а вот он обидится, — проворчал Федор Федорович и встал к пульту.

На голубом, в мелких точечках экране контрольного телевизора появилось лицо Кострова. В шлеме он показался Алеше строже и старше. В динамике раздалось:

— Майор Костров к испытанию готов.

Зара Мамедовна нажала кнопку передатчика.

— Раз, два, три... включаем.

Федор Федорович повернул кран реостата. Стрелка под стеклом моментально ожила, метнулась от нуля вправо, к крупно нанесенным цифрам «1», «2», и тотчас же пришла в движение большая центрифуга. Словно вздохнула облегченно, затомившись от длительного бездействия, и на самом деле издала звук, напомнивший хлопанье крыльев. Красивыми плавными движениями ее консоль с пилотской кабиной описала несколько кругов, потом Алеша перестал различать сплетение ферм, потому что перегрузка возросла уже до восьми и кабина стала мелькать в круговороте вращения все быстрее и быстрее. Он перевел взгляд на экран телевизора и едва не вздрогнул от удивления. «Это же не Костров!» На экране было уродливо вытянутое лицо со сплюснутым ртом, выпученными глазами и некрасиво раздутыми ноздрями. Только из-под

шлема выбивалась всегда упрямая и непокорная прядка. Дежурный врач тронул Алексея за плечо:

— Идемте. Надо готовиться.

Пока Алексей переоделся, еще раз прослушал инструкции, как выполнять тренировочное упражнение, шум центрифуги стих и дежурный врач обеспокоенно сказал:

— Мы опаздываем, дорогой товарищ старший лейтенант. Пошли прямо в кабину.

Через несколько минут Зара Мамедовна дружески ему подмигнула и осведомилась:

— Кнопки не перепутаете, когда будете тушить контрольные лампочки и отвечать на мои вводные?

— Попытаюсь.

— Тогда усаживайтесь в кресло.

Она еще раз ободряюще кивнула головой и приказала закрывать кабину. Крышка над головой Горелова с мягким ударом захлопнулась, и он остался один. Попробовал ремни — привязан удобно. Осмотрел над головой длинный ряд лампочек. Они будут загораться, а он должен выключать. Перед ним панель с кнопками и экраном. Во время бешеного вращения на экране будут возникать цифры, а он либо голосом по радио, либо нажатием световой кнопки должен будет их называть. Все в отряде, даже тяжеловес Олег Локтев, утверждают, что самое трудное при испытании на центрифуге — это владеть своим голосом, когда на твое тело обрушиваются огромные перегрузки.

Горелов откинулся в кресле, потом собрал тело в единый упругий комок, подал корпус вперед. Но тотчас же вспомнил добрый совет «короля центрифуги» Игоря Дремова: «Пойдешь на испытания, слишком не напрягайся Алешка. Сам ты должен быть собранным, а тело чуточку размягчено». И он поступил именно так. Поглядев на часы, включил передатчик.

— Космонавт Горелов к испытанию готов.

— На-чи-на-ем, — чуточку нараспев предупредила Зара Мамедовна. — Раз, два, три... включаем.

Он почувствовал небольшой толчок, и сразу же пришло то чудесное ощущение, какое он испытывал всякий раз в полете. Машина устремляется ввысь, распарывая невесомый воздух, а твое тело пружинисто прижимает к жесткому пилотскому сиденью. Немножко сдавлено ды-

хание, но хочется петь от радости. Однако в полете такое ощущение быстро проходит. Здесь же оно осталось постоянным и только усилилось, как показалось Алеше, немного.

— Включаем пять Ж, восемь, десять... — услышал он.

На экране возникло число «223». Такое же число зажглось над одной из кнопок. Оно несколько подрагивало, но не расплывалось. Горелов не почувствовал, но пришло новое — ему стало гораздо труднее дышать. Он попытался поднять правую руку, она была неимоверно тяжелой. «Ерунда, осилю!» — крикнул он себе требовательно, потому что контрольная цифра на экране продолжала гореть. Он сделал новое усилие, вложив в него злость и упрямство. Рука повиновалась, и Алеша загасил кнопку.

— Молодец! — донесся восхищенный голос Зары Мамедовны. — Это при одиннадцати-то Ж. Как чувствуете себя?

Он хотел ответить, но не смог разжать рта и тогда вспомнил о шнуре с кнопкой. Три раза ее надавил, что означало: отлично. Вероятно, центрифуга вращалась еще быстрее. Ему стало казаться, что на все его тело — грудь, плечи, бедра — положили тяжелую холодную плиту и он не в силах ее снять. Он должен покориться, терпеть. Перенести во что бы то ни стало. Спину и грудь ломило, болели плечи, зеленые искорки полыхали в глазах. Сипло дыша, он думал: «Это я в настоящем космическом корабле. Это я прохожу через плотные слои. Впереди черный космос и орбита. Надо терпеть, Алешка!»

— Двенадцать Ж! — выкрикнула Зара Мамедовна.

Человек переносит до двадцати. Значит, в резерве у жизни еще восемь перегрузок...

— Тринадцать Ж! — сказали в это время над пультом, и стрелка реостата послушно остановилась против этой цифры.

Но Горелову стало отчего-то чуточку легче, будто попробовал кто-то столкнуть с него невыносимую плиту и она на мгновение поколебалась, чтобы затем еще прочнее его оседлать. Он сидел сгорбившись, глазами припав к экрану, не в силах поднять чугунной головы. Нет, в авиации такого он не испытывал. Когда же эта голубая, безмятежная с виду машина прекратит свое бешеное вращение? Как она не поймет, что для него, усталого беспредельно, сейчас каждая секунда кажется часом? И ма-

шина наконец поняла. Голосом Зары Мамедовны, очень радостным почему-то, она воскликнула:

— Десять Ж... восемь... пять.

На экране появилась цифра «123», яркая, четкая, совсем не подрагивающая. Куда-то упала невидимая холодная плита. Он свободно ворочал теперь руками и ногами, даже петь захотелось. Он только не сразу понял, что центрифуга замерла. Он это установил, когда над ним распахнулась крышка кабины и Федор Федорович стал отстегивать цепкими жилистыми руками ремни, привязывавшие его к сиденью. Широко улыбаясь, инженер-майор потрепал Горелова по плечу.

— Жарко было?

— Жарко.

— Голова не гудит?

— Еще не разберусь. Кажется, гудит.

— А то был у нас тут один корреспондент и написал, что после центрифуги космонавты из этого зала бодро-весело уходят с песней на устах.

— Не Рогов ли, наш друг?

— Он самый.

— И как же вы на это отреагировали?

— Весьма просто. Посадили его в это кресло и дали пять Ж. Больше он так не писал.

Алеша пружинисто выбросил свое тело из кабины. Зара Мамедовна встретила его в пультовой восторженно.

— Голубчик вы мой! У вас изумительной крепости организм. Я была с вами крайне суровой, довела перегрузку чуть ли не до четырнадцати, а вы таким молодцом из кабины вышли.

Алексей рассмеялся:

— Если в свое время Россия выдержала поход четырнадцати держав, почему же мне не выдержать ваши четырнадцать Ж.

— Молодчина! Посмотрите, какая ровная кардиограмма. Не сердце, а перпетуум-мобиле.

Он удовлетворенно кивал головой, внутренне ликуя от всех этих комплиментов, и не сразу встретился с глазами находившегося в пультовой Кострова. Тот уже успел сменить тренировочный свитер на обычный военный костюм.

— Поздравляю, — негромко произнес Костров. — А вот у меня, кажется, не все нормально.

В светлой пультовой повисла неловкая тишина. Костров держал в руке обрывок белой ленты с записями, оставленными на ней осциллографом. У него было какое-то серое, покрытое мелкими-мелкими бисеринками пота лицо, невероятно бледные губы и очень растерянные глаза. — Вот... взял на память, — вымученно улыбнулся он и протянул огрызок ленты. — Посмотри, как линия жизни пляшет... экстрасистола, так называемая.

— Не понимаю, — недоуменно протянул Горелов.

— И дай тебе бог никогда не понимать.

За своим рабочим столиком Зара Мамедовна, лаборантка и дежурный врач сосредоточенно рассматривали ленту и след, оставленный на ней зубцами осциллографа, напоминающий линию горного хребта, с провалами ущелий и остриями вершин.

— Экстрасистола — это нарушение ритма в работе сердца, — рассеянно вымолвила Зара Мамедовна, — чертовски досадно, Владимир, но я обязана докладывать об этом своему начальству. Обязана! — И подняла на Кострова добрые, все понимающие глаза.

* * *

Дурная весть — что перекати-поле. Подхваченный ветром, сохлый сорняк витает над пахотной землей и сеет, сеет во все стороны ненужные семена, которым не радуются ни поле, ни люди.

Не успел Володя Костров вернуться в городок, а весть о том, что он не выдержал зачетной тренировки на центрифуге, уже облетела очень и очень многих. Узнали об этом и те, кому, как говорится, не было положено по штату. Стоустый шепоток бежал от человека к человеку. Даже капитан Кольский, комендант гарнизона, и тот вздохнул, повстречавшись с Костровым у входа в штаб.

— Ничего, ничего, Владимир Павлович! Не унывайте...

Генерала Мочалова на месте не оказалось, и Костров влетел в кабинет начальника медслужбы полковника Лапотникова. Подслеповато щурясь, тот развел руками. Он не был никогда перестраховщиком, но авторитету больших людей всегда доверял и часто самые категорические их заключения старался преподносить в смягченной форме.

— Ну так что же, — сложил он руки на груди, — сдали, батенька мой? Вопрос становится весьма остро.

— Как именно? — нервно спросил Костров.

Лапотников притянул к себе поодаль лежавшие очки и стал их вертеть, держа за конец тонкой оправы. Когда очки сделали третий оборот, он снова положил их на место.

— Вы не подумайте, что я хочу подсластить пилюлю. Зара Мамедовна пыталась вас защищать, высказывалась в пользу дополнительных тренировок, но генерал медицинской службы Заботин непоколебим. Он считает, что человеческий организм, не выдерживающий нагрузок, нетренируем. Разумеется, он будет настаивать на вашем отчислении.

Костров вздрогнул и весь подался вперед. Казалось, обычная выдержка вот-вот его покинет. Потемнели глаза, и складки зыбью побежали от уголков рта.

— Меня отчислить... после стольких лет тренировок?

Лапотников подавленно вздохнул:

— Все это верно, и я ваше состояние понимаю. Но экстрасистолы — паршивая вещь, и при наличии их навряд ли разрешит медицина сажать человека в космический корабль, зная, что при проходе сквозь плотные слои человек этот должен переносить большие перегрузки. Где гарантия, что он останется, мягко выражаясь, невредимым?

— Значит, и вы с ними заодно?— вспыльчиво спросил Володя.

Полковник Лапотников нравоучительно поднял указательный палец.

— Генерал Заботин — ученый с мировым именем.

— В основном исследовавший Стрелок и Белок! — взорвался Костров.— А я че-ло-век! Понимаете, че-ло-век!

— Вы еще летчик-космонавт, майор Костров, — услышал он за спиной рассерженный бас и резко обернулся.

В дверях стоял генерал Мочалов. Костров моментально подобрался, вытянул руки по швам.

— Как вам не стыдно! — сказал Мочалов. — Садитесь. — И сам сел напротив. — С такой нервной системой, как у вас, майор Костров, вероятно, будет нелегко переносить перегрузки, одиночество и невесомость в настоящем космическом полете. Жизнь вам задала всего один суровый урок, а вы уже готовы пасть духом.

— Неправда! — вспыльчиво перебил Костров. — Я готов драться.

— Драться? — переспросил генерал, и глаза его потеплели. — Вот это по-моему. — Он дружелюбно хлопнул майора по коленке, искоса посмотрел на полковника Лапотникова. — Драться и мне неоднократно приходилось. Только давайте разберемся, против чего надо драться. Как-то на фронте мой «ил» подбили над целью. Пришлось садиться во вражеском тылу. Когда я увидел, что ко мне спешат фашистские мотоциклисты, я твердо знал, за что буду драться, и был готов вести бой до последнего патрона. После войны, уже в мирное время, пришлось мне однажды садиться без горючего в горах, голодать, ждать помощи. Там я тоже знал, за что дерусь, и не спасовал. Но был в моей жизни и другой случай. На учениях. Мы уже на реактивных истребителях летали, и наш начальник штаба, замещавший в ту пору командующего, приказал в воздушном бою против соседнего полка применить массированные атаки. Я вышел из его кабинета, сказал: «Слушаюсь», а сам думаю: «До чего же это дремучая чепуха! Разве можно такой тактикой пользоваться в нашей молодой реактивной авиации, разве она применима? Скорости огромны, групповой маневр чрезвычайно осложнен...» А начальнику штаба ой как хотелось блеснуть перед генерал-инспектором!

— И вы его не послушались? — вопросительно поглядел на него Костров.

— Не послушался, Володя, — весело закончил Мочалов, — мелкими группами ударил. По-своему.

— А потом?

Мочалов рассмеялся и встал.

— Дело прошлое. Начальник штаба приказ о моем освобождении от обязанностей командира полка заготовил. А генерал-инспектор за самостоятельное решение благодарность объявил.

— Значит, вы меня учите непослушанию, товарищ генерал? — невесело пошутил космонавт.

— Твердости, товарищ майор, — сурово поправил Мочалов, — и считаю, что каждый советский офицер, если он верит в справедливость своего замысла, должен доказывать свою правоту всеми средствами. Не нарушая наших уставов, разумеется, при этом. Вы вот тут в полемическом запале, так сказать, не совсем лестно о генерале

Заботине отозвались, Костров. А так ли это? Заботин действительно крупный ученый, и сводить его роль к исследованиям Стрелок и Белок, как вы тут выразились, это оскорбительно. Я знаю, например, что Орест Михайлович заканчивает интересный труд «Человек и невесомость». Но что поделаешь, космическая наука еще очень молода. Творцы ее производят много смелых экспериментов... И поверьте, они вам не враги. Даже перестраховка, если она есть, только заботой о вашем здоровье вызвана и стремлением, чтобы все наши космические полеты без ненужных жертв совершались. Ну а вы должны за себя побороться. Словом, считайте, что я на вашей стороне,— закончил генерал Мочалов.

* * *

Костров покидал штаб несколько ободренным. У входа его нагнал Олег Локтев, обнял за плечи.

— Дружище, мало ли с кем не бывает... Мы бороться за тебя будем. Сейчас иди к Горелову. Там «большой сбор» трубят. Сережа Ножиков инициатор.

Ясный апрельский день властвовал над землей. Зрело на голубом небе щедрое солнце, и нагретый им воздух дрожал и струился совсем как летом. Первые листочки жадно тянулись к солнцу. Чисто выметенные дорожки городка сияли, словно умытые. На здании клуба красили крышу в ярко-зеленый, такой же, как и первая травка, цвет. Горелов, посланный товарищами встретить Кострова, увидал, что Володя у самого подъезда тихо и мирно беседует с плечистым, небольшого роста майором. Этого офицера Горелов уже видел однажды в спортзале, когда команда космонавтов сражалась в баскетбол с командой штаба.

Несмотря на то что за штаб выступал приехавший к ним в отряд Гагарин, отменный баскетболист, они долго вели игру с разрывом в четыре очка. А перед самым перерывом появился этот майор. У него были удивительно цепкие голубые глаза, умевшие как-то быстро схватывать все окружающее. Чуть выпуклые, с маленькими прожилками, они не скользили по сторонам, как это бывает у многих любопытствующих людей, а смотрели как бы в одном направлении и видели все. Офицер этот пришел тогда в меховой шапке. Из-под нее проглядывали пышные белые волосы. Но когда майор шапку снял, оказалось — он

почти совсем лыс. Майор встал на сторону штабной команды вместо выбывшего из игры начальника физподготовки Баринова и за десять минут несколькими бросками выровнял счет. Космонавты в тот день проиграли. Сейчас он, улыбаясь, ободрял приунывшего Володю:

— Что ты, Костров! Я не медик, но тоже понимаю: раз по всем видам ты перегрузки сносишь нормально, а на центрифуге споткнулся, значит, к тебе особый ключик надо искать. И найдут его! — восклицал он убежденно.

— Володя, это кто? — тихо спросил Горелов, когда майор ушел.

Костров долгим взглядом проводил собеседника.

— Иван Михайлыч Дробышев. Мужик что надо.

— Врач?

— Нет, Алеша. Из госбезопасности.

— А-а! — понимающе протянул Горелов.— Меня за тобой ребята прислали. На квартире «большой сбор». Идем.

Они вошли в приоткрытую дверь тринадцатой квартиры. За исключением Жени Светловой, которая была на тренировке в сурдокамере, здесь находились все космонавты. На диване с пылающим лицом сидела только что высказавшаяся Марина Бережкова, размахивал руками Андрей Субботин, что-то объясняя Виталию Карпову. Игорь Дремов внимательно слушал. Все сделали вид, что не заметили появившегося Кострова. Заговорил Ножиков:

— Марина совершенно права. Разве тут удержишься от волнения? И мы не позволим, чтобы судьба человека решалась в одночасье на основании одной, может совершенно случайной, неудачи. Сейчас же я заправлю свою «антилопу-гну» и поеду к генералу Заботину. Буду с ним говорить от вашего имени и от имени всего партбюро. Добьюсь, чтобы Володю отправили на самое объективное медицинское обследование и чтобы попал он в руки самого лучшего терапевта. Согласны?

— Уполномачиваем! — загудели космонавты.

* * *

«Антилопой-гну» Сергей Ножиков именовал свой собственный, недавно приобретенный на двухгодичные отчисления из офицерского оклада автомобиль «Москвич». Ножиков, спокойный с виду и очень рассудительный чело-

век, просто преображался, когда садился за руль. Нет, никто бы не сказал, что это именно он, майор Сергей Ножиков, секретарь партийной организации отряда космонавтов, так лихо гонит машину. При этом Сергей никогда не нарушал режима скорости или правил движения. Просто он так умел этой скоростью пользоваться и так смело обходил впереди идущие автомобили, управляемые нерасторопными водителями, что могло показаться — едет самый что ни на есть забубенный лихач.

Сегодня он особенно торопился, потому что знал — генерал Заботин принимает только с трех до пяти, а ровно в пять у него начнется методическое совещание и тогда — прощай: генеральский кабинет превратится в неприступную крепость.

Все-таки он успел. Вошел в приемную, когда на часах было без десяти пять.

— У генерала кто-нибудь есть?

Секретарша отрицательно покачала головой, и Ножиков, поняв это как разрешение, отворил дверь. Отодвинув от стола старомодное кресло с резными подлокотниками, генерал стоя читал какую-то рукопись. Был он в штатском. Черная без единой сединки шевелюра, остроносое лицо. При появлении Ножикова не оторвал взгляда от рукописи.

— Слушаю вас, товарищ.

— Я по поводу космонавта майора Кострова,— начал Сергей,— его отстранили от дальнейших тренировок.

Глаза Заботина уперлись в Ножикова.

— Вот как! — удивленно, чуть в нос пробаритонил генерал.— Вы что же, командир отряда космонавтов?

— Никак нет.

— Его заместитель?

— Тоже нет.

— Тогда, быть может, начальник штаба? — продолжал Заботин, подавляя раздражение, вызванное неожиданным вторжением в его кабинет этого широкоплечего майора.

— Нет.

— Тогда вы, быть может, скажете, по чьему поручению задаете мне такой вопрос? — вкрадчиво произнес Заботин и, опираясь на прочные подлокотники, медленно осел в кресле.

— Скажу,— отрубил Ножиков.— По поручению нашей партийной организации.

— Позвольте,— перебил Заботин сурово,— ответственность за судьбу Кострова лежит все-таки иа мие, и, если ваша парторганизация снабдит его иовым сердцем, без явлеиий экстрасистолы, я охотио оставлю неподписанным документ об отчислении его из группы летчиков-космонавтов.

В темных глазах Ножикова вспыхнула буря.

— Послушайте, товарищ генерал,— почти выкрикнул Ножиков,— майору Владимиру Кострову не надо нового сердца. У иего есть свое — хорошее и надежное сердце... Если вы даже в нем и обиаружили эту самую экстрасистолу.

Генерал Заботин с интересом посмотрел иа майора. Он любил людей настойчивых и строптивых. С такими он ожесточенно спорил, если, по его мнению, они защищали или высказывали иеверную точку зрения. Но стоило только Заботину убедиться, что правы они, а ие ои, и он мужественно в этом призиавался.

— Чего же вы добиваетесь? — спросил Заботии тихо.

— Чуткого отиошения к Кострову.

— Нельзя ли покоикретиее?

— Чтобы майор Костров был иемедлеиио отправлеи на самое глубокое медицинское исследоваиие, под наблюдение лучших терапевтов.

— И вы уверены, что это все нам объясиит?

— Уверен, товарищ генерал.

— Ладно, будь по-вашему,— согласился вдруг Заботин и усмехнулся: — Однако и крутоватый же вы мужичок.

— Какой уж есть,— иасупившись, проговорил Ножиков.

* * *

Жене Светловой ужасио ие повезло. Даже Первое мая она провела в сурдокамере. Где-то в это время звенели голоса друзей и подруг. Они, возможно, веселились за праздничным столом, а может, их всех увезли в Звездиый городок. Туда на праздники всегда приезжали знаменитые артисты и поэты. В Звездиый городок иаверняка приехал и Леня Рогов, которому замполит Нелидов, наверное, послал пригласительный билет.

Рогова Женя не видала уже около месяца. Они провели с ним одно из воскресений в Третьяковке, пообедали

в молодежном кафе «Романтики». И в тот же день по редакционной командировке Рогов уехал в Сибирь. Теперь он в Москве и, вероятно, уже навестил их городок. Может, заходил в сурдокамеру и видел ее на экране телевизора. «Видел или нет? — спросила себя Женя и тут же обрезала: — А тебе этого хотелось, а?» Усмехнулась, потому что не нашла на этот вопрос ответа.

С тех пор как Женя Светлова безошибочно почувствовала свою власть над добродушным, медлительным Леней Роговым, она потеряла покой. Странные превращения происходили с ней. «Ты ему нравишься. Возможно, он тебя любит,— рассуждала Женя.— А ты его?» И оставляла этот вопрос безответным, вела бесконечные поединки сама с собой. «Тебе уже двадцать второй год,— говорил ей серьезный укоряющий голос, — и ты уже не та сумасбродная девчонка, что бросалась в Иртыш с высоченного моста. Пора бы и разобраться посерьезнее в своих чувствах». — «Ну и что же? — возражал этому рассудительному голосу другой, очень веселый. — Леня очень и очень неплохой человек». — «Но значит ли это, что он тот единственный, кого ты можешь полюбить?» И веселый озорной голос торжествовал: «А для чего тебе так срочно отвечать на этот вопрос? Ты что, замуж собралась?»

Леня... То он казался ей хорошим парнем, то она видела в нем человека, потрепанного жизнью, утратившего самое, по ее мнению, главное — веру в большое чувство. «А если он и обо мне начнет думать, как о той женщине с фарфоровыми глазами?! Чушь! Ерунда! — тут же обрывала она себя.— Он так не может».

Когда однажды Марина Бережкова спросила: «Слушай, Женька, неужели ты влюбилась в этого толстячка?» — она вся вспыхнула и оскорбленно перебила: «Как тебе не стыдно это говорить!» Может быть, так и было на самом деле. Леня ей нравился, но она опасалась принять за любовь обыкновенную дружескую привязанность. А сейчас она хотела его видеть. Очень хотела. Но может, это от тоски по людям, навеваемой камерой молчания, да и только?..

Прошумели майские праздники, а потом настало шестое число. В сурдокамере Женя проводила время по так называемому перевернутому графику: день за ночь. Василий Николаевич Рябцев, напутствуя ее, объяснил, что один из ныне известных всему миру космонавтов подоб-

ным образом готовился к полету. По ее счету, был поздний вечер, и Женя деловито расчесывала перед зеркалом волосы, готовясь к «отбою», когда внешний мир заговорил с ней торжественным голосом Рябцева:

— Евгения Яковлевна, ваш опыт подходит к концу. Через час мы вас будем поздравлять с успешным завершением задания.

— Вот как! — воскликнула обрадованная Женя.— А я спать хотела укладываться.

— О каком сне может идти речь! Утро в полном разгаре. Вы разве забыли об условиях своего пребывания в тишине?

— Нет, Василий Николаевич,— засмеялась Светлова,— не забыла. Значит, с перевернутым графиком покончено?

— Покончено, покончено,— подтвердил Рябцев,— а теперь ждите дальнейших указаний.

Женя не знала, что происходило в эти минуты за массивными звуконепроницаемыми дверями. Леня Рогов еще с утра появился в городке космонавтов. Разбудив заспанную лаборантку Сонечку, он уместился на стуле напротив телевизора и неотрывно следил за Женей, задумчиво двигавшейся по тесному пространству камеры. Он нашел ее мало изменившейся. Простенькая прическа делала ее похожей на десятиклассницу. Появился Василий Николаевич Рябцев, старательно, как всегда, выбритый, подмигнул недвусмысленно белокурой Соне.

— Пресса, оказывается, уже здесь.

— Вчера прилетел из Сибири, и вот, как видите...— сообщил Рогов.

— Вижу, вижу,— засмеялся Рябцев,— чуть свет, и я у ваших ног...

— Послушайте, Василий Николаевич,— пропуская шутку мимо ушей, продолжал журналист,— это правда, что Женя сегодня выходит?

— Абсолютная. Ровно через час я освобождаю ее из заточения. Причем, без всяких амнистий. Свой срок она отбыла не только полностью, но даже и оценку отличную заслужила.

Рогов ничего не ответил, только вдруг резко повернулся и вышел из лаборатории.

...Когда, освободившись от электродов, пройдя последнее медицинское обследование, Женя вышла из сурдока-

меры, майское голубое небо и пышная разросшаяся на густых деревьях зелень заполнили ей глаза. Остановившись у подоконника, она жадно вдыхала родниково-чистый воздух. Бродили в нем острые запахи клейкой ели, смолистых сосенок и осин. Были эти запахи настолько сильными и дурманящими, что ей стало трудно дышать. Женя увидела стены и крыши родного городка, разбегавшиеся во все стороны от учебного корпуса аллейки, редких пешеходов на них. Потом недоуменно стала оглядываться.

— Мы, кажется, погрустнели? — лукаво заметил Василий Николаевич.— Это по какой же причине? Или вас не радует вновь обретенная свобода? Или еще что? Ах, знаю. Вы решили, что некий рыцарь печального образа, именуемый Леонидом Дмитриевичем Роговым, не пришел вас встретить. Успокойтесь и подойдите к другому окошку.

Светлова, не ответив, подошла к другому окну и, перегнувшись через свежевыкрашенный подоконник, увидела на порожках главного входа журналиста. В руках он держал букет цветов, такой пышный и яркий, что все проходившие мимо не могли удержаться от улыбок.

— Леонид Дмитриевич! — закричала звонкоголосая Женя.— Я сейчас.— И стуча каблучками, выбежала из лаборатории.

Педантичный Рябцев только головой покачал вслед.

А Женины каблучки уже отбивали дробь на последних ступеньках лестницы. Кивнув часовому, девушка вихрем вылетела из здания. Ветер колыхнул светлые волосы. Она увидела Рогова, неловко прижимавшего букет к серому, старательно выутюженному костюму.

— Леонид Дмитриевич, Леня! Ну, здравствуйте!

Светлова была вся наполнена радостью оттого, что наконец-таки вновь увидела голубое небо и что тугой весенний воздух плещется ей в лицо, что снова она шагает по асфальтовым дорожкам городка. Рогов по-своему истолковал ее порыв. И когда она, захлебываясь от восторга, воскликнула: «Вот мы и встретились!» — он не совсем уверенно решил: «Значит, соскучилась». Глаза его засветились.

— А я вчера вечером из Сибири прилетел... чтобы к вашему выходу из сурдокамеры поспеть. Ну а вы-то, вы... вспомнили обо мне хоть раз в своем заточении?

Обогнув здание корпуса, они пошли вдаль от центральной части городка. Аллейка упиралась в зеленый забор. Сели на дальней скамейке. Глаза Жени, щурясь от острого солнца, жадно ощупывали далекую кромку горизонта. Там небо сливалось с зубчаткой леса, и от этого линия горизонта казалась зеленой. Если бы Светлову сейчас спросили, счастлива ли она, как бы она громко воскликнула: да! Над скамейкой, словно две свечи, возвышались тоненькие березы. Под тугим ветерком звонко шепталась на хрупких ветвях листва. Женя вскочила, вскинув вверх руки, продекламировала:

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало...

Рогов восторженно вздохнул:

— А знаете, Женя? Представьте себе такую картину. В недалеком будущем вы достигнете какой-нибудь планеты, станете на ее поверхность и обратитесь к вечному светилу вот так же.

— Что вы говорите! — лукаво воскликнула девушка.— Думаете, так может быть? Вы понимаете, Леонид Дмитриевич! Я сейчас, после душной сурдокамеры, готова обнять весь мир...

— Женя,— проговорил Рогов с тихой улыбкой,— вы будете когда-нибудь обращаться ко мне на «ты»?

Светлова удивленно расширила глаза.

— Обязательно, Леня! Честное пионерское — буду. А почему вы сегодня такой торжественный? Совсем как министр иностранных дел, прибывший на очередную сессию ООН.

Рогов вздохнул. На его небрежно выбритой шее вздрогнула родинка.

— Женя,— проговорил он тихо,— Женя... я сегодня ехал, чтобы сказать вам... Я очень серьезно...

Она все поняла, возвратилась к скамейке и положила па ее спинку тонкую руку. От сбежавшей с лица улыбки лицо ее как-то сразу осунулось и посерело.

— Ой, Леня,— испуганно произнесла она,— я вас очень, очень прошу. Не надо сейчас никаких серьезных разговоров. Вы же очень для меня дорогой человек и должны мою просьбу выполнить. Смотрите, вон Марина, Алеша Горелов и Субботин. Нас ищут. Идемте.

И, схватив помрачневшего Рогова за руку, Светлова потащила его по аллейке — совсем как расшалившаяся девочка тащит за собой на веревочке игрушечного бычка, вовсе не заботясь о том, катится ли он за ней на колесиках или уже давным-давно волочится на боку.

— Ребята, мы тут! — разнесся ее звонкий голос по городку.

* * *

Майор Ножиков усиленно надраивал тряпкой красный каркас «Москвича», когда к нему подошли Горелов и Дробышев. По всему было видно — оба только из столовой: Горелов держал в руке надкусанное яблоко, а Дробышев нес несколько пачек сигарет.

Голубые глаза Дробышева с тонкими густыми прожилками критически окинули машину.

— Вот что делает с людьми частная собственность! — засмеялся Дробышев.— С нашего партийного секретаря аж седьмой пот сходит.

Ножиков выпрямился, разминая замлевшую спину.

— Не частная, а личная собственность трудящегося,— поправил он.

Дробышев протянул руку:

— Здорово, Сережа.

— Здорово, Иван Михалыч.

Из распахнутых дверей гаража пахло бензином и промасленной ветошью — на цементном полу просыхали небольшие лужицы, в беспорядке стояли канистры.

Дробышев деловито потрогал ногой новенькие, тугие скаты.

— Вопрос к тебе имею, Сережа.

— Я знаю, что ты не приходишь без вопросов, Иван Михалыч.

— Спасибо, что деловым человеком считаешь.

Ножиков подошел к водопроводной колонке, стал мыть руки.

— Чем же на этот раз интересуешься?

— Володей Костровым.

— И с каких же позиций?

— С позиций войскового товарищества. Володя уже пятые сутки на исследовании. Утром мне сказали — одного-двух к нему могут на короткое время пропустить. Надо бы решить этот вопрос, товарищ партийный секретарь.

Ножиков застегнул воротник, надел галстук.

— А чего ж его решать, если все решено? Тебе, Иван Михалыч, надо было попрямее спросить, зачем я надраиваю свою «антилопу-гну». К нему сейчас поеду, к Володе. Вот и Горелова взял бы, но у него вестибулярные тренировки. Ты, может, составишь компанию?

— Я сегодня тоже не могу,— вздохнул Дробышев.

— Ну, вольному воля,— сдался Ножиков.

Через полчаса красный «Москвич», сияя всеми ручками, стеклами и дисками, подкатил к проходной, и часовой, которому Ножиков показал в окошко раскрытый пропуск, напутственно пожелал:

— Счастливого пути, товарищ майор.

Сразу за проходной веселой орущей стайкой машину обступила детвора. Ребятишки бегали по мягким лесным дорожкам копать для рыбалки червей и сейчас, возвращаясь в городок, были рады встрече с Ножиковым. Из всех космонавтов не было для них более дорогого и доступного, чем этот широколицый майор.

— Дядя Сережа, прокати! — закричали самые смелые.

— Дай погудеть, дядя Сережа!

— А сколько «Москвич» стоит?

— А сто километров он дает?

— Ишь вы, неугомонные,— заворчал на них Ножиков с напускной строгостью.— Кто домашние уроки сделал, садись в фюзеляж.

— Мы все сделали,— заверил белобрысый Митька, Андрея Субботина сын.

Насажав полную машину ребятни, Ножиков дал газ и промчался с километр по пустынному шоссе. Стрелка на приборе скорости, задрожав, слилась с цифрой «100», и кто-то из ребят восторженно выкрикнул:

— Вот дает! На первой космической прямо!

Погасив скорость, Ножиков развернулся, подвез ребят назад к проходной. Мальчишки высыпали из «Москвича», как горох, дружно прокричали:

— Спасибо, дядя Сережа!

У Ножикова не было своих ребят. Еще в сорок девятом, через год после того как он женился на Елене Пряхиной, школьной учительнице, в муках родила она сына-недоноска, но спасти его не удалось: мальчик умер на третьи сутки. А после этого жена не беременела. Жили Ножиковы дружно и тихо, были удивительно чутки друг

к другу. В их небольшой квартире всегда царил идеальный порядок. При виде чужих ребятишек Сергей не однажды вздыхал. Оттого что не было детей, он посвящал свой досуг делам самым разнообразным: то за новым ружьем центрального боя начинал усиленно ухаживать, то рыболовными снастями занимался самозабвенно или прикипал к фотоаппаратам и кинокамерам. А теперь «Москвич» напрочь вытеснил прежние увлечения. Сергей содержал его в такой чистоте и опрятности, так ревностно за ним ухаживал, что сразу же навлек на себя остроты товарищей. Алеша Горелов, начавший вместе с Андреем Субботиным выпускать стенную газету «Нептун», в первом же номере наградил его карикатурой: обливающийся по́том Ножиков орудует под «Москвичом» гаечным ключом. И подпись: «Ни сна, ни отдыха измученной душе».

Майор Ножиков, как и все летчики-истребители, не мог ездить на малых скоростях. Едва только красная машина проскочила затерянный в густых подмосковных лесах железнодорожный разъезд и, преодолев три километра плохой дороги, вырвалась на шоссе, он включил все восемьдесят. И только перед населенными пунктами сбавлял газ. Теплый майский ветер тугой струей гудел за стеклами, бился о чистый капот. Грохотало шоссе под твердыми шинами, и было приятно на душе. Сильные, в волосках руки Ножикова лежали на баранке. Фуражку и форменный китель он снял, садясь за руль. Сейчас они подпрыгивали рядом с ним на мягком сиденье. Ножиков быстро установил причину хорошего настроения. Она заключалась не только в том, что ему удалось поколебать генерала Заботина и теперь с Володей Костровым все должно было решиться хорошо. Радовала Сергея еще и бесценная весть. Вчера вечером спокойный и уравновешенный их замполит Нелидов затащил его к себе в кабинет и сказал, сияя прищуренными глазами:

— Тысячу раз за тебя радуюсь, Сережа. Утвержден первым кандидатом на космический полет этого года. Разумеется, это пока совершенно секретно.

Ножиков ударил кулаком себя в грудь:

— Могила, товарищ полковник.

Красный «Москвич» поглощал километры, и ветер победно гудел за его стеклами: утвержден, утвержден. Ножиков улыбался всем своим добрым лицом спокойного, физически сильного человека. Сколько ему? Уже сорок?

Так ведь это же только по паспорту и по метрике. На самом же деле он чувствует себя двадцатипятилетним, не больше. Приятно сжималось сердце. И только неловко становилось от мысли: а вдруг Володя Костров прочтет невзначай на его лице радость. «Нет, ему об этом знать сейчас не надо,— думал Ножиков,— если отобьем атаки врачей, Володя поедет на космодром в качестве второго кандидата на полет. А может, и в одном экипаже уйдем в космос». Шевеля мягкими крупными губами, Сергей напевал песенку, которую в общем-то не очень любил, но лучше которой не знал ничего песенного о космосе и космонавтах:

На пыльных дорожках далеких планет
Останутся наши следы...

Живописные балочки, поросшие нежной ярко-зеленой осокой, то на мгновение прятали «Москвич», то выбрасывали наверх, и он мчался и мчался беззаботно по шоссе, ведущему к столице. Над сонной поверхностью прудов качались тростники, пригретые солнцем. Медленно проплывали табунками домашние утки.

Уже половина пути осталась за плечами. «Надо в машине приемник поставить,— подумал Ножиков,— веселее будет дальние маршруты коротать». Впереди замаячило большое село с сохранившейся колокольней. Над каменным домиком за зеленой церковной оградой Ножиков увидел телевизионную антенну, усмехнулся: «Как же это? Святой отец, а телевизором балуется. Куда руководящий состав епархии смотрит?» Колеса прогрохотали по крепкому деревянному настилу моста, переброшенного через узенькую речушку. Было послеобеденное время, и на сельских улицах он увидел всего несколько прохожих. Миновав центр села, «Москвич» выскочил на окраину, когда справа от серой ленты шоссе увидел Сергей вытоптанную лужайку и возившихся на ней деревенских ребятишек. Белобрысые головки опять высекли в сердце доброе щемящее чувство. Ребятишки перебрасывали красно-голубой мяч. Он взлетал с тугим звоном. И все остальное случилось неожиданно, нелепо, глупо, как и обычно случается на дороге. Мяч выкатился на самую середину шоссе. Девочка лет пяти в пестром ситцевом платьице и голубой кофточке бросилась за мячом. Увлеченная игрой, она не заметила бесшумно вырастающий у нее за спиной

«Москвич». Ножиков увидел метрах в тридцати, не дальше, ее белобрысый затылок и жидкие косички на нем с вплетенными розовыми ленточками. Минута перед большой опасностью родила необыкновенную ясность сознания. Остановить машину Ножиков уже не мог. Но он отчетливо успел подумать обо всем, что сейчас случится. Секунды — и буфер «Москвича» ударит по этому затылку... В мгновение он облился холодным потом. «Задавить девчонку!..» И он что было силы рванул машину. Она, взвизгнув колесами и тормозами, сделала невероятный прыжок влево. Сергей увидел серый телеграфный столб, стремительно надвинувшийся на чистенький капот «Москвича», услышал, как посыпались на него со звоном стекла, а потом наступили потемки...

На бойком шоссе возле разбитого «Москвича» быстро столпились проезжающие машины. Прискочили на красном мотоцикле два орудовца и стали что-то замерять рулеткой. Остановилась как вкопанная машина «скорой помощи», и рослый пожилой санитар крикнул столпившимся:

— Разойдитесь, граждане. Это мне в первую очередь надо. Милиция в данном случае вещь уже бесполезная.

Ножиков очнулся на колыхающихся носилках, пересохшими рваными губами хватал беспомощно голубой майский воздух.

Старушка с хозяйственной сумкой, каких много кочует по подмосковным дорогам, шепеляво причитала:

— И-и, сокола какого загубили! Такой молоденький. Летчик. Фуражка какая голубенькая...

Сергей беспокойно задвигался на носилках, сипло спросил:

— А девочка... девочка как?

Молодая женщина в голубой косынке протиснулась к нему с белобрысой девчушкой на руках, рыдая, воскликнула:

— Родненький... миленький ты наш. Аленушку спас, а себя не пожалел. Как же нам благодарить-то тебя!

Девочка с ее рук растерянно улыбалась:

— А я жи-ва, дядя. Только испугалась. И мячик целый.

— Мячик цел — это хорошо,— вздохнул с облегчением Ножиков,— а вот я, кажется, нет...

Голубое небо над его головой снова померкло.

Позже майор увидел уже высокий выбеленный потолок и понял, что он в госпитале. Сквозь мутную пелену обморока временами пробивалась действительность. Над ним склонилось лицо Виталия Карпова, затем увидел сведенные болью глаза генерала Мочалова. У Виталия смешно шевелились усики. Бледные губы генерала выдавливали какие-то мучительные слова, но Сергей их не слышал. Свет опять начал меркнуть, и Сергей, впадая в забытье, воспринял лишь один, ему незнакомый, с хрипотцой голос:

— Состояние тяжелое, товарищ генерал. В рубашке майор родился, чтоб живым из такой переделки выйти. Сотрясение мозга, перелом обеих ног. Сделаем все...

Поздно ночью на квартире у Алексея Горелова зазвонил телефон. Еще сонный, космонавт босыми ногами прошлепал к телефону, снял трубку.

— Говорит Мочалов. Вы мне очень нужны. Сможете быть минут через двадцать у меня в кабинете?

— Слушаюсь, товарищ генерал.

Над погрузившимся в сон городком космонавтов стояли плотные сумерки. Как это и бывало всегда, после двенадцати ночи по приказу коменданта Кольского на всех аллейках выключался свет, лишь центральная дорога от проходной к штабу освещалась всю ночь. Алексей прошагал в кромешной тьме до широкой клумбы. Во всем штабе светились только два угловых окна — кабинет командира части. В пустом коридоре гулко отдавались шаги.

Генерал встретил Горелова сдержанно, жестом указал на придвинутое к столу мягкое кресло. Был спокоен, но так и пробивалась сквозь это спокойствие усталость. Из раскрытой бутылки боржоми поднимались веселые пузырьки. Мочалов локтями уперся в стол, ладонями обхватил седеющие виски. Потом, стряхивая оцепенение, выпрямился в кресле. Поискал среди разбросанных на столе бумаг желтый конверт.

— Это я сегодня получил, Алексей Павлович. И знаете, от кого? От Кузьмы...

— От полковника Ефимкова? — встрепенулся Горелов.

— Ну, для вас от полковника Ефимкова,— покровительственно согласился генерал,— а для меня от Кузьмы

просто. Пишет, что Соболевка стоит на прежнем месте, летают они без катастроф, ваши друзья уже поднялись на ступеньку выше: кто командиром звена стал, кто заместителем комэска.

— Там прекрасные ребята, товарищ генерал,— одобрительно подхватил Алексей,— да и мне в Соболевке прекрасно жилось.

— А разве у нас хуже?

— Нет, товарищ генерал. Но я твердо уже уяснил разницу между летчиком и космонавтом.

— В чем же она, по-вашему, заключается?

— В том, что летчик живет в воздухе, а космонавт на земле.

Мочалов сосредоточенно потер переносицу.

— Не понимаю.

— Так это ж очень просто,— оживился Горелов,— в авиации я летал иногда ежедневно, иногда через день. Там я жил в воздухе. А здесь, чтобы когда-то провести в космосе ограниченный отрезок времени, я живу и работаю на земле, потому что наши тренировочные полеты и сравниться не могут с теми, какие я выполнял у Кузьмы Петровича.

Уголками губ Мочалов улыбнулся:

— И это вас разочаровывает?

— Нет, товарищ генерал! — воскликнул Алеша.— Какое может быть разочарование, если сбывается заветная мечта... мечта всей моей молодости да и вообще — жизни!

Генерал недоверчиво покачал головой:

— А вот Кузьма не верит. Спрашивает, не испортил ли я вам биографии. Смотрите, что накалякал: «У меня бы Алешка Горелов уже в комэсках ходил. А вот что он делает у тебя — одному богу известно. Не лучше ли синицу в руки, чем журавля в небе?» Как вы считаете, Алексей Павлович?

На голове Горелова шевельнулись кудряшки.

— Я свою синицу намерен в космосе словить.

Мочалов положил конверт на прежнее место.

— Любит он вас, Алексей, вот и беспокоится о судьбе. Вы ему обязательно напишите, если давно не писали. К старости мы все становимся несколько сентиментальными, и знаете как радуешься письму от бывшего подчиненного, которого ты уважал, а может, и больше — любил!

Пусть не всегда ему сразу ответишь, но какая искорка западает в душу!

— Я напишу. Завтра же напишу,— охотно заверил Горелов.

В глазах его уже совсем растаяли признаки сонливости. Вся фигура старшего лейтенанта выражала крайнее ожидание. Алеша прекрасно понимал, что если Мочалов разбудил его среди ночи, то вовсе не для того, чтобы цитировать письмо Ефимкова. Это он мог бы сделать и в другое время. Горелов ждал, генерал медлил. Наконец заговорил, устало покосившись на часы:

— Вы, разумеется, знаете, какие две беды обрушились на наш отряд.

— Неприятность с майором Костровым и авария с Ножиковым?

— Вот именно, Горелов. Только потому я вас и вызвал.

Алексей пожал плечами:

— Какая же связь между этими двумя несчастьями и нашим ночным разговором?

— Сейчас поймете.— Генерал вышел из-за стола и, заложив руки за спину, медленными шагами стал прохаживаться по кабинету. Ковер скрадывал звуки шагов. Алексей беспокойно следил за генералом. Мочалов остановился и потянулся, сбрасывая усталость.

— Все, что вы сейчас услышите, должны знать лишь вы. Это первое обязательное условие. Сергей Ножиков позавчера вечером был утвержден кандидатом на космический полет, намеченный на осень нынешнего года. Две переломанные ноги и сотрясение мозга, по-видимому, на год выведут его из строя. Это раз. Майор Костров, его дублер, а возможно, и второй пилот, тоже под угрозой. Я верю, что все страхи перед экстрасистолой — раздутая шумиха. Но чтобы нам отстоять его место в строю космонавтов, для этого также понадобится время, и заменить Ножикова в этом году Костров навряд ли уже сможет. Значит, нужны новые кандидатуры. Вместо Ножикова — майор Субботин, вместо Кострова — старший лейтенант Горелов.

Алексей не удержался от радостного движения.

— Товарищ генерал, это невероятная новость. Я с радостью готов выполнить любой ваш приказ.

Внезапно на темном стекле, к которому прильнула глубокая ночь, Алеша увидел отражение своего лица, да-

же улыбку, обнажившую целые — до единого — зубы. Нехорошая мысль ударила в голову: «Чему же ты смеешься? Чему рад?! Несчастью своих друзей?» Горелов моментально помрачнел, и это не ускользнуло от пытливых глаз генерала.

— Вы не рады, Алексей Павлович?

— Не рад, товарищ генерал.

— Парадоксально. Рвались, рвались в космос и вдруг опечалились, узнав, что командир готовится назначить вас дублером. Неужели вас не приводит в восторг одна возможность такого быстрого взлета?

— Нет, товарищ генерал. Не хочу, чтобы мой восторг, как сорняк, взошел на бедах моих друзей.

Мочалов остановил на нем потеплевшие глаза.

— Это уже из области эмоций.

— Нет, просто совесть забунтовала.

Генерал сделал два шага вперед, мягко потрепал по плечу насупившегося космонавта:

— Алеша, Алеша. Вот за то вы мне и любы. За мальчишечью свою непосредственность. Да, я согласен: ваше назначение дублером продиктовано именно этими неприятными событиями. И реакция у вас на мой приказ правильная. Но выбора нет, и дублером пойдете вы!.. До определенного времени наш разговор храните в строгой тайне. С завтрашнего дня по всем видам подготовки вам будет усилена программа. Чтобы это не бросалось в глаза другим, наряду с вами по такой же программе будут заниматься еще двое — майор Дремов и...

— Марина Бережкова,— подсказал Горелов.

Генерал сделал отрицательный жест:

— Нет. Девушки не в счет. Их в этом году космос не позовет. Третьим в вашей подгруппе будет капитан Карпов. Откровенно говоря,— генерал снова занял свое место за рабочим столом,— я бы очень и очень не желал в этом году ставить вас ни на место дублера, ни тем более на место пилота космического корабля.

Горелов нетерпеливо встряхнул головой, тень его шевельнулась на белой стене.

— Не понимаю, товарищ генерал. Сначала оказали мне доверие, а теперь говорите противоположное. Ничего не понимаю.

Густые брови Мочалова сомкнулись, но глаза из-под них глянули на Горелова очень сердечно.

— Чтобы меня понять, Алексей Павлович, вы должны знать мое отношение к нашим первым космическим полетам. Его я тоже прошу не распространять широко. Весьма возможно, что во многом оно носит субъективистский характер. Вот, смотрите-ка.— Он достал из мраморного стаканчика остро отточенный карандаш, придвинул лист бумаги и попросил Горелова стать за его спиной. Алеша увидел, как рождается на чистом листке незамысловатый рисунок. Сначала генерал нарисовал небольшой шар и рядом поставил букву «З». Было понятно и без слов. Но он помолчал и все же уточнил: — Вот это она и есть, матушка, по которой ходим, плодами и добрым климатом которой пользуемся. На ней орбиты — от двухсот до пятисот километров. Что это? Космос? Нет, не космос, а если по чести и совести говорить, так всего только околоземное космическое пространство.— Карандаш провел еще одну линию.— А вот это уже будет повыше. На этой высоте есть и два радиационных пояса и участки не совсем изученной солнечной деятельности, и возможность не совсем приятного сотрудничества с метеоритами. Дальше район, обусловленный деятельностью нашей холодной соседки Луны. Ну а потом уже и продолжается подлинная бесконечность галактики, и пути, открытые пока теоретически, к иным мирам. Для чего я нарисовал вам эту схему? Хочу спросить и полюбопытствовать. Укажите мне, летчик-космонавт Горелов, район космоса, в который уже сейчас вторгся человек? А если говорить точнее, то район, по которому прошли вокруг Земли орбиты первых космических кораблей, и в том числе американских.

— Так это же ясно! — недоуменно воскликнул Горелов.— Орбиты от двухсот и до пятисот километров. Апогей и перигей каждый студент укажет.

— Правильно. Что и требовалось доказать, как говорит в таких случаях на уроке учитель геометрии. Пока что мы всего-навсего ведем разведку околоземного космического пространства. Все это, конечно, грандиозно и потрясающе. Это обогащает и ракетостроение, и электронику, и метеорологию, и астрономию, и космическую медицину. Когда Гагарин совершил первый виток вокруг Земли, мир убедился, что земное тяготение преодолимо и выход в космическое пространство реален. Мир был ошеломлен и назвал Гагарина Колумбом космоса. Но двенадцатого и тринадцатого космонавта, повторяющего при-

мерно такую же орбиту, Колумбом уже не назовут и лавровым венком не увенчают. Человечество ждет новых, более дерзких вторжений в глубины космоса. Ведутся интересные опыты с плазменными двигателями, не за горами день, когда будем штурмовать радиационные пояса, разрабатывается метод доставки корабля с человеком в окололунное пространство. Видите, сколько космических проблем сулит нам ближайшее будущее... И когда я слышу, что некоторые наши ребята начинают хандрить, что не попадут на очередной запуск, я только руками развожу. Как они могут забывать, что впереди более грандиозные, хотя не скрою, вероятно, и более опасные полеты! Если ты посвятил себя космонавтике, если ты не гонишься за славой — жди их! А вы, Алексей Павлович, сильный, смелый и молодой. Я очень хотел бы поберечь вас для будущего. Вот, почитайте.— Генерал еще раз порылся в разбросанных на столе бумагах и протянул Алеше небольшую вырезку. В короткой информации сообщалось, что два американских космонавта в ближайшее время отправятся исследовать вулканы на Гавайских островах.

— Вулканы... зачем это?

Мочалов расхохотался:

— Чудак. А затем, что строения многих вулканов на Земле аналогичны тем, с которыми первые космонавты встретятся на Луне. И я бы очень хотел, Алексей Павлович, чтобы вы тоже отправились изучать вулканы вместо того, чтобы стать дублером в ближайшем полете.

Горелов положил вырезку на стол и задумчиво вздохнул:

— Луна, неужели это так скоро?

— А разве вы думали, что так скоро будет запущен в космос первый человек? — засмеялся Мочалов.— Сегодня такой полет кажется далеким. А завтра... вот позвонит Главный конструктор и скажет, что намечается полет к Луне. А? Вот почему не хотел бы я вас тревожить в этом году.

— Сергей Степанович,— весело воскликнул Алеша,— так я готов два раза подряд слетать!

Брови Мочалова насмешливо приподнялись.

— А другие космонавты? Разве им можно закрывать дорогу в звездный мир?

Генерал встал и снова заходил по ковру. Остановился,

поднял утомленные глаза на портреты первых советских космонавтов. Со стены улыбался, как живой, Юрий Гагарин, хмурился серьезный Титов, о чем-то своем, затаенном думала Валентина, лихо прищуривал глаза Попович, сосредоточенно смотрел в темное окно Андриян Николаев, мягким светом были наполнены серьезные глаза Комарова.

— Я бы хотел, чтобы вы пошли дальше их, Алексей Павлович,— заключил Мочалов.

Главного терапевта военного госпиталя Володя Костров увидел лишь на четвертые сутки, когда прошел уже серию самых тщательных исследований. Перед обедом в шелковой синей пижаме сидел космонавт на койке, держа в руках раскрытую книгу. Дверь распахнулась, и в ней появился высокий прямой старик с зачесанными назад совершенно седыми волосами и такими же седыми пышными усами. Из-под поблескивающих на солнце стеклышек пенсне на Кострова глянули острые, быстрые глаза. Почему-то подумалось: носит этот старик пенсне просто так, для внушительности, зоркие же глаза его на самом деле прекрасно все видят без них. За спиной у старика стояла свита в белых халатах, и уже по одному этому догадался Володя, что перед ним — большое начальство. Небрежно, словно кота за хвост, держал старик в правой руке длинную пачку лент-кардиограмм. Не отводя глаз от Кострова, он приближался к его кровати и чистым, молодым голосом, в котором звучали, однако, повелительные нотки, спросил:

— Майор Костров?

— Так точно,— подтвердил Володя и встал.

Старик протянул ему сильную, с узлами вен руку.

— Генерал Трифонов. Будем знакомы.

Володя пораженно заморгал глазами. Перед ним стоял известный ученый. О его редкостных, фантастических на первый взгляд, исследованиях сердца ходили легенды. Старик продолжал внимательно его разглядывать.

— Летчиков через мои руки прошло много. А вот с космонавтами дела еще не имел. Вы первый. Что читаете?

Володя молча закрыл книгу, показал ее серый переплет. Трифонов гулко расхохотался, и свита дополнила его сдержанными смешками.

— «Граф Монте-Кристо». Сочинение господина Дюма... И вас устраивает это чтение?

Володя густо покраснел.

— Простите, попалась под руки. К тому же я не слишком увлекаюсь художественной литературой.

— Чем же вы увлекаетесь, молодой человек?

— Интегральным и дифференциальным исчислением, товарищ генерал.

— Скажите на милость! — развел руками Трифонов.— Тогда тем более непростительно. Запомните, что за свою жизнь человек в состоянии одолеть от трех до пяти тысяч томов. Только редкие индивиды перешагивают это число. А жизнь человеческая ох как коротка! Так что читать подобное второй раз — это обкрадывать самого себя, мой друг. Хватило бы и одного чтения, состоявшегося в детские годы.

Костров спокойно ответил:

— А если в детские годы оно не состоялось?

Главный терапевт снял пенсне и продолжал рассматривать своего собеседника уже... невооруженными глазами.

— То есть как это не состоялось? Ерунда. Что же вы тогда делали в детстве?

— Тушил зажигалки во время налетов на город, стоял в очередях за хлебом по карточкам, на заводе после школьных уроков работал.

— Гм... — протянул Трифонов, — это, между прочим, весьма вероятный вариант и оправдывающий подобную неразборчивость в чтении.

— А потом еще и моя система заставила взять в руки «графа»,— улыбнулся Володя.— У меня Алька, сынишка, в третий класс ходит. Часто спрашивает про какую-либо книгу: хорошая или нет? А у меня обычай — прежде чем сам не прочту, никогда сыну не скажу — читай.

— Хорошая система,— дружелюбно произнес Трифонов.— Да вы садитесь. Стоять устанете и опять на центрифугу не возьмут.— И сам сел на стул.— Ну-с, а теперь рассказывайте, как все это произошло.

Подробный рассказ Кострова о последней неудачной тренировке на центрифуге он выслушал с пристрастием, часто прерывал вопросами. Потом проворчал в седые пышные усы:

— Экстрасистола, экстрасистола... Любят у нас иногда разбрасываться терминами по поводу и без оного. Смот-

рел я все ваши показания и анализы. Организм крепкий, без изъянов. А представители вашей космической медицины на своем пытаются настаивать.

— Так и я об этом говорю, — подхватил приободрившийся Володя. — Что такое наша космическая медицина? Это же еще дитя без глаз.

Седая голова главного терапевта вскинулась, и он неодобрительно буркнул:

— Не согласен, майор... Вы сейчас человек, на космическую медицину обиженный, — заговорил он вразумляюще, — а стало быть, и не объективный. Это дитя, и с глазами, дорогой мой, и без рахита. На своих ногах оно уже далеко ушло от колыбели. Но что поделаешь, когда рождается новое, возможны и отклонения от правильного пути и оплошности некоторые. Надо их поправлять спокойно и терпеливо. Я как-то, не столь давно, спорил с одним из представителей вашей молодой науки. Человек способный, над кандидатской диссертацией работает. Так он пытался утверждать, что человеческий организм нельзя тренировать для перенесения нагрузок, а можно, мол, только выяснить его возможности к этому. А что такое «нельзя тренировать»? Если этот тезис распространить на вас, то вас и близко нельзя подпускать к центрифуге.

— Вы шутите? — затаив дыхание, спросил Костров.

— Вышел уже из этого возраста, — мрачно посмотрел на него Трифонов, — что-то в последнее время не получается с юмором. Серьезно говорю. Носители этой теории считают, что если человек однажды не выдержал в сурдокамере высокой температуры, значит, так будет всегда. Сорвался на вестибулярных пробах — ищи место в легкомоторной авиации. Я от этой отцветающей теории весьма и весьма далек. А поэтому считаю, что с вами попросту надо возобновить тренировки на центрифуге, но осторожно относиться к перегрузкам, потихонечку их вводить, а не так, как это вы попросили сделать на последней тренировке.

— Значит, вы скажете, что я снова должен быть допущен к занятиям в отряде? — восторженно спросил Костров.

У генерала дрогнули седые усы.

— Ну конечно же скажу. Иначе, кто за вас в космос полетит, молодой человек. Не граф же Монте-Кристо.

С учебником английского языка в руке вышел Алеша Горелов на осторожный вечерний звонок и обрадованно отступил, увидев на пороге улыбающегося Кострова.

— Здравствуй, соседушка! Не разбудил?

— Володя! Уже из госпиталя? Заходи, заходи, дружище.

Они обнялись, и Горелов потащил его в комнаты. Возвращение товарища настолько его обрадовало, что учебник английского языка был моментально заброшен. Алеша побежал на кухню «организовывать» чай.

— Я инкогнито, — улыбался Костров, — никому еще, кроме родной женушки, не сказывался. Давай мою победу хотя бы чаепитием отметим. Снова к тренировкам допущен.

Над черной плитой уже шумел фиолетовый огонек газа. Алексей нарезал докторскую колбасу и ноздреватый швейцарский сыр, достал из шкафчика мед, масло, хлеб.

— Видишь, я как настоящая домохозяйка, — похвастался он, — посмотри, как ажурно на стол накрываю.

— Да уж куда там, — лениво потянулся Костров. — Чего проведать меня, лентяи, не приезжали?

Горелов остановился посреди комнаты с чашкой в руках, горько вздохнул:

— Один поехал, да не доехал.

— Жалко Сережку, — откликнулся Костров. — Мне Вера уже со всеми подробностями рассказала. Год теперь у старика будет упущен.

— По моим данным — меньше, — возразил Алеша. — Вчера у него полковник Нелидов был. Сказал, к октябрю починят нашего парторга.

— К октябрю починят, а потом догонять будет месяца два. Жаль. Я бы очень хотел, чтобы Сережа в этом году полетел. Даже свою очередь уступил бы.

Они пили горячий чай, закусывали бутербродами, и Костров пространно рассуждал о судьбе Ножикова:

— Ты думаешь, я о нем отчего вздыхаю? Оттого что он парторг или мой добрый друг? Нет. Не только. Тут дело гораздо сложнее, мой милый. Ты, Алеша, еще молодо-зелено. Мне тридцать семь, Сергею — сорок. Нас только двое в отряде таких стариков. А что ты понимаешь в психологии сорокалетних? Вот отчислили меня после этого нелепого случая с центрифугой, и я в госпитале все эти дни только волком не выл до той самой минуты, пока мне

генерал Трифонов не сказал, что исследования дали хорошие результаты. А Ножикову еще хуже.

— Он борется, — тихо заметил Горелов.

Костров задумчиво мешал ложечкой в стакане. Черный чубчик свисал на смуглый лоб, покрывшийся морщинами.

— Борьба бывает всякая, Алеша. Бывает борьба гордая, смелая. Когда, например, ты самолет с поврежденным двигателем сажаешь или в какой-то трудной жизненной ситуации правду ищешь. А бывает борьба горькая, вызванная не от тебя зависящими, порою совершенно нелепыми причинами. И самое обидное, когда ты сознаешь, что не столько сам борешься, сколько за тебя борются другие. Вот и у Сережи так.

— Он выдержит, — уверенно сказал Горелов, и глаза его блеснули, — он все-таки сам за себя прежде всего борется. И врачи помогают. Да и мы будем все время веру в него вселять. Я знаю, Володя, что еще на своем веку раскрою как-нибудь газету и прочту, что летчик-космонавт коммунист Сергей Ножиков вышел на орбиту.

Утром, еще до начала рабочего дня, городок космонавтов загудел одной единственной короткой радостной вестью — Володя Костров вернулся и снова допущен к подготовке. Солдат второго года службы Вашакидзе, сменившийся на посту у проходной, поцокал языком и, закатив черные глаза, доверительно сказал начальнику караула:

— Ва! Товарищ сержант! Что я вчера вечером видел, еще никто не знает. Я зеленый калитка самому Володе Кострову открыл.

Потом возбужденные женщины стали поздравлять появившуюся в магазине Веру, и стоустый шепоток покатился все дальше и дальше, обрастая новыми подробностями. Самого Кострова, торжественного, затянутого в новый китель, на пороге повстречал майор Дробышев, пожал ему крепко руку.

— Ну, дорогой, задал ты всем нам тревог. Это я как майор майору тебе говорю. Пришлось и мне кое-кому звонить.

Костров, настроенный на веселый лад, пошутил:

— А что? Разве забота о здоровье космонавтов тоже входит в обязанности госбезопасности?

Дробышев шутливо развел руками:

— А то как же!

Подошел полковник Нелидов и утащил Кострова к себе в кабинет. Внимательно вглядываясь в посвежевшее лицо майора, он поприветствовал его все-таки более сдержанно, чем другие.

— Я тоже рад, Владимир. Но победу вам праздновать еще рановато. Главное — впереди: звонила Зара Мамедовна. Она хочет, чтобы вы приехали к ней прямо сейчас. Как говорится, с корабля на бал.

— Так я готов, — беспечно ответил космонавт, и его губы сложились в улыбку.

— Готов-то готов, но смотрите, чтобы не получилось как в прошлый раз, — строго напомнил замполит.

Костров рассмеялся и, как заклинатель, поднял руки вверх:

— Сдаюсь. Не буду больше так самонадеянно рапортовать о готовности. Но не судите меня слишком строго. Семь суток лежал в госпитале, и, честное слово, было время подумать. Лучше, чем кто-нибудь другой, знаю я причину провала. Народная мудрость говорит: знал бы, где придется падать, соломки подложил бы. Так вот на этот раз я к Заре Мамедовне не с букетом роз приду, а с этой самой соломкой. Подложу ее там, где надо.

— Забавно, — протянул замполит, не отводя от Володи пытливых глаз. — И чем же, по вашему мнению, было вызвано то фиаско?

— Самоуверенностью, Павел Иванович.

Замполит достал из стола зажигалку, потянулся к папиросной коробке.

— Костров и самоуверенность? Не понимаю. Вы же у нас считались самым серьезным человеком. Математик, логик, воплощение собранности, уравновешенности и рассудительности. Я о вас Главному конструктору так и докладывал.

— Вот и промахнулись, дорогой Павел Иванович. В том-то и дело, что в день последнего испытания все названные качества меня покинули и обратились в свою противоположность. Денек-то стоял! Небо, солнце, леса какие зеленые по пути... А накануне меня обрадовали, что допустят к изучению нового космического корабля. И каким же я на тренировку явился! Букет цветов купил для Зары Мамедовны. Ввалился франтом, пижоном, этаким тореодором, черт возьми! Эх, думаю, последняя тренировка. Сойдет. В кресло сел кое-как, позу выбрал неверную, слишком

напряженным был... Вот и наказала меня матушка-центрифуга по всем правилам.

Лицо Нелидова потонуло в облаке папиросного дыма. То ли от смеха, то ли от этого дыма он закашлялся.

— И пышный букет не помог?

— Не помог, Павел Иванович. А Зара Мамедовна, вы же сами знаете... Хозяйка Медной горы и та не была такой суровой. Вот и заплясала эта самая экстрасистола. А сегодня, дорогой Павел Иванович, я на центрифугу, как на самую тяжелую работу, поеду. И уж дудки, без васильков-ромашек обойдусь.

— Ну что ж, — подытожил замполит, — вижу, у вас боевое настроение сегодня. Буду ждать успеха. Как говорят, возращайтесь со щитом.

Голубой автобус вскоре увез Володю Кострова.

День разгорался над городком. Шли занятия в учебных классах и лабораториях. Баринов со взводом солдат из караульной роты приводил в порядок беговые дорожки стадиона и летнюю баскетбольную площадку. Начштаба полковник Иванников составлял расписание летних тренировок. Не так часто, как в строевой части, но все-таки и здесь всем офицерам приходилось совершать учебные полеты, недаром же по штатному расписанию именовались они летчиками-космонавтами, да и невозможно было не летать тем, кого взрастила авиация. В клубе продумывали план субботнего вечера отдыха и дискуссию на тему «Что такое счастье?». Ее предложил замполит Нелидов. А над крышами гарнизонных зданий и над одетым в яркую зелень лесом светило щедрое солнце и голубело майское небо.

Весело было на душе и у майора Дробышева, когда в предобеденный час он перешагнул порог генеральского кабинета.

— Можете поздравить. Отпуск! — весело сказал он Мочалову и находившемуся здесь же полковнику Нелидову. — В конце мая море на Кавказском побережье хотя и не такое теплое, как в июле, но и не такое холодное, как в декабре или январе. А я даже при плюс двенадцати купаюсь.

— Море — это хорошо, — качнул головой генерал, — хуже, когда тебя в болоте плавать заставляют.

Он стоял за своим письменным столом и с каким-то горьким выражением держал двумя пальцами бумагу

с фиолетовым разляпанным штампом вверху и черными строчками машинописи. Дробышев понял, что генерал озабочен, крайне чем-то раздражен, и ему ровным счетом нет никакого дела ни до Черного моря, ни до Кавказского побережья.

Дробышев кивнул на бумагу:

— Что это вы за послание держите, товарищ генерал, если это, конечно, не секрет.

Мочалов вздохнул, и брови его огорченно сдвинулись. Положив бумагу на стол, он озадаченно развел руками:

— История... Ничего не скажешь.

— Ему тоже полезно прочесть, Сергей Степанович, — подсказал полковник Нелидов.

— Да, да, — спохватился Мочалов, — полюбуйтесь-ка.

Дробышев взял бумагу. На ней увидел штамп поселкового Совета. Название украинского городка было хорошо знакомо. Мысленно Дробышев отметил, что штамп этот поставлен косо, очевидно в спешке, а текст на машинке печатал малосведущий в машинописи человек: отступы неровные, в словах несколько пропущенных букв проставлены вверху. Под словами «председатель поселкового Совета Сизов», отпечатанными без заглавных букв, — размашистая подпись. Потом он пробежал глазами короткий текст. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и брови над голубыми глазами не сдвинулись и не поднялись вверх, как это бывает у людей, чем-то пораженных и не умеющих скрывать свои чувства. Он вторично углубился в чтение:

«Командиру части.

Нам стало известно, что в вашей части проходит службу Костров Владимир Павлович. Об этом на наш запрос сообщили из Северо-Кавказского военного округа. Мы не знаем, в каком он сейчас звании и в какой должности. Может, он имеет доступ к секретному оружию или самой ответственной боевой технике. Так вот, от имени Советской власти мы вынуждены поставить вас в известность о следующем. В годы оккупации 1942—1943 гг. отец Кострова В. П. Павел Федорович Костров активно сотрудничал с немецко-фашистскими оккупантами, служил в комендатуре г. Горловка, а затем и в гестапо. Он же самый Костров П. Ф. принимал участие в расправах над честными советскими людьми, выслеживании подпольщиков и партизан. При освобождении нашего района и города ча-

стями Советской Армии сбежал в неизвестном направлении вместе с оккупантами.

Такова правда о родителе вашего офицера Кострова. Мне думается, что вам, как командиру, знать ее надо.

Председатель поселкового Совета

Сизов».

Дробышев молча положил бумагу па стол. Он чувствовал, как две пары глаз сверлят его.

— Жарко, — сказал он спокойно и, достав платок, вытер лицо.

— Ты мне не темни, Иван Михалыч, — первым не выдержал Нелидов. — Твое мнение на этот счет?

— Володя Костров — мой хороший товарищ, — уклончиво ответил Дробышев, — и притом сын за отца не отвечает.

— Ты мне тут Сталина не цитируй.

Дробышев невозмутимо отмахнулся:

— Да разве он автор этого изречения? Сын за отца не ответчик — это народ сказал за многие годы до него.

Мочалов тонкими пальцами отодвинул листок от себя.

— Так-то оно так, Иван Михалыч, — произнес он задумчиво, — сын за отца действительно не отвечает, и у нас давно покончено с наслоениями культа личности. Но ты посчитайся и с другим. Ведь это же официальный документ. Но на бумаге штамп поселкового Совета, подпись его председателя. Бумага пришла действительно из тех мест, откуда наш Володя, и речь в ней на самом деле идет о его отце.

— Ну и что же? — холодно спросил Дробышев.

— А то, что оставить подобный сигнал не замеченным мы попросту не имеем права. Я убежден — Костров идеально чистый, честный человек, коммунист, офицер. Но ведь это же здесь... у нас. — Мочалов вздохнул, оперся ладонями о спинку кресла. Напряженно тикали часы. Все трое молчали. — Нечего сказать — ситуация. Вот-вот его кандидатуру будут утверждать на очередной полет. И не где-нибудь — на госкомиссии. Он должен стать человеком, имя которого разнесется по всем уголкам земного шара. И вдруг у советского космонавта отец каратель, фашистский преступник. Вы понимаете,

какой будет резонанс? Ведь каждый из наших кандидатов на космический рейс должен быть как стеклышко. А тут вроде пятна на солнце. Неважно получается. Тяжелый случай. Может, ты все же что-то подскажешь, Иван Михалыч?

Дробышев не моргая поглядел на генерала, и голубые глаза его остались бесстрастными.

— А Черное море? Путевка? Температура воды плюс двенадцать?

— Ах да! — ледяным голосом воскликнул Мочалов. — Как это я забыл? Тогда желаю поскорее занять нижнее место в мягком купе.

Белый телефон на письменном столе зазвонил, и Мочалов рассеянным движением снял трубку:

— Вы угадали, Костров. Это я.

Слышимость по этой линии была превосходной, и, от того, что генерал держал трубку на некотором удалении от уха, космонавта слышали все трое.

— Сергей Степанович, — бойко сообщал Костров, — звоню по поручению Зары Мамедовны. Только что сошел с матушки-центрифуги и еще мокрый как мышонок. Двенадцать Ж выдержал на «отлично». Кардиограмма идеальная. Все в норме, Сергей Степанович.

Тонкий рот Дробышева расплылся в доброй улыбке, и на какие-то мгновения майор потерял свою обычную невозмутимость.

— Ай да Володя! Молодец! Жми! — выкрикивал он азартно.

Но Мочалов с тем же хмурым видом опустил трубку на рычаг.

— Чего же хорошего? Только что выбрался парень из серьезного испытания и на тебе — новое. Действительно, беда одна никогда не приходит, другую за собой тащит. Вот она, диалектика жизни, — и он неприязненно оглянулся на майора.

Но Дробышев уже не хотел расставаться с хорошим настроением, овладевшим им после звонка Кострова:

— Ничего, товарищ генерал. Мы диалектику учили не по Гегелю... или как там образно выразился в свое время товарищ Маяковский. Коммунисты не боятся трудностей. — Он посмотрел на письменный стол и с решительным видом хлопнул себя кулаком в грудь: — Ладно! Была не была! Вы кому-нибудь эту бумагу показывали?.. Нет?

Так и не торопитесь. Давайте ее мне. Попробую что-либо предпринять. А вам мой совет таков. Ни бровью, ни глазом не выдавайте Володе, что на него пришел тревожный сигнал.

Может, и были какие-то свои слабости и недостатки у майора Ивана Михайловича Дробышева, они ж многим человеческим характерам свойственны, но болтливостью и легкомыслием он не обладал и никогда не бросал слов на ветер. Еще в кабинете генерала Мочалова, отказываясь поначалу от определенного ответа, он напряженно обдумывал случившееся. «Нечего сказать, хорошенький подарочек преподнес этот председатель поселкового Совета Сизов. Получить такое серьезное сообщение о нашем космонавте... И когда!»

Шагая по аллее городка к проходной, Дробышев продолжал взвешивать обстоятельства, сопутствовавшие этому событию. Постепенно мысли его принимали стройное течение. Садясь в «Победу», он коротко бросил водителю: «В управление». И тот, ни о чем не спрашивая, поняв, что майор торопится, безмолвно погнал машину по шоссе. Дробышев снова мысленно вернулся к бумаге, поступившей на имя Мочалова и теперь лежавшей в его рабочей папке. Чем-то она ему сразу не понравилась. Выполняя множество поручений, он не однажды сталкивался с изготовленными в самых далеких уголках страны документами. Были среди них и не совсем грамотные по стилю, или существо вопроса излагалось так косноязычно и путано, что приходилось по нескольку раз вчитываться, прежде чем становилось ясным содержание. Но это письмо чем-то отличалось от таких документов. «Чем же? — спросил самого себя Дробышев и самому себе ответил: — Развязностью». Таким же развязным, как и косо прилепленный, словно подгулявший, штамп, было и содержание. Эта развязность мелькнула во фразе — «может, он имеет доступ к секретному оружию», которой автор письма словно хотел сказать неизвестному ему командиру: такого нельзя держать там, где секретное оружие, нельзя ему верить. К такой попытке навязать свое мнение другому лицу не мог прибегнуть человек скромный, поставивший перед собой задачу только проинформировать. В конце письма не менее пошло звучала и другая фраза: «Мне думается, что вам, как командиру, эту правду знать надо».

Но только ли этим не понравилось письмо? Нет, не только. В сорок третьем году были изгнаны гитлеровцы из маленького этого поселка, примыкающего к большой донецкой железнодорожной станции, и окружающих деревень. В деревне или поселке — все как на ладони. Это не в огромном городе, где житель северного района может за всю свою жизнь ни разу не встретиться с жителем южного. Там, в поселке, каждый со своими делами и поступками на виду. Так почему же за долгие годы никто и никогда не сообщил об отце Кострова и только сейчас, через такой большой промежуток времени, понадобилось колыхнуть старое, чтобы омрачить жизнь Володе Кострову? Надо проверить, и как можно скорее. «Проверить... — про себя усмехнулся Дробышев. — Проверять можно по-разному». Раньше, когда сплошь и рядом нарушалась революционная законность, слово «проверить» нередко понималось и как необходимость усилить донос новыми фактами и предположениями, праведными и неправедными, но такими, чтобы после них не мог уже пикнуть человек, на которого донос поступил. А теперь он, майор госбезопасности Дробышев, будет заниматься проверкой этого тяжелого обвинения с единственной целью, чтобы прежде всего выявить пусть самую жесткую, но только правду, а если ее нет и написанное — вымысел, то сделать все, чтобы освободить Володю Кострова от клеветы, обелить и возвысить его имя, потому что он прежде всего советский человек.

«Гордись, Иван Михайлович, — говорил самому себе Дробышев, — гордись этой своей миссией и всегда помни святые слова великого чекиста Страны Советов Дзержинского о том, что непримиримость к врагам революции ничего общего не имеет с ложной подозрительностью к честным советским людям».

Машина мчалась сквозь зеленый лес, и вместе с ветром о стекла бились осколки солнечных лучей. Дробышев думал о призвании чекиста, о своих друзьях. Он с гордостью вспоминал тех своих товарищей, которые даже в трудное время оставались честными и непреклонными продолжателями дела Дзержинского, наследниками его заветов. Он с грустью думал о книгах и пьесах, посвященных тяжелым годам, где работникам госбезопасности часто была уготована роль исполнителей несправедливых решений и репрессий. Так ли это? Разве в те годы все

наши чекисты становились такими, какими хотел их видеть Берия и его приспешники? Разве не было непримиримых, несломленных, даже ушедших из жизни с гордо поднятой головой?

Дробышеву вспомнился рассказ их генерала о храбром чекисте подполковнике Бахметьеве. Давно это было. Кончилась война, и штаб штурмовой авиационной дивизии стоял в маленьком немецком городке под Берлином. Дивизия три долгих года шла сюда от сожженного фашистами знаменитого волжского города, оставляя на пути своем обломки сбитых над полем боя «ильюшиных» и десятки пилотских могил. Горек и славен был путь, окончившийся победой. Когда войска наши с трех сторон окружили Берлин, командир дивизии Илья Спиридонович Постников в последний раз повел сорок штурмовиков на район рейхстага. Низко стлался над спаленными кварталами дым. В Шпрее плавали распухшие трупы. По приказу самого фюрера потоки воды заливали метро, не щадя стариков, детей и женщин, спасавшихся в тоннеле от бомбежек и артиллерийских перестрелок. Лишь в районе рейхстага еще продолжалась агония сопротивляющихся. Из парка Тиргартен били по нашим войскам батареи, выкрашенные в мертвенно-зеленый цвет. Минометы преградили дорогу танкам. И вот тогда-то нанесли по огневым точкам мощный удар сорок «ильюшиных». А полковник Постников, выходя из последней атаки, умудрился сбросить алый вымпел победы на мрачное здание рейхстага, охваченное огнем.

Потом наступила тишина. Дивизия Ильи Спиридоновича Постникова осталась на прежнем аэродроме. Раньше с него штурмовики уходили в бой. Но войны уже не было. Потекли первые мирные дни с очень еще редкими учебными полетами, потому что не сразу после войны выработали штабы планы боевой учебы, с частым застольем, потому что не пережили еще как следует люди, ходившие четыре года между жизнью и смертью, все величие Победы, с охотами и рыбалками в свободные часы. Во всех многочисленных делах, какими была полна жизнь командира дивизии, принимал участие и начальник особого отдела подполковник Бахметьев. Они уже давно сдружились с Постниковым и нашли много общего, хотя внешне меж собой и были несхожими. Полковник высокий, с грубоватым в резких складках лицом, косой са-

женью в плечах, а Володя Бахметьев — белявый, щупленький, с подслеповатыми синими глазами и тонкими кистями рук.

Каждодневно в рабочие часы сталкивались они то на аэродроме, то в кабинете командира дивизии, то на одних и тех же деловых совещаниях. Иногда ездили к бургомистру, старенькому лысоватому немцу в пенсне с золотой оправой, освобожденному нашими танкистами из концлагеря Заксенхаузен, где просидел он около десяти лет. А вечерами, порою такими тягучими на чужбине, приходил Володя к полковнику, и они коротали время за шахматной доской или беседами о том, как развернется послевоенная жизнь, на какой путь какие страны станут и где может победить рабочий класс и социализм.

Однажды Бахметьева вызвали в Берлин к одному из его самых старших начальников. Человек в штатском с худым непроницаемым лицом и блеклыми водянистыми глазами принял его в шикарном кабинете, ранее принадлежавшем нацистскому графу. Древняя резная мебель, кресла, обтянутые шелком, оленьи рога и оружие, развешанное на стенах, воскрешали в памяти сцены из рыцарских времен.

— Вот что, подполковник, — сказал человек в штатском, — послезавтра мы будем брать твоего Постникова.

— Как это «брать»? — отшатнулся Бахметьев.

Человек в штатском холодно спросил:

— Да ты что, первый год в органах служишь? Брать или арестовать — одно и то же. Должен знать. Твоя задача до приезда наших оперативников ни на шаг не отходить от Постникова. Парализовать любую попытку к побегу. Особенно будь бдителен, когда он поедет на аэродром. Полеты в эти дни вашей дивизии будут запрещены, но кто его знает...

— Да зачем же ему бежать? — наивно спросил Бахметьев.

Стиснув бескровные губы, человек в штатском ответил вопросом на вопрос:

— Ты знаешь, что твой Постников находился одно время в Испании?

— Знаю.

— Что он был близким другом бывших главнокомандующих ВВС Смушкевича и Рычагова — знаешь?

— Не знаю.

— А где сейчас Смушкевич и Рычагов — знаешь?

— Арестованы, как враги народа.

— Давно расстреляны. Вот как. Ты в курсе, что полковник Постников в конце мая был на американском аэродроме и принимал участие в попойке с американскими летчиками?

— Не в попойке, а в дружеском обеде, — попытался поправить Бахметьев, — он приехал оттуда совершенно трезвым. И притом был там не один, а с начальником политотдела, командирами всех частей и лучшими нашими летчиками, Героями Советского Союза.

— Это не имеет значения, — строго перебил человек в штатском, — о них мы ничего не говорим. Что же касается полковника Постникова, то нам доподлинно известно, что он еще в Испании вошел в контакт с американской разведкой. К тому же его брат, инженер Уралмаша, был репрессирован еще в тридцать седьмом. Короче говоря, обо всем этом доложено лично товарищу Берия, и ордер на арест Постникова уже подписан. Потрудитесь вернуться на место и выполнять мои указания.

Приехав из Берлина в маленький немецкий городок, где квартировал штаб, Бахметьев не пошел ни в столовую, ни в свое рабочее помещение, а сразу направился домой. Голова гудела. Он умылся и лег на диван. «Враг или не враг полковник Постников? — спрашивал он себя, уставившись в потолок. — Такими ли бывают враги?»

Бахметьев вспомнил врагов, которых видел несколько раз за годы своей службы в госбезопасности. Это был и переодетый в форму советского милиционера фашистский парашютист, лейтенант Фицер, которого вместе с бойцами захватил он под Минском, и бывший кулак, обозленный до смерти на Советскую власть, Фролушкин, — его поймали с ракетницей на крыше подмосковного городка в декабре того же сорок первого, и писарь Слонов, вышедший из окружения и около трех месяцев находившийся в их дивизии: не без участия Бахметьева его накрыли с рацией в приаэродромном лесу, когда он выходил на связь с гамбургским шпионским центром, сообщая данные о самолетах и личном составе дивизии. Это были враги настоящие, стойкие и убежденные. Враги, которым Советская власть была поперек горла. Но Постников... «Нет!» — закричало все в душе у Бахметьева, и он захлебнулся воспоминаниями. Он увидел, как на степной

придонский аэродром вместо девятки «илов» возвращается только восьмерка. Она штурмовала переправу и, расстроенная зенитным огнем, сбросила бомбы мимо цели.

— Кто не вернулся? — тихо спрашивает начальник штаба.

И так же тихо раздается в ответ:

— Командир.

А потом над раскисшим от весенней хляби летным полем появляется ковыляющий «ил» с единицей на хвосте, кое-как садится. Летчики окружают машину с перебитым стабилизатором и оборванной обшивкой на плоскостях. Раскрывается крышка фонаря, и окровавленная голова командира дивизии клонится на борт. «Взорвал... — шепчет он побелевшими губами сквозь зубы, стиснутые от боли. Но шепчет бодро, ликующе. — Под воду ушли немецкие танки!»

И еще вспоминается... Гудит мотор «ила», несется навстречу земля. Из каждой балочки обстреливают самолет вражеские батареи. Бахметьев, которого Постников взял за воздушного стрелка, видит из задней кабины проносящиеся справа и слева трассы «эрликонов». Шапки от разорвавшихся крупнокалиберных снарядов все теснее окружают их головную машину. Он передает по СПУ: «Командир, разрывы близко». А в ответ веселое, азартное: «А ты сдрейфил? Еще заходик. Заткнем им глотку — и домой!» После посадки Постников слушает смущенного Бахметьева: «Вы только никому не говорите, что я за стрелка с вами летал. Узнают — снимут». — «Вот чудак. А зачем ты тогда попросился?» — «Войну своими глазами посмотреть». На обветренном лице командира дивизии — широченная улыбка, и он дружелюбно хлопает Бахметьева черной крагой по спине: «Правильно сделал, парень. За это тебя и люблю. За честность!»

Разве так мог бы вести себя на фронте враг? Чугуном налитая голова все клонится и клонится, как плакучая ива под ветром. Тяжелым непрочным сном засыпает Бахметьев и вскакивает от телефонного звонка. За раскрытыми окнами уже вечернее небо, и на нем гаснут краски заката. Острые шпили кирок мертвыми силуэтами впечатываются в пейзаж чужого города.

— Ты, Володя? — весело спрашивает командир дивизии. — Почему не подаешь сегодня голоса? Приходи. Сре-

жемся в шахматы, а потом кофе будет с французским коньяком.

— У меня голова... — вяло отказывается Бахметьев.

— Ерунда, — басит Постников, — кофе с коньяком любую головную боль излечат.

И он идет. Белые и черные фигурки двоятся у него в глазах. Он делает ход за ходом очень рассеянно и продолжает думать об одном и том же.

— Ты сегодня не в духе, — отмечает Илья Спиридонович, — этим мы, брат, и воспользуемся. А ну-ка, шах. — Черная ладья зависла над клетчатой доской в крупных пальцах Постникова, и он, торжествуя, со стуком ставит ее на белую клетку. — Еще один шах. Еще. Мат!

У Бахметьева сутулятся плечи, он мешает фигурки, потом отбирает свои белые и заученными движениями расставляет их на доске. Не поднимая светловолосой головы, глухо говорит:

— А ведь знаете, Илья Спиридонович, я вас послезавтра должен «брать».

Командир дивизии расставляет свои черные пешки внимательно. Движения твердых пальцев точны и уверенны. На груди у командира позвякивают ордена — два Ленина, четыре Боевого Красного Знамени и многие другие. До него не сразу доходит фраза, сказанная подполковником.

— То есть, как это «брать»? Я что, неприятельская крепость, что ли? Ты сегодня несешь какую-то чушь, Володя.

— Не чушь, — говорит Бахметьев совершенно разбитым голосом, — не чушь, Илья Спиридонович. Мне действительно приказано послезавтра обеспечить твой арест.

— Что-о?! — И он видит, как огромные руки комдива сжимаются в кулаки. Те самые руки, которыми более ста пятидесяти раз водил он в годы войны к цели штурмовик, прорываясь сквозь яростный огонь зениток, отбивая атаки «мессеров». Бешенство застывает в глазах комдива. — Меня хотят арестовать? Да за что же? Да кто посмел? Да я к Главкому, к самому товарищу Сталину!..

Тем же тихим, разбитым голосом Бахметьев рассказывает полковнику все, что ему известно о предстоящем аресте, и тихо заканчивает:

— Здесь тебе никто не поможет. Тебе надо немедленно в Москву. Добиваться приема у Министра обороны,

идти к самому Сталину. Надо бороться против страшного и нелепого обвинения, выдвинутого кем-то против тебя.

— Я и буду бороться! — восклицает яростно комдив.— Постой, Володя. А ты? Ты со мной полетишь? Тебе нельзя здесь оставаться. Эти люди тебя тоже не пощадят.

— Этого я сделать не могу, — твердо говорит Бахметьев, — этим я лишь осложнил бы твою борьбу. Да и кто мне выдаст сейчас пропуск на перелет границы и командировку? Если ты в этой борьбе победишь, не позабудь и про меня.

— Я позабуду!.. — Постников вытряхивает своего друга из кресла и сильными руками до хруста стискивает в объятиях. Глаза его вдруг наливаются слезами. — Спасибо тебе. Спасибо, мужественный мой друг. Но черт побери, до чего же мы иногда бываем бессильными перед лицом опасности!

...На рассвете Постников улетел. А к вечеру арестовали Бахметьева и увезли на самолете в один из больших советских городов. Его обвинили в разглашении служебной тайны и в том, что он помог скрыться от органов госбезопасности врагу народа, иностранному агенту.

— Ты не чекист! — кричал на него на допросе следователь.

— Нет, я чекист, — вдруг оборвал его побледневший Бахметьев, — но я — чекист, воспитанный на традициях Дзержинского, а такие, как ты, — враги революционной законности.

Его бросили в тесный карцер, где человек вынужден только стоять: ни сесть, ни тем более лечь он не мог. Часы проходили без света, воды и пищи. В эти часы он многое понял и оценил. Он пришел к твердому убеждению, что в органы безопасности проникли люди, творившие по чьей-то указке беззаконные расправы над честными советскими людьми, обвиняя их в самых тягчайших преступлениях. Он вспомнил отголосками доходившие рассказы о расправах над невиновными в тридцать седьмом году, странные исчезновения некоторых своих сослуживцев, на вопрос о судьбе которых знакомые ему коллеги только прикладывали указательный палец к губам и говорили многозначительное «тсс». Понял он и другое. Раз он честно и прямо предупредил полковника Постникова и тот помчался искать защиты в Москве, ему этого ни за

что не простят люди, пытавшиеся арестовать комдива. Отсюда его уже не выпустят.

При обыске у него не отобрали огрызок химического карандаша. Он достал его из кармана форменных военных брюк и на всех стенах стал яростно писать. «Умираю коммунистом. Чекист Бахметьев», «Умираю коммунистом. Сын Родины, подполковник Бахметьев», «В органах орудуют враги народа, истребляют честных людей. Чекист Бахметьев», «Не верьте Берия. Чекист Бахметьев».

Обессилевшего, его выпустили из карцера. В кителе с оборванными погонами впереди конвойного солдата поднимался он по темной винтовой лестнице. По длинному широкому коридору ввели его в ту самую комнату, где шел первый допрос, и тот же следователь сидел за столом. Перед ним — раскрытая пачка папирос, ваза с печеньем и бутербродами, бутылка лимонада и наполовину наполненный красноватой жидкостью стакан. Глядя, как лопаются пузырьки в этом стакане, Бахметьев облизал распухшие губы.

— Здравствуйте, Бахметьев, — внешне приветливо заговорил следователь. — Ну что же, будете давать показания? От вас нужно очень немного. Нужно, чтобы вы подтвердили, что Постников — иностранный агент и предлагал вам изменить Родине.

— Я чекист! — гордо ответил Бахметьев. — Служу нашей советской разведке, Коммунистической партии и народу. Всех, поднимающих грязную руку на наших советских людей, считаю провокаторами и врагами.

Следователь закашлялся папиросным дымом.

— Э-э, бросьте. Кто вам поверит? Кому нужна эта лирика? Предлагаю только одно. Подпишите протокол, где сказано, что вы помогали бежать Постникову и что он рассказал вам о своих связях с иностранной разведкой. Если это сделаете, гарантирую минимальный срок заключения. А все остальное меня не интересует.

Бахметьев сипло дышал. Кровью налились глаза.

— Подписывайте, дружище, — снисходительно продолжал следователь, — как только вы это сделаете, мы немедленно арестуем находящегося в Москве Постникова, даже если он будет в это время в приемной у самого Министра обороны. Вас переведут на самый нормальный режим. Неужели вы не хотите спокойно жить? Посмотрите, как хорошо за окном.

— Жить — это навсегда остаться честным, — вызывающе сказал Бахметьев и посмотрел в широко распахнутое окно. Он увидел синее небо и два облачка, тронутые ветром, крыши домов на противоположной стороне улицы. Над этими крышами дрожал нагретый солнцем воздух. Снизу донесся автомобильный гудок. «Так вот для чего им потребовалась вся эта комедия с допросом и подписанием протокола! — обливаясь холодным потом, подумал подполковник. — Стоит только мне поставить под протоколом подпись, и Постников немедленно будет арестован, а потом и расстрелян, как шпион, на основании моих показаний. Нет!» — приказал он самому себе.

— Ну так что же? Будете подписывать протокол? — вкрадчиво, но уже теряя терпение, повторил следователь. — Рекомендую поторопиться.

Влажный ветер, ворвавшийся в окно, обдал прохладой осунувшееся от мук лицо Бахметьева.

— Жить — это навсегда остаться честным! — упрямо повторил заключенный. — Давайте сюда протокол.

— Подпись ставьте вот здесь, — показал следователь.

Бахметьев приблизил к глазам исписанный лист, потом его отдалил, словно так лучше было писать.

— Вот вам моя подпись! — выкрикнул он и разорвал протокол...

В древнем, истинно русском городе, на высоком холме, существует старое кладбище. Каждый год в один и тот же день, 23 февраля, когда живые воины особенно чтят погибших, сюда приходит седеющий человек, дослужившийся до звания генерал-лейтенанта авиации и ушедший после этого в отставку. Белые генеральские валенки еще твердо ступают по земле. Человек этот, высокий и костистый, уверенно проходит по центральной аллее, потом мимо древних пышных памятников прокладывает себе путь к далекой могилке, увенчанной скромным надгробием из белого мрамора. Возле нее он останавливается и обнажает голову. Бывает, что в этот день метет поземка и ветер заносит снегом на белом надгробии надпись. Тогда отставной генерал склоняется над могилой и, сняв перчатку, счищает снег. Зоркие, еще не нуждающиеся в очках глаза старого летчика читают короткую, золотом тиснутую на камне надпись:

«Подполковник Бахметьев Владимир Иванович.
Апрель 1916 — август 1945»

...Вот и все, что мог вспомнить майор Дробышев о незнакомом ему чекисте Бахметьеве. А машина все еще бежала и бежала по шоссе. Иван Михайлович открыл стекло, высунувшись, глотал майский воздух. Опять думал о тех больших переменах, какими были отмечены последние годы. Он пришел служить в органы госбезопасности, когда очистительный ветер истории уже прошелся по душным кабинетам и вымел оттуда людей, в той или иной степени замаравших свое достоинство в годы нарушения революционной законности. Строевой офицер в прошлом, Дробышев сейчас прекрасно понимал, что главное в деятельности чекиста — стоять на страже интересов государства и социалистической законности, честно служить народу. И его наполняла гордостью сама мысль, еще не ясная и не выкристаллизовавшаяся окончательно в сознании, что он может как-то помочь и генералу Мочалову, и Нелидову, всему маленькому коллективу космонавтов, и прежде всего Володе Кострову, к которому почему-то всегда испытывал доброе чувство.

А как и чем? Он усмехнулся, подумав, что еще не в состоянии на эти вопросы ответить. Он ни словом не обмолвился в разговоре с генералом, но ведь сразу, едва только он увидел штамп поселкового Совета, в памяти возникли десятки больших и малых населенных пунктов, расположенных в том краю, и то приятное, отчего сжимается всякий раз сердце и что называется воспоминанием о юности.

Юность имеет замечательное свойство: какой бы она ни была, голодной или сытой, счастливой или не совсем, спокойной или наполненной тревогами, опасностями и суровыми испытаниями, она всегда вспоминается с радостью. С годами, все больше и больше от нее отдаляясь, даже в самых горьких воспоминаниях ищет человек ясное, возвышенное и, найдя, восторгается всей душой.

Если бы Дробышеву предложили заново начинать жизнь и по-иному прожить юность, он бы наверняка отказался. Двадцати лет от роду, пройдя подготовку разведчика-десантника, с небольшим, в пять человек, отрядом, он был заброшен в Донбасс с задачей сколачивать подпольные группы и вести против фашистских захватчиков активную диверсионную работу. Он никогда не забудет безлунную ночь на высоте две тысячи метров, приглушенный гул моторов «дугласа», люк,

открытый в звездное небо, и голос второго пилота: «Пора, ребята, ни пуха ни пера!» Один из пятерых погиб сразу же после приземления в перестрелке с карателями. Другой оказался предателем, и они расстреляли его сами. Третий взорвал гитлеровский эшелон вместе с собой. Четвертый, лучший друг Дробышева, Егор Рындин (его в шутку называли Чалдоном, за то что какое-то время он действительно работал на сибирских приисках), человек необыкновенной смелости и находчивости, впоследствии стал руководителем всего местного подполья. За его поимку гитлеровцы сулили сто тысяч марок, так он им насолил.

После войны Чалдон тоже ушел в органы госбезопасности и был уже полковником.

Вот о нем-то и вспомнил в первую очередь Дробышев, знакомясь с поступившей на имя Мочалова бумагой. «Не может быть, чтобы Егор не помог», — подумал он тотчас же. Подумал об этом и сейчас, когда «Победа» уже мчалась по улицам Москвы. Он еле поспел к концу рабочего дня проставить в отпускном билете вместо Сочи название украинского шахтерского города, куда он теперь спешил. Потом по служебному проводу связался с полковником Рындиным.

У них была странная дружба. Письмами обменивались всего два-три раза в год, да и то не столько письмами, сколько поздравительными открытками по большим праздникам. Встречались и того реже — раз в два, а то и три года, когда оба попадали на какое-нибудь расширенное совещание. Рындин был теперь на большой должности. Застать на месте его не всегда было легко. Дробышеву повезло — полковник оказался в кабинете и между ними произошел следующий разговор:

— Здравствуй, Воробышек! А я думал, ты снова пропал с горизонтов на целое десятилетие, — немного насмешливо приветствовал его Рындин, называя по старой явочной кличке. — Как поживаешь?

— Живу — зернышки клюю. В мороз на одной ножке прыгаю, — ответил Дробышев точно так, как безусым мальчишкой, почти самым молодым подпольщиком отвечал в сорок втором году на конспиративной квартире, когда приходили к нему от Рындина незнакомые люди.

— Вероятно, у тебя ко мне дело, раз позвонил. Просто так ты не звонишь.

— Угадал, Егор. Дело, — засмеялся Дробышев. — И настолько серьезное, что должен тебя немедленно повидать. Самолет уходит в двенадцать ночи, двадцатый рейс. Пришли кого-нибудь встретить.

Потом он позвонил домой, и нервно кусал губы: долго никто не подходил к телефону. А когда послышался голос жены, лицо Дробышева и совсем покрылось страдальческими морщинами. Он безошибочно догадался, что она сейчас либо гладит купальники и халаты, либо в ванной стирает майки и трусики сына, а может, вместе с ним ищет ласты, трубку, подводную маску, решает, какие удочки взять, а какие нет, рассматривает все то немногое, без чего выезд на юг для любого мальчика теряет свою прелесть.

— Это ты, Иван? — деловито осведомилась жена. — Чего хотел сказать?

— Чемоданы еще не уложила, Леля?

— Еще нет.

— Вот и отлично, — тяжело вздохнул Дробышев, — с морем придется обождать. Я сегодня исчезаю дней на семь.

— Ну вот, — послышался в трубке разочарованный вздох, — всегда так. Как же я скажу теперь Вадьке? Он так ждет...

— Ничего, Леля. Все будет хорошо. И море будет, — пообещал майор.

— Нет, ты неисправим, — грустно усмехнулась жена. — И куда я смотрела пятнадцать лет назад?

— Ага! — повеселел Иван Михайлович. — Вот и расплачивайся за старые ошибки.

Ночью пузатый светлый Ан-10 с красной стрелой на борту разбежался по взлетной дорожке подмосковного аэродрома, ограниченной двумя рядами электрических фонарей, и ушел в звездный мрак. Откинувшись на мягкую спинку кресла, Дробышев дремал. Но когда стали подлетать к Донбассу, сонная истома мгновенно его покинула. С высоты семь тысяч метров пристально всматривался Иван Михайлович в фантастическое нагромождение огней, сиявших то слева, то справа, то впереди по курсу. Даже глубокой ночью ярко светились города и поселки трудового Донбасса. Это была та земля, на которой двадцать лет назад проходила боевая юность комсомольца Дробышева. Смежив глаза, вспоминал он дни

подполья, погибших друзей, взрывы эшелонов на густых железнодорожных путях этого края, суды над полицаями и комендантами — все, чем была богата бурная, наполненная опасностями, победами и невзгодами его жизнь.

В этих пестрых воспоминаниях оставалось место и для деревни Ольховка, где родился и рос Костров. Несколько раз приходилось Дробышеву осенью сорок второго года, после громких диверсий заметая следы, скрываться в этой большой деревне у верного человека, но фамилию Костров он ни разу не слышал. Да и не мудрено: было в той деревне полтораста дворов, а он, в сущности, знал в ней лишь одного шестидесятилетнего старика по прозвищу Телега, у которого и скрывался. Годы оккупации сделали этого деда настолько мрачным, что ни о ком из селян он не любил особенно распространяться.

Самолет опустился на донецкий аэродром в два с минутами. Не успел Дробышев сойти по трапу, как из мрака огромной тенью надвинулась на него какая-то фигура.

— Иван! Чертушка! — воскликнул Рындин, тиская друга. Был полковник в штатском, ветерок шевелил на непокрытой голове густую шапку волос. — Идем на свет, дай разгляжу.

— Постой, Егор, ребра пощади, — смеялся Дробышев.

Они зашагали к ярко освещенному аэровокзалу по сухой донецкой земле, пахнущей горьковатой полынью и мятой. Годы мало изменили Рындина. Все тот же горбоносый профиль и худощавое лицо.

— В управление не поедем, — командовал Рындин, — это только в плохих кинофильмах чекисты ночи напролет проводят в своих кабинетах и туда же доставляют с аэродромов друзей, с которыми долго не видались. Ситуация, дорогой Иван Михалыч, такова. Я временный холостяк. Дочь старшая от нас уже отбилась. Отрезанный ломоть, что называется. Кончила нефтяной институт и упорхнула на Сахалин. Жена с сыном в Евпатории. Так что приму я тебя по-царски. Ужин и бутылка коньяку нас уже ждет.

В квартире полковника Рындина царствовали нерушимые покой и порядок — видать, даже в отсутствие жены старательно поддерживались хозяином. Стол был уже накрыт. Ужин в основном состоял из холодных блюд. В чугунном котелке дымилась картошка в мундире.

— Это самое главное, Иван, — похвастался Рындин, — чтобы дым партизанских костров не забывался.

Выпили, поговорили о боях и походах, сосчитали седины и морщины.

— Знаю, что ты теперь у космонавтов, — тихо сказал Рындин.

— Там, Егор, — подтвердил Дробышев.

— Занятное дело. Ну а на Луну скоро кого-нибудь отправишь?

Голубые глаза Ивана Михайловича потеплели.

— На Луну придется обождать, дружище. Но и этот вариант, вероятно, не за горами. Доживем и до такого дня.

— Вот тогда от того космонавта, который Луну облетит, обязательно мне фотографию пришлешь с автографом.

— Непременно пришлю, Егор, — заверил Дробышев.

Рындин вновь наполнил небольшие хрустальные рюмочки, весело тряхнул головой, отчего черные волосы рассыпались.

— Врешь ведь, Воробышек. Небось на второй же день забудешь о своем обещании. Ты и так мне пишешь в год по столовой ложке.

— Так же, как и ты, — отпарировал Дробышев.

— Это, пожалуй, верно, — сдался полковник и, поднимая высоко рюмку, предложил: — Знаешь что... давай за дружбу! Ведь не от того она, окаянная, зависит, кто кому в год по сколько писем пишет. Лично я дружбу так понимаю. Ты можешь два и три года мне не писать. Но вот случилось у тебя какое-то осложнение, дело серьезное возникло, требуется немедленное разрешение, и, если ты ко мне обратился за помощью, я, как говорят футболисты, полностью должен выложиться, а тебе помочь. Вот как!

Они выпили, и Рындин, хрустя огурчиком, спросил:

— Кстати, что у тебя за дело ко мне?

Дробышев по-мальчишески присвистнул.

— Ты же сам предложил — о делах утром.

Рындин, не соглашаясь, покачал головой.

— То я шуткой, дружище. Если хочешь ускорить, рассказывай сразу.

— Хорошо, Егор, — согласился майор, — я же знаю твою деловитость. И выпить не дашь спокойно.

...Рындин слушал внимательно, полузакрыв глаза. У него была своя особая манера: если слушал человека, которому безгранично верил, то — только так, не глядя на не-

го, смежив веки. Егор утверждал, что так лучше думать, оценивать услышанное и сразу прикидывать мысленно возможные варианты решения.

— Да-а, — сказал он, когда Дробышев замолчал, — очень неприятная история. Тут дело вовсе не в формуле: сын за отца не отвечает. Мы прекрасно убедились, что ценность человека определяется его делами и поступками, а не родственными связями. Но ты и с другим посчитайся. Полетит в космос этот самый твой майор, мы опубликуем его биографию, где будет сказано, что отец погиб в годы войны, а враги наши вытащат на свет подлинную историю его родителя. Представляешь, какой шум они поднимут? Кстати, как фамилия этого товарища?

Дробышев расстегнул воротник армейской рубашки, помедлив, ответил:

— Костров. Майор Костров Владимир Павлович. В порядке информационном, Егор, сообщаю, что фамилии будущих космонавтов не афишируются.

— Это я знаю, Ваня, — тихо согласился Рындин. — Дай-ка бумагу.

Он внимательно прочитал короткий текст, всмотрелся в подпись и штамп поселкового Совета.

— Постой, постой! — воскликнул он неожиданно. — Костров Павел Федорович... Как же, вспоминаю... У нас действительно был такой человек в подполье. Павел Костров... тысяча девятисотого года рождения. Кличка его Агроном. На подпольную работу пришел из деревни Ольховка. Там был колхозным агрономом, действительно. Поэтому и кличку такую дали.

Дробышев в ожидании пододвинулся к полковнику.

— Дальше, Егор... дальше, — умолял он, — у тебя же изумительная память. Такую деталь, как год рождения, через столько лет не забыл. Электронный мозг... Что еще вспомнишь? Не томи.

Но Рындин сделал досадливый жест:

— Подожди, Ваня, с комплиментами... Дальше след в этой самой электронной, как ты сказал, памяти теряется. Но ты тоже был в Ольховке и прятался у нашего знаменитого деда Телеги. Неужели дед ни разу ничего не говорил о семье Костровых? Это же коренная ольховская семья.

— Нет, — вздохнул огорченно Дробышев, — ты же знаешь, какой он был, дед Телега. Из тех говорунов, у

каких и слова-то клещами ие выжмешь. Муций Сцевола по сравнению с иим ноль без палочки.

— Да, осложияется дело, — пробормотал Рыидии и погрузился в долгое молчание.

Дробышев терпеливо ждал, зиая, что старый друг призвал сейчас на помощь всю свою память. И не ошибся.

— Вспомиил! — иегромко воскликнул Рыидии. — Агроном вышел из моего подчинеиия в феврале сорок третьего. Тогда отобрали самых стойких, в том числе и его, для работы в гестапо и горловской комеидатуре. Дальше мы с иим связь потеряли... Кажется, был слушок, что в тех местах перед своим уходом гитлеровцы расстреляли группу русских и украинцев, сотрудиичавших с иими. Был ли в их числе Павел Костров, ие знаю. Остался ли ои честным советским человеком, иашим подпольщиком, или стал предателем, как утверждает эта бумага, тоже ие знаю.

— Но ведь ниточка уже протяиулась, Егор, — обрадоваино прервал полковиика Дробышев.

Рындин вмиг сбросил задумчивость:

— Что такое? Ниточка? К черту ииточку! Мне канат нужеи. Каиат, поиимаешь? Ииаче Рындии ие привык работать. А теперь спать. Утро вечера мудреиее.

Вскоре они затушили свет.

Двое суток прожил майор Дробышев иа квартире у своего старого друга. Полковник ии разу за это время не пригласил его к себе в управление, не обратился с каким-либо вопросом, хотя бы отдалеино связаниым с делом, по которому приехал майор. Чтобы Иваиу Михайловичу не было скучно, иашел для иего и заиятия и развлечения. На полдня отправил майора в гости к шахтерам, заставил там провести беседу о партизаиском прошлом доиецкого края, а потом спуститься под землю и своими глазами посмотреть, «как теперь рубают уголек». Ворчливо при этом заметил: «Чтобы ты потом космоиавтам рассказал».

После этой поездки Дробышев получил от шахтеров в подарок рыболовные сиасти с подробиейшей коисультацией о расположеиии удачных мест для ловли и наиболее удобиых путях к ним. Вместе с шофером Рындина Дробышев поймал иа второй день с полсотни мелких рыбешек и привез их в садке, пахнущем озериым илом. Были там и колючие ершишки, и красиоперки, и подлещики.

Поздним вечером он отворял хозяину дверь руками, облепленными рыбьей чешуей. Рындин восторженно зашевелил большими ноздрями, втягивая аппетитный запах.

— Эка ушицей потянуло. Ай да молодец, Иван! Чую, что не терял времени зря.

Сняв китель, полковник прошел на кухню, заглянул в чугунный котел, отдающий дымом, где варилась рыбешка, посоветовал подбавить перца и положить несколько ложек сметаны. Потом повторил:

— Да, да, не терял ты зря времени, дружище.

Дробышев скосил на него настороженные глаза.

— Не то что некоторые начальники, которые после истечения двух суток ничего не могут сказать членораздельного.

Рындин сел на табурет, широко расставив ноги, и сцепил перед собой большие сильные руки.

— Ну, ну. Эти начальники не так уж плохи.

— Что-нибудь установил? — просиял Иван Михайлович.

— Давай уху хлебать,— предложил Рындин вместо ответа.

Сели ужинать. Квадрат окна синел плотными сумерками. От большой миски — из нее они хлебали по-рыбацки, вдвоем,— струился раздражающий дымок.

После ужина Рындин закурил и задумался.

— Как совершенствуются наши функции. Когда-то среди них преобладали карательные и контрольные, а вот теперь...

— Что теперь?..— не выдержал Дробышев, но Рындин остановил его холодным взглядом.

— А то, что теперь вся наша работа действительно только на главное нацелена — на охрану Советского государства, на борьбу с иностранными агентами. Одновременно мы занимаемся профилактической работой. Наши органы охраняют советского человека, его честь, достоинство и благополучие. Вот случилась беда у твоего майора Кострова, беда, о которой он ничего и не знает, и мой аппарат уже третьи сутки только этим и занимается. Все другие дела в сторону отложили, а они у меня тоже есть.—Он очень шумно вздохнул и почесал затылок, сделав вид, что действительно вспомнил об этих самых делах.

— Ты, быть может, все-таки что-либо расскажешь, Егор? — обратился майор. По нахохленному, напускно-суровому виду друга он безошибочно угадывал, что Рын-

дин уже чего-то добился, но говорить не хочет, считает, видимо, преждевременным посвящать его сейчас в подробности дела.

Зазвонил телефон, и Рындин мягкими шагами отошел от обеденного стола, снял трубку. Голос его изменился, стал сердитым, едва только он выслушал говорившего.

— Что вы там отсебятиной занимаетесь, Косичкин? Эту записную книжку я вам еще утром приказал закончить. Все отложите, всех сотрудников лаборатории мобилизуйте. Понятно? Утром все записи должны быть у меня на столе. К девяти ноль-ноль.

Полковник сердито бросил трубку на рычаг, словно она была во всем виновата. Возвращаясь к столу, проворчал:

— Умники еще мне нашлись...

— Ты о каких это записях говорил? — не выдержал Дробышев.

Рындин рассмеялся и потрепал его шершавой рукой по щеке, как маленького:

— Все будешь знать, рано состаришься, Воробышек. Завтра к девяти утра приглашаю тебя к себе в кабинет. Получишь подробную информацию.

Кабинет у Рындина был тесный. Большой письменный стол занимал добрую половину, мягкая мебель отсутствовала. Несколько стульев, приставленных к стенам, коричневый сейф — вот и все. С одной стены пристальным взглядом проницательных глаз встречает посетителя Дзержинский, с другой — улыбается прижмурившийся от солнца Ильич, прогуливающийся по кремлевскому скверику. Есть большое достоинство у этого кабинета: одна из его стен, остекленная от пола до потолка, фонарем выходит на улицу, отчего в любое время дня здесь необыкновенно светло, маленькая комната полна небом и солнцем.

В этот майский день солнце заливало большой донецкий город мириадами лучей, и на столе у Рындина чернильный прибор и серебряный стаканчик с карандашами отсвечивали веселыми зайчиками.

— Садись, Иван, — кивнул он Дробышеву и нажал вделанную в стол кнопку. Из приемной явился пожилой старшина.

— Старшего лейтенанта Косичкина ко мне.

— Ждет в приемной.

Косичкин оказался худощавым лысоватым немолодым человеком в роговых очках и синих нарукавниках, надетых на китель. Он молча разложил перед полковником несколько фотографий, отпечатанные на машинке тексты, пустую ржавую автоматную гильзу с торчавшей из нее выцветшей бумагой и металлическую форму, в которой лежала полуистлевшая записная книжка.

— Самое главное — патрон,— сказал он тихо,— потрясающе! В записной книжке тоже удалось многое восстановить. Однако особенно прикасаться к ней не рекомендую. Ветха до того, что может рассыпаться. Я вам нужен, товарищ полковник?

— Спасибо, Косичкин, мы сами теперь разберемся. В следующий раз надо подобные экспонаты пооперативнее обрабатывать. А то целую неделю такие ценности держите, а начальник и не знает.

— Так ведь текучка захлестнула,— развел руками Косичкин.

— Не слишком ли она вас часто захлестывает? В прессу еще не давали?

— Нет, товарищ полковник.

— Денька два-три подождите.

— Слушаюсь.

Рындин сел в кресло и положил перед собой сцепленные руки.

— Вот орел! Выдать бы ему по первое число, да что поделаешь, победителей не судят. Ну а теперь, Иван Михалыч, слушай. Кажется, мы с этой историей разобрались. И прежде всего потому, что диалектика не отвергает случайностей,— проговорил Рындин, стараясь подавить в голосе торжествующие нотки,— и случайности эти иной раз бывают таковы, что в их удачное совпадение даже с трудом веришь. Прежде всего о документе, который был послан вашему генералу. Председатель поселкового Совета Сизов его не подписывал.

— Вот так да! — подскочил Дробышев, и его глаза округлились от изумления.— Фальшивка?

— Выходит,— подтвердил Рындин.— Более того, подпись под этим документом ни жене Сизова, ни его пятнадцатилетнему сыну тем более не принадлежит. Из сотрудников Совета тоже никто не обладает похожим почерком.

— Что ты говоришь! — ахнул Дробышев.— Как в детективе. Кому же понадобился этот грязный розыгрыш?

— Вероятно, кому-то понадобился. Но я этим вопросом пока не занимался, дорогой мой майор. Для меня во сто крат важнее было разобраться в самой версии. Раз документ оказался фальшивым, значит, сомнительность обвинения в десять раз возрастает. И вот послушай, чего я достиг за эти двое с половиной суток, пока ты полавливал рыбку да слушал шахтерские байки. Около месяца назад на окраине города, в котором находилось гестапо, где, по утверждению мнимого Сизова, работал Павел Костров, строители рыли котлован под фундамент для нового пятиэтажного дома. Увидели истлевший автомат и гранаты. Естественно, кто же хочет в зрелом возрасте играть с огнем? Саперов кликнули — наших, армейских. Те и завершили раскопки. Оказалось, строители наткнулись на фронтовую траншею. Мин там не обнаружено, но было найдено очень много стреляных гильз, десятка полтора лимонок, обрывки солдатских шинелей, полевая офицерская сумка и в ней вот эта книжица. Посмотри ее, но поосторожнее, пожалуйста.

Дробышев с волнением взялся за алюминиевую форму. На дне ее лежала записная книжка. Половина коричневого переплета была оборвана, и слабые карандашные строки еле-еле угадывались в размывах времени и окопной сырости. К сохранившейся части переплета прилип кусок земли, и пахло от него тленом, глубинной сыростью солдатской могилы.

— Там еще была штатская кепка и колода карт, — задумчиво прибавил полковник, — но большой ценности карты не представляют. Записей каких-либо на них не обнаружено.

— А книжка?

— Книжка свою службу сослужила, Иван. Наш Косичкин, человек очень медлительный, но недостаток оперативности возмещает исключительным мастерством. Да и старательностью тоже. Долго не брался за эти документы, — видишь ли, текучка его заедала! А две ночи не поспал — и посмотри, какой прекрасный результат. Все восстановленные записи перепечатаны на этих двух страничках, но по ним «Войну и мир» написать можно. Что, по всей видимости, произошло? Траншею занял взвод боевого охранения, первым ворвавшийся в город. Потом его окружили фашисты, и в неравном бою он погиб. Удалось установить фамилию офицера, которому принадле-

жала записная книжка. Лейтенант Пестров из Углича. Вероятно, командир взвода. Тоже двадцать с гаком считался пропавшим без вести. Но самое главное — рядом с ними, в этом же самом окопе, сражались и штатские товарищи. Почему они там очутились, поймешь из записей.

— Можно взять? — почти шепотом спросил Дробышев. Чёрная шевелюра Рындина утвердительно заколыхалась.

Майор осторожно приблизил к глазам листки. Четкие строчки управленческой пишущей машинки были резким контрастом со слабыми следами карандаша на страницах истлевшей записной книжки, которую и взять-то в руки было боязно. Сжав губы, майор очень медленно читал текст, и зияющие пропусками корявые, наспех написанные фразы глухой болью царапнули за самое сердце. Будто раздвинулись уютные стены рындинского кабинета, и он увидел выжженную солнцем степную окраину города, исхлестанную струями пулеметного огня, лезущих на траншею с гранатами в руках гитлеровцев, злобно орущих: «Рус, сдавайс!» — и горсточку храбрых людей в родных ему солдатских шинелях с пятиконечными звездочками на выгоревших от солнца пилотках, худых и осунувшихся, объятых единственным порывом: не сдаваться! И он стал читать:

«16 сентября.

Наш взвод ворвался на рассвете в город. Успели захватить тюрьму. Фашисты решили, что мы — это основная сила, и отступили. Живыми в тюрьме застали только пятерых. Дерутся сейчас с нами. Старший из них наш подпольщик Павел Костров по кличке Агроном. Мировой парень. Дерется как лев. Фашисты опомнились и поняли, что мы резко вырвались вперед. Появились их автоматчики. Пришлось отступить. Заняли траншею на окраине города и ведем бой. Наши должны перегруппироваться и подойти».

Затертое число, только «бря», оставшееся в первой фразе.

«Нас было тридцать шесть, а теперь восемнадцать. Из пятерых освобожденных подпольщиков остался один Костров. Вчера подбили с ним три танка. Гранаты противотанковые кончаются. Нас окружают со всех сторон. Танков больше не пускают, хотят взять живыми. Огонь — не поднять головы».

Совсем без числа.

«Где же наши основные силы? Значит, наступление захлебнулось. Слышим артиллерию, но пехоты и танков нет. Гитлеровцы берут на измор. Сидим без сухарей и воды. Один только станковый наш напоен. Костров шутит: «Кохаем его, как невесту». По вечерам фашисты наглеют, в рупор кричат: «Сдавайтесь, обеспечим гуманное обращение!» Костров отвечает очередью наугад. Ругаю — так нельзя, патронов мало. Ни одного бесприцельного выстрела — вот девиз».

И еще без числа.

«Нас всего семеро, и кажется, нам отсюда не выбраться. Вчера вечером сержант Савиных пополз с флягой за водой и на полпути был убит осколком мины. Жалко старикана. Где-то в Сибири у него осталось пятеро детишек. Вижу из окопа его распухшее тело, землистое лицо и оскаленные зубы. Отличный был снайпер. Помню, как весной подо Ржевом он сутки караулил на пасху немецкого полковника, все говорил: «Ты у меня разговеешься». Тот, основательно нагрузившись спиртным, в одном исподнем вышел до ветру. Савиных не промазал. У него на счету было шестьдесят три. Теперь — сам. Держаться все труднее... вот это... вечером... они идут с гармошками, во весь рост... уже побежали. Не сдадимся... если, мама, узнаешь... деремся и погибаем, как коммунисты. Кострову оторвало... За Родину нашу... нет ничего... прощай».

Листок дрогнул в пальцах майора. Иван Михайлович бережно положил его на зеленое сукно письменного стола. С минуту они молча смотрели друг на друга. За огромным стеклянным окном кабинета, выходившим на людную улицу, разгорался теплый день. Просинь неба слепила глаза, и витиеватый след реактивного самолета казался на ней нарисованным. Легкий шум троллейбусов доносился снизу. Доброе солнце успело нагреть тесную комнату, а ветер, ворвавшийся в раскрытую форточку, казалось, принес запах степных просторов и легкий, едва уловимый угольной пыли.

— Вот и все, Воробышек, — заключил негромко Рындин. — Видишь, как повернулись события. К ордену надо Павла Кострова представлять посмертно, а не доносы на него писать. Еще обрати внимание на эту стреляную гильзу. Она была очень тщательно закупорена паклей, поэтому записка, вложенная в нее, довольно неплохо сохрани-

лась. Я тебе ее не отдам, разумеется. Но фотокопии ты получишь. Для космонавта Кострова это бесценный документ.

Дробышев вытащил из проржавевшей гильзы записку, осторожно ее развернул. Наклонные, химическим карандашом выведенные буквы и рыжие следы крови.

«Люди советские! К вам мое слово. Нас семеро, и мы погибнем. Смерть встречаю в бою, и враг не увидит моей спины. Отдаю жизнь за Родину! Воспитайте сына Володю и расскажите ему обо мне. Павел Костров».

И опять они помолчали. Рындин растроганно моргал глазами. Дробышев медленно свернул записку.

— Какое тебе спасибо, Егор! Дорогую правду добыли твои работники.

— Стараемся, — усмехнулся Рындин и виновато прибавил: — Только скоро, видать, на пенсию пора. Чекист, а слеза прошибла. — Он встал и прошелся по кабинету. Повернувшись спиной к другу, смотрел в голубое окно. — Какое солнце, а! Но и на нем есть пятна. Вот и в этой всей истории еще осталось белое пятно. Кто сочинил эту фальшивку? Зачем? У Сизова остался только один родственник, подпись которого пока нам неизвестна. Дядя Сысой. Тоже тысяча девятисотого года рождения. Ровесник отцу твоего Кострова. В тридцать третьем был раскулачен. Из Сибири возвратился уже после войны. В Ольховке поселяться больше не стал. Сейчас работает гардеробщиком на вокзале. Место хлебное.

— Но какое отношение мог он иметь к судьбе Кострова-старшего, если не был в этих местах в годы войны?

— На первый взгляд, никакого, — пожал плечами Рындин.

— И все-таки... — настороженно поднял брови Дробышев.

Рындин обернулся, подошел к нему.

— Что «все-таки»?

— Все-таки я съезжу в Ольховку повидать нашего деда Телегу.

— Вот это правильно.

Из Ольховки Дробышев возвратился утром следующего дня. На рассвете прошел короткий робкий дождичек, какие выпадают иной раз в конце мая в этой степной

полосе. Он прибил пыль у подножий терриконов, умыл шахтеров, направляющихся на смену, и оставил капли на алых розах в городском парке. Бледное облачко застенчиво вилось в голубой выси. Оживали троллейбусы и трамваи, а с аэродрома уже взлетел первый пассажирский самолет и взял курс на Москву.

Дробышев провел бессонную ночь. Лишь на обратном пути в тряском «газике» немного подремал, но, разбуженный яркой, как лезвие, полосой восхода, очнулся и не смыкал уже больше глаз. Утро принесло ему бодрость и свежесть. Почему таким ясным было сознание, Дробышев хорошо знал: потому что уже не оставалось загадок. Ровно в шесть он поднял с постели Рындина длинным звонком. Полковник отворил дверь, проворчал:

— А еще раньше разбудить не мог, Иван? Ну, каковы успехи? Деда Телегу видел?

Майор внес в комнату небольшой мешок, бережно опустил на пол. В мешке что-то звякнуло, и любопытный Рындин уверенно прокомментировал:

— Его дары, конечно. — Облачаясь в синюю пижаму, поторопил:— Ну, показывай, чем дед Телега нас угощает.

Дробышев деловито вынул из мешка белый пышный деревенский каравай, жбан с черным густоструйным нардеком, пару рыбцов, огурцы и поллитровую бутылку с синеватой пенящейся жидкостью.

— А это! — развел Рындин руками и отступил назад. — То-ва-рищ Дробышев, стыдитесь. Общаетесь с космосом на «ты», а приняли в дар от какого-то деда бутыль с самогоном, а?

— Положим не от какого-то, — прервал его со смехом Иван Михалыч, — а от партизанского деда Телеги, когдато нас с тобой спасавшего. Не так ли?

— А! — будто не расслышал полковник.

Дробышев весело развел руками:

— Егор, не ворчи. Я его тоже пытался воспитывать. Говорю, это же беззаконие, твой самогон. А он меня остановил и засмеялся в бороду. Она, Егор, у него совершенно седая... толстовская по форме. Засмеялся и говорит: «А ты у меня змиевик видел, бисов сын? Опять яйца курицу учат. Я этим делом не займался и не займаюсь. А вот три бутыли по дешевке приобрел, чтобы кости старческие растирать, так думаю для костей останется, если одну Егору подарю. Он начальник большой, ко мне в три

года раз заезжает. Пусть попробует нашей донецкой крепости да и о том пусть не забывает, что гонят еще по нашим селам данный напиток».

— Не дед, а Талейран, — захохотал Рындин, — всегда выкрутится. Ладно, Иван. Самогон его оставим для коллекции, а рыбца за завтраком испробуем. Пока буду на стол собирать, докладывай о результатах поездки.

Майор порылся в карманах.

— Прежде всего, Егор, обрати внимание на этот вот документ.

Полковник развернул листок со штампом приходной кассы.

— Что это? Счет за квартплату? Ну и что же? — морща лоб, он всматривался в каракули химического карандаша. — Постой, постой, это чья же подпись? До чего знакомая. А ну-ка, дай мне бумагу о Кострове. Похоже, один и тот же почерк.

— Совершенно верно, Егор, та грязная бумага и этот самый квартирный счет подписаны рукой одного и того же человека. Бывшего кулака Сысоя Сизова. А его племянник, председатель поселкового Совета Сизов, повинен лишь в том, что позволил своему дядюшке, которого не слишком уж часто пускает к себе в дом, утащить пустой бланк со штампом.

Рындин сличил подписи, удовлетворенно кивнул головой и возвратил своему другу обе бумаги.

— А теперь, Иван, — за завтрак с рыбцом, и ты мне расскажешь, что заставило пойти на эту подлость Сысоя Сизова.

— Сначала я тебе немного про деда Телегу расскажу.

У них на загляденье получился завтрак. Рындин с настоящей сноровкой разделал отсвечивающую жиром рыбину, обложил ее на тарелке зелеными перышками лука, подвинул соль. От вареной картошки столбом вставал белый парок. Отыскалась и заветная бутылка кваса.

— Оно бы, конечно, что-нибудь покрепче было бы более к месту, — усмехнулся полковник, — но это, если бы не было впереди рабочего дня. Если бы вечером...

— Вечером я уже буду в Москве, Егор, — улыбнулся Дробышев, — сойдет на дорожку и квасок. Он тоже под такого рыбца хорош. У нас не завтрак, а поэма!

— Как ты сказал, чревоугодник? — засмеялся Рындин. — Поэма? А ведь верно. Картошка с огурчиками и

лучком — позма. Квас холодный — позма. Рыбец — и того больше. И вообще, дружище, я за то, чтобы находить эстетическое решительно во всем. Даже в этом перышке зеленого лука. Погляди, как на нем капельки играют. Будешь искать во всем красоту — долго не состаришься. Ну, рассказывай теперь про деда Телегу. Как встретились?

— Я бы заблудился сейчас в Ольховке, — задумчиво признался Дробышев, — совсем не такая. Помнишь, раньше — село как село. Сто пятьдесят дворов. Центр на бугре. На окраине ставок небольшой. Повыше ставка дедово подворье — «обитель купца первой гильдии», как он шутил. А дальше ветла у левады. Потом дорога в лес убегает. Дома под крышами соломенными — как братья-близнецы. И каменных всего три. А вчера под вечер с твоим шофером въехал, глазами повел — все новое. Школа, Дом культуры, кирпичный завод, два блочных дома со всеми удобствами. У колхозного правления садик с клумбами отгрохали ольховчане. А на той улице, по какой нас раненых Кондратий Федорович сам вместо лошади на телеге тащил, теперь девчонки в капронах и самых моднейших кофточках щеголяют. Помнишь ту улицу?

— Помню, — негромко отозвался Рындин.

Полузакрыв глаза, он действительно вспоминал прошлое. И взрыв эшелона, и то, как они отходили. Было их всего четверо, и было условлено твердо, что двое из них, запалив шнур, уйдут в другую сторону от насыпи, а он и Дробышев — в сторону Ольховки. Тех двоих надежных своих друзей они больше не увидели. Погибли. А они, раненные при отходе, достигли поросшей камышами узкой илистой речушки, выбиваясь из сил, долго брели по ее течению вверх, до самого рассвета отсиживались потом в густой куге, слушая то приближающийся, то замирающий лай немецких овчарок. У Рындина болело плечо, простреленное разрывной пулей, и, впадая в забытье, он стонал, а Дробышев умоляюще просил: «Ну, помолчи, Чалдон, совсем немного помолчи. Мы с тобой обязательно должны выбраться». На рассвете, сам обессилевший от потери крови, Дробышев вытащил товарища к окраинным ольховским избам. Кондратий Федорович Крыленко, крепкий высокий старик, давно их ждал. «Двоих сразу не донесу, — зашептал он. — А по очереди опасно. Светает быстро. Здесь бричка. Сидайте на нее, хлопцы, а я без коняки попробую обойтись».

Так и отвез их окровавленных, на свое подворье, за что и получил впоследствии у партизан и подпольщиков прозвище дед Телега. Вот какой была правда об этом удивительном молчаливом старике и селе Ольховка, где ныне по вечерам поют звонкоголосые девчата в капронах и парни в самых модных свитерах выходят к ним после страдной полевой работы на гулянку, а над крышами хат тонкими иголками встают телевизионные антенны.

— Как же не помнить? — повторил Рындин. — Это же самое главное в жизни... Продолжай, Иван, продолжай.

Дробышев сделал вид, что не заметил взволнованности полковника.

— Так вот, Егор, село стало новым до неузнаваемости. Это факт. Только добрые старые дела в народе не забываются. Спрашиваю у первого же шпингалета, которому лет четырнадцать-пятнадцать от роду, не больше, где старый Крыленко проживает, а он мне без запинки так и режет в ответ: «Это вам партизанский дед нужен. Дед Телега?» — «Он», — говорю. Парнишка показал на новый домик под шиферной крышей. Мы развернулись и — к зеленым железным воротам. И что же ты думаешь, Егор? Сам навстречу вышел.

— Каков же? Я его действительно три года не видел. С тех пор как ему орден Отечественной войны первой степени вручали.

— Белый как лунь. Около восьмидесяти уже. Но крепкий такой же, ни капелечки не согнулся. Глаза только слезиться стали. Прищурился, на меня посмотрел и глуховатым баском своим: «До нас будете, товарищ майор?» — «До вас», — говорю. «А кто ж вы такой будете, чегой-то не признаю». — «А ты, — говорю, — получше посмотри, дед Телега!» Он тогда попятился, еще раз прищурился и пошел на меня с растопыренными руками. «Ой, Иване, ой, дитятко мое неразумное! Воробышек! Вот ты какой вымахал!» Руки у деда еще крепкие, обнял — кости захрустели. Растрогался дед. Достал из сундука солдатскую гимнастерку, орден Отечественной войны надраил да к ней привинтил. Внук его Федяша подошел с поля. Ты, Егор, его помнишь? Тихий тогда был, все к нам в подполье молоко да хлеб носил. Так вот отца его на фронте убили. А Федяшка давно уже не Федяшка, а тридцатидвухлетний молодец. В лучших трактористах на селе ходит. Жена у него Оксана на седьмом месяце дите

носит. Словом, радости на полсела. До рассвета с Кондратием Федоровичем проговорили. Вот и всплыла полностью история с Павлом Костровым и Сысоем Сизовым. Когда дед Телега приготовился рассказывать, я его упросил на магнитофон записать, голос, говорю, твой на память сохраню.

— Ну и что же он? — засмеялся Рындин.

— Полюбовно согласились, — прищурился Иван Михайлович. — Я эту пленку Володе и всем нашим космонавтам проиграю. А сейчас показывай, где у тебя розетка, и слушай нашего друга. Лучше его я все равно не расскажу.

Рындин помог майору включить магнитофон и оба с застывшими лицами, позабыв о завтраке, стали слушать чуть покашливающий старческий голос:

— О Павлике Кострове справляешься, Воробышек? Как же, знавал его, даже очень хорошо знавал. И сынишку Володьку знавал. Шустрый был паренек, не знаю, где только он теперь. Павлик Костров был ровесником Сысоя Сизова, кулацкого сынка. От его бати, Сизова-старшего, вся Ольховка трепетала. Из трех каменных домов самый лучший, что под железной крышей, ему принадлежал. Лучшие сенокосы в Ольховке чьи были? Сизовские. Пахотные земли чьи? Тоже его. Коров, свиней и прочей живности хоть отбавляй. А какую упряжку держал! Пронесется бывало на масленицу, все потом неделю вспоминают. Молотилку в последнее время завел даже. Стали в нашей Ольховке колхоз создавать — и пошло тут все вверх дыбарем. Младший сын Сизова Данила в комсомол подался, от родного отца отрекся и на шахту к самому Алексею Стаханову наниматься поехал. Прямая дорога получилась у него и дальше. В кавалерию попал, против фашистов сражался и в честном бою голову свою честно сложил. Сын вот его, Петяшка, ныне в поселковом Совете председательствует. И тоже худого слова об нем не скажешь. Справный парень. Честный, самостоятельный. А Сысой — падалица. По пословице взрос: яблоко от яблоньки далеко не упадет. Кгм... кгм...

Пленка зашелестела, и голос деда Телеги на несколько секунд пропал.

— Прибавь громкости, Егор, — попросил Дробышев.

И опять голос невидимого рассказчика возник в комнате.

— А Сысой — батина тень. Ни на шаг от отца-мироеда. Лучшая гармонь на селе — у Сысоя. Шаровары, синим пламенем полыхающие, да жупан — тоже у Сысоя. Деньги отцовы в обоих карманах всегда звенят. А когда молодой агроном Павел Костров влюбился в первую ольховскую певунью Настю Блакитную, встретил его однажды в тихом переулке Сысой, свинчаткой на ладошке поиграл, а потом самогонным перегаром в лицо дохнул и глаза зверские сделал: «Слушай, парень, отступись от Настьки, пока не поздно, по-хорошему тебя прошу. А не то на узкой дорожке не попадайся!» Но и Павлик был не из трусливого десятка. Бровью не повел в ответ на эти слова, лишь усмехнулся презрительно. «Чем грозишься, пустая башка! Люди уже и эсминцы и самолеты придумали, а ты все, как пещерный человек, свинчатку показываешь». «Я тебя и пулей угостить могу», — пообещал Сысой. Павлик пожал плечами и говорит: «Ну что ж, давай поспорим, кто лучше стреляет». А в ту пору в нашей Ольховке действительно передвижной осоавиахимовский тир находился. Вот и пришли туда молодые парни. За Сысоем моментально хвост. Все гуляки-парубки, которых винищем угощал, выстроились. За агрономом — дружки его по ликбезу, первые колхозники. Бравый Сысой был парубок — ничего не скажешь: и осанкой вышел, и ростом гвардеец. Крепкие мускулы да зеленые насмешливые глаза. Их он на всех с презрением пялил. Послал он в мишень три пули — двадцать восемь очков. У дружков до ушей улыбки. Кто-то затянул песенку обидную:

Под ногтями чернозем,
Цим-ля-ля, цим-ля-ля,
Это значит — агроном,
Цим-ля-ля, цим-ля-ля.

Но Павлик Костров и тут обиды не выказал. Мелкокалиберное ружьишко этак легонько взял да на руке подкинул. «Эх, Сысой Гнатыч, — говорит, — хошь и хорошо ты стрелял, а все-таки не дюже точно. Только одну пулю в яблочко посадил, а две в черный круг послал. А для хорошего стрелка это все равно что за козьим молоком послать. Смотри!» И с этими словами наш дорогой агроном все три пули подряд в самое яблочко всадил. Ажник ахнули его ватажники. А Павлик демонстративно руки в карманы засунул, плюнул под ноги кулацкому сынку да еще раз уколол: «Вот как надо стрелять. А что касает-

ся Насти, так будет, как она захочет. Кого выберет из нас, тот на ней и женится». Потемнел Сысой, крикнул на прощанье: «Ну, ну! Подумай, пока не поздно над моими словами». Настя Блакитная вышла за агронома, и свадьба, дай бог память, была хорошей. А через неделю после их свадьбы кулака Гната Сизова выселяли из села. Агроном тоже принимал участие в раскулачивании, даже яму с зерном одну нашел на подворье у Сизовых. А потом, когда с комсомольской ячейки поздним вечером домой возвращался, кто-то пулю в него из обреза послал. Только не суждено, видно, было той пуле ему навредить. Мимо уха прожужжала. И еще говорили: будто, когда Сысой вместе с отцом на выселку выезжал, так передавал через своих дружков, что обиды своей ни за что не простит и даже под землей агронома разыщет, если тот раньше помрет. Вот она, кулацкая ярость, какая, Иване! Только на кого же он ее теперь направит? Костров, сказывают, или погиб, или пропал где-то без вести, о Насте тоже ничего в нашей стороне не слышно. Что же он, будет могилу, что ли, Павликову искать, чтобы на нее нагадить?

Пленка кончилась, и голос деда Телеги растаял в устойчивой утренней тишине, наводнявшей все эти минуты комнату. Рындин, пытаясь скрыть волнение, долго и медленно набивал табаком трубку, а набив, отложил в сторону. От почти не тронутой картошки по-прежнему поднимался дымок, только был пожиже.

Два старых подпольщика, ставшие теперь чекистами, молча смотрели на этот дымок и одновременно думали о других, давно потухших, но незабываемых дымках партизанских костров.

— Мудрый человек наш дед Телега, — сказал наконец полковник, — и до чего же это он метко насчет кулацкой неистребимой злости выразился и попытки даже могилу загадить.

— Змея с вырванным жалом, — жестко отметил Дробышев.

— Змея, говоришь? Нет, дорогой Иван Михалыч. Ошибаешься. Такие, как Сысой Сизов, всего-навсего тени, исчезающие в полдень.

У генерала Мочалова была привычка: если в его кабинет набивалось сразу несколько человек, он выходил из-

за стола и выслушивал всех стоя, причем в первую очередь тех, кого хотел как можно меньше задерживать. Так было и в этот день. Придя на службу, генерал обнаружил, что в приемной его ожидают уже четверо: полковник Иванников, капитан Кольский, начальник сурдокамеры Рябцев и лаборантка Соня.

— Здравствуйте, товарищи, — бодро окликнул их Мочалов, чувствовавший себя необыкновенно свежим в это утро. — Догадываюсь, что вы все ко мне. Проходите.

В кабинете он снял летную фуражку, поправил расческой волосы, хотя в этом не было никакой необходимости. Потом положил тонкую рабочую папку на стол и обернулся к вошедшим. Сразу же определил, что сначала выслушает работников сурдокамеры, — по его мнению, они должны были оказаться самыми кратковременными посетителями. Затем займется комендантом гарнизона и последним предоставит слово начальнику штаба, у которого, должно быть, к нему дел побольше, чем у других. Распланировав все подобным образом, Мочалов уже готовился обратиться к Рябцеву, как вдруг дверь отворилась, и голос пятого посетителя громко прозвучал с порога:

— Разрешите войти, Сергей Степанович?

Глаза генерала, ясные еще минуту назад, смотрели удивленно.

— Иван Михалыч?! — вскричал он. — Собственной персоной. А как же Черное море и те самые двенадцать градусов воды, при которых вы рискуете плавать?

— А-а, ерунда, — засмеялся весело Дробышев и крепко пожал ему руку. — Надеюсь, что в первой декаде июня этих градусов будет уже не двенадцать, а пятнадцать. Вы долго будете заняты?

Мочалов по веселому виду майора уже понял, что тот прибыл с какой-то доброй новостью и что новость эта касается «костровского дела», как он про себя и в разговоре с Нелидовым называл бумагу, касавшуюся космонавта.

— Вы не уходите, Иван Михалыч, — поднял руку Мочалов, — я быстро с товарищами разрешу все вопросы. Посидите.

Пришлось Дробышеву, сидя на диване, выслушивать все дела и просьбы, с которыми явились в это утро к генералу три офицера и лаборантка Сонечка. Мочалов был верен слову. В какие-нибудь двадцать минут он разре-

шил все неувязки и осложнения, подписал все бумаги, а Иванникову, пытавшемуся завести длинный разговор о методических неточностях в планировании тренировочных полетов, просто и вразумительно внушил:

— Подработайте этот вопрос получше, Прохор Кузьмич. И докладную коротенькую набросайте. Мы потом с участием инструкторов и космонавтов обсудим.

И они остались одни. Пристально смотрели друг на друга.

— Не томи, Иван Михалыч, — сказал наконец генерал. — Письмо проверил?

— Проверил, — улыбнулся Дробышев.

— И!..

— Вот, посмотрите. — Он расстегнул «молнию» на своей желтой рабочей папке и достал продолговатую открытку, на глянцевой поверхности которой виднелись наклонные, явно увеличенные при фотографировании буквы.

— Что это такое? — нетерпеливо воскликнул генерал.

— Фоторепродукция с подлинного текста.

Генерал двумя пальцами взял открытку за белое поле, отодвинул ее от себя и, чуть сузив глаза, шевеля губами, стал читать, произнося одни слова вслух, другие про себя. Когда он дошел до последней фразы, голос его дрогнул, и эту фразу он прочел полностью и очень громко:

— «Воспитайте сына Володю и расскажите ему обо мне. Костров». Что это, Иван Михалыч?

— Фотоснимок с подлинника той записки, которую за несколько минут до своей гибели в окопе написал отец нашего космонавта подпольщик Павел Федорович Костров по кличке Агроном.

— Позволь... ничего не понимаю, — растерялся Мочалов, — а как же та бумага? Из поселкового Совета?

— Та бумага была написана грязными руками кулацкого подонка.

В кабинет генерала торопливыми шагами вошел полковник Нелидов. Он с порога расслышал последнюю фразу и даже поздороваться с майором позабыл.

— Иван Михалыч! — воскликнул он вместо приветствия. — Значит, все разъяснилось?

— Разъяснилось, Павел Иванович, — за майора ответил радостный Мочалов, — только он подробности еще не изложил, наш черноморский курортник.

— А мы их потребуем! — засмеялся Нелидов.

— Подождите, Павел Иванович, — взмолился Дробышев, — если вопрос ставится таким образом, надо и самого Кострова позвать.

Володю нашли где-то в коридорах учебного корпуса. Он готовился заниматься в классе астрономии, но еще не успел разложить книги. Пришел с тяжелым портфелем, набитым учебными пособиями. С Дробышевым поздоровался запросто и, не скрывая любопытства, спросил:

— А я думал, вы, Иван Михалыч, в каком-нибудь солярии блаженствуете... и вдруг здесь.

— Садитесь, Владимир Павлович, — мягко заговорил генерал, — предстоит очень серьезная и, прямо скажу, трудная беседа.

— За последнее время я уже привык к таким предисловиям, — напряженно улыбнулся майор.

Мочалов положил руку ему на плечо, и этот жест подействовал на офицера успокаивающе.

— Тем не менее у космонавта всегда должны быть крепкие нервы, — шутливо заметил он. — Разговор, повторяю, будет очень серьезным. Начнет и закончит его Иван Михалыч.

Костров, недоумевая, опустился в мягкое кресло, поставил себе на колени тяжелый черный портфель и положил на него ладони. Дробышев достал из рабочей папки листок со штампом далекого от Москвы поселкового Совета.

— Сначала вот это...

Быстрые черные глаза Кострова промчались по тексту, но то, что было заключено в корявых строчках, не сразу дошло до сознания. Второй раз он читал уже медленнее, взвешивая и обдумывая каждое слово.

— Но позвольте, — произнес он, тяжело дыша, — здесь на штампе стоит число... почему же мне две недели не давали читать это письмо? — Обеими ладонями он провел по своему сразу осунувшемуся лицу.

— Потому что надо было проверить, Володя, — тихо и просто сказал Дробышев, — а проверка обнаружила вот что... — Иван Михалыч передал Кострову фоторепродукцию предсмертной записки его отца. — Здесь одна правда.

Когда горе наваливается на человека, оно побеждает его не сразу, а так же медленно, как сильный мороз, проникающий через теплую одежду. После того как Дробы-

шев подробно рассказал о своей поездке, о Рындине и деревне Ольховка, а потом проиграл на магнитофоне пленку с голосом деда Телеги, Володя окончательно поник. Далекие горестные воспоминания задавили тяжелой болью, и заметивший это Нелидов душевно посоветовал:

— Ты только не очень, Володя... дело это давнее. Ты же еще с сорок первого привык к тому, что отца нет в живых.

Костров поднял тоскою сведенные глаза, попробовал улыбнуться, но вышла улыбка жалкой и ненужной. Тогда он попытался прикрыться, как щитом, шуткой:

— Так я же все-таки космонавт.

Но и это не получилось. Люди, видевшие его лицо, все понимали. В минуту не переживешь такое. И он, тоже понимая это, сбивчиво сказал:

— Так я пойду. У меня самоподготовка. Да.

Ему надо было сейчас остаться одному. Только одному.

— Иди, Володя, — сказал генерал, редко обращавшийся к подчиненным на «ты».

Когда дверь за Костровым закрылась, замполит обернулся к Дробышеву:

— Слушай, Иван Михалыч, ты с ним когда-нибудь водку пил?

— С чего вы это? — даже обиделся Дробышев. — Нет, конечно.

— Детей у него крестил?

— Тоже нет.

— А в гостях хоть раз был?

— Ну собирался, — смущенно сознался майор.

Нелидов торжественно похлопал его по крепкой спине и подмигнул генералу:

— Смотрите, Сергей Степанович. Никаких родственных и даже близких приятельских отношений не нажил с Костровым. А случилась у человека беда — и все бросил, отпуском пожертвовал, забыл и про Кавказское побережье, и про двенадцать градусов воды и выручать помчался. Вот как рождаются новые отношения.

— Ну, вот еще, — грубовато возразил Дробышев, — вы еще беседу с личным составом на эту тему проведите, Павел Иваныч.

— Беседу — не знаю, — вставил генерал, — а вот походатайствовать перед вашим начальством, чтобы эту по-

ездку считали командировкой и восстановили пропавший срок отпуска, это мы сделаем.

Потом они, все трое, подошли к широкому окну. Увидели на пустынной скамейке одиноко сидящего человека, черный портфель на его коленях. Поставив на него локти, человек ладонями подпирал тяжелую голову и глядел себе под ноги так, чтобы ни один случайный прохожий не мог увидеть его глаза.

— Плачет, — сочувствующе сказал Мочалов.

Две недели Алеша Горелов усиленно занимался тренировками. Термокамера сменялась качелями Хилова и крутящимися креслами, спортивные снаряды «бегущей дорожкой» или учебными полетами. Еще один раз свозили его на центрифугу, и опять строгая Зара Мамедовна улыбкой проводила его, как победителя двенадцати Ж.

Вспоминая ночной разговор с генералом Мочаловым, Горелов ликовал. Обещание командира отряда включить его в число дублеров будило энергию и уверенность. Он и по дорожкам городка космонавтов ходил уже не робко и скромно, как это было совсем недавно, когда первому встречному коллеге Алеша безропотно уступал дорогу, а смелой пружинистой походкой убежденного в своих возможностях человека. Значит, если он даже и не полетит в этом году в кабине космического корабля, то все равно увидит своими глазами космодром, стартовую площадку и огромную ракету — она в сиянии белого пламени унесет к звездам кого-то из его друзей. С космодрома он обязательно привезет горсточку сухой жаркой земли, с которой стартовали все его предшественники.

Друзья его в эти дни много и горячо говорили о предстоящем полете, каким он, по их мнению, будет, какие корабли придется изучать, а главное, сколько еще ждать им.

— Вы не унывайте, — рассуждал добрый покладистый Виталий Карпов, — что нам стоит потерять годок-другой, ведь у нас в запасе вечность.

— Да, вечность, — скептически тянул Игорь Дремов. — Вы, ребята, не забывайте, что на нынешних скоростях к звезде Проксима, что прописана на жилплощади созвездия Центавр, лететь ни мало ни много как шестьдесят шесть тысяч лет.

— А зачем нам в этакую даль забираться? — басил Олег Локтев. — Нам бы к старушке Луне хотя бы на свидание попасть... Да на плазменных двигателях, чтобы понадежнее да поскорее.

— У тебя, Олег, даже мысли тяжеловесные, — вставлял Андрей Субботин. — Вот у Жени Светловой и то фантазии больше, даже она выше тебя рвется — о Марсе мечтает. Только Рогов не пустит. Он марсиан боится. Они мужики сурьезные, воинственные, того и гляди, покорят ее сердечко. А вот чего наш Алеша Горелов молчит, понять не могу? Хитер волжский мужичок. Небось в этом году нас всех обойти мечтает.

— Да что вы, ребята, — пунцовел Горелов, — я считаю, что в этом году должен бы наш парторг Сережа Ножиков стартовать.

— Это и мы знаем, — хмуро останавливал его Субботин, — да как же он может стартовать? Ты, что ли, ему свои ноги отдашь?

— И отдал бы, если бы мог, — стоял на своем Алеша.

— Нет, нет, — допытывался настойчивый Андрей, — лучше скажи, когда сам полететь бы хотел?

— Когда прикажут, — уклончиво отвечал Горелов и отходил от своих коллег. Ему было неловко оттого, что слово, данное генералу Мочалову, лишает его возможности поведать о той ночной беседе, но тут же он думал: «Вот ахнут, когда услышат, что еду дублером». Он знал, что так думать нехорошо, но гордость пощипывала, просилась наружу, и Алеша ей уступал. Мечтать о ближайшем будущем было приятно. Мысленно он уже задумывался над более практическими вопросами: сколько человек полетит в корабле, понадобятся скафандры или нет, пошлют ли его вторым пилотом или только дублером. Думал, как ахнут в Верхневолжске и в Соболевке, если по всем радиостанциям мира назовут его фамилию, и как будет важно трогать свои усы огромный полковник Ефимков и всем повторять: «Это же мой кадр. Соболевка плохих не дает!»

С каждым днем разговоры об этом возникали все чаще и чаще. Алеша думал о том торжественном часе, когда узаконят его положение кандидата и скажут об этом всем космонавтам. Ему казалось, что это будет сделано как-то особенно торжественно и необычно, и, когда всем им сообщили, что после окончания занятий ровно

в семнадцать ноль-ноль космонавтов вызывает на совещание генерал Мочалов, он не придал этому ровным счетом никакого значения. Несколько позднее передали, что генерал задерживается на аэродроме, и совещание, назначенное на семнадцать, переносится на двадцать ноль-ноль.

Июньский вечер разбросал уже густые тени, и они постепенно сливались в теплые сумерки, когда Алеша Горелов вышел из подъезда. Разгоряченный за день асфальт стыл под ногами. В клубе заканчивался сеанс. Шел старый фильм «Александр Невский», и Черкасов — Невский хриплым голосом утверждал на весь гарнизон: «А кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет».

— На том стояла и стоять будет земля русская! — опередив артиста, сказал за спиной у Алеши нагнавший его Володя Костров. — Удивляешься? Я еще с тридцать девятого года концовку эту заучил. Три раза подряд в свое время «Александра Невского» смотрел. И сынишку послал сегодня. Хорошая вещь.

Они быстро дошли до штаба. У широкой клумбы стояли две черные «Волги», но это их нисколько не удивило. Ежедневно в отряд приезжали представители с завода или ВВС, из института космической медицины. Виталий Карпов подстроился к ним в коридоре, и они втроем вошли в генеральский кабинет.

— Находите свободное место и присаживайтесь, — издали кивнул Мочалов. Только теперь Алеша кое-что начал понимать и оробело посмотрел на Кострова. Вся немногочисленная мебель в кабинете командира части была уже занята космонавтами, и им пришлось из приемной вносить для себя стулья. Горелов устроился у самых дверей и оглядел присутствующих. На венских стульях, приставленных к обеим стенам, сидели космонавты. Не было ни одного равнодушного лица. Он увидел, как нервно дрогнул мускул на худощавом лице Игоря Дремова. Виталий Карпов пощипывал усики, щурился, Олег Локтев сжал руки в тяжелые кулаки, и эти кулаки неподвижно лежали на подлокотниках кресла, — он единственный из всех сидел в кресле. Обычно насмешливо вздернутые губы Андрея Субботина были плотно сжаты. Женя Светлова (она пришла в лейтенантской форме) плотно сжала коленки под узкой короткой юбкой. Марина Бережкова сидела прямая как свеча, отстранясь спиной от стула.

Все виды света — и обе люстры, и бра, и настольная лампа — горели в кабинете. За столом по одну сторону от генерала сидели начштаба Иванников и замполит Нелидов, а по другую — Юрий Гагарин и генерал-лейтенант авиации Каманин. Горелов несколько раз видел Каманина в гарнизоне, однажды был ему представлен. Он сразу проникся уважением к этому неторопливому в движениях генералу, лицо которого знал по портретам еще с детских лет. Он тотчас же подумал: «Если приехал Каманин и здесь же Гагарин, значит, это вовсе не обычное совещание». Оглянулся на Кострова. У Володи было спокойное обычное лицо и глаза из-под темных бровей смотрели даже весело. Перехватив взгляд Горелова, он едва заметно ему подмигнул, что означало: «сиди, ожидай». Алеша не удержался от взволнованного вздоха. Значит, сейчас... сейчас пойдет речь об этом. О полете нынешнего года. Он почувствовал необычную сухость во рту.

Генерал Мочалов встал и, сдерживая торжественную улыбку, обратился к Каманину:

— Видите, как нас много, Николай Петрович. С такими ребятами кое-что можно сделать и на земле и в космосе. Разрешите начинать?

Серьезное лицо Каманина осветилось улыбкой, и он слегка наклонил голову:

— Пожалуйста, Сергей Степанович. Прошу вас.

— Товарищи летчики-космонавты, — заговорил Мочалов, и голос против его желания взлетел на высокую ноту. Видимо, генерал решил, что такая патетика не очень к месту, потому что сделал паузу и повторил снова, уже более спокойно: — Товарищи летчики-космонавты. Сегодня мы оторвали в наших календарях пятнадцатый листок июня. Этот день принес всем нам огромную радость. Сегодня, пятнадцатого июня, утвержден приказ об отборе на государственную комиссию летчиков-космонавтов из нашего отряда для совершения очередного космического полета, намеченного на летнее время нынешнего года.

У Горелова остановилось дыхание. Никогда еще в жизни не призывал он на помощь с такой силой всю выдержку и волю, чтобы подавить волнение. «Сейчас... сейчас», — стучало в висках. «Сейчас... сейчас», — замирало сердце. А другой холодный рассудительный голос жестко останавливал: «Какой же ты космонавт, если не можешь себя сдержать и выдаешь волнение? А как же там, на

орбите?» Но снова билось в мозгу короткое и громкое «сейчас, сейчас».

Генерал Мочалов взял очки, которые надевал только в торжественных случаях.

— Товарищи летчики-космонавты. Приказом Министра обороны от пятнадцатого июня кандидатами на космический орбитальный полет от нашего отряда утверждается экипаж в составе первого пилота летчика-космонавта майора Владимира Павловича Кострова, второго пилота летчика-космонавта майора Андрея Игнатьевича Субботина.

«Значит, меня не вторым пилотом, — быстро билась Алешина мысль, — значит, в дублеры... Все равно превосходно. Сейчас, сейчас».

— Дублерами космического экипажа назначаются, — продолжал Мочалов, — первым дублером майор летчик-космонавт Игорь Степанович Дремов, вторым летчик-космонавт капитан Виталий Игнатьевич Карпов.

Алеша не выдержал и, не совладав с собою, привстал.

Мочалов строго посмотрел на него поверх стекол очков:

— Вы хотели что-то сказать, товарищ старший лейтенант?

Алеша запнулся и покраснел, почувствовав на себе колкие взгляды товарищей. И тогда, вместо того чтобы садиться, он выпрямился во весь рост, смело и свободно, словно сбросил с себя тяжелую ношу:

— Да, товарищ генерал. Я хотел от души поздравить всех моих товарищей.

Генерал широко улыбнулся:

— А что? Ведь он прав. Присоединимся к нему, товарищи?

И в кабинете возникли громкие аплодисменты. Возвращаясь после собрания домой, Горелов отстал от веселой ватаги своих друзей. Теплая летняя ночь висела над городком. От легкого ветерка испуганно трепетала листва на березках. В небе веселыми табунками бродили звезды. Алеша уже научился различать многие созвездия и отдельные светила в их пестро-голубой, непонятной для непосвященного хаотической массе. Запрокинув голову, он смотрел в темное небо и думал о том, что и сейчас в их сгущенной толчее нет-нет да и проносятся таким же голубым светом мерцающие тела, созданные из металла

нашими конструкторами и рабочими, только называют их спутниками. Пройдут дни — и к этим передвигающимся по небу точкам прибавится еще одна, в которой полетят его друзья Володя Костров и Андрей Субботин. А он снова останется на земле, потому что звезды еще не близко. И нельзя к ним идти, не освободившись от груза самоуверенности, не подготовившись как следует на земле. Ночь остудила его пылающие щеки. Он уже вернулся в реальный мир и думал о своем ближайшем будущем и о тех многочисленных тренировках, которые ожидают его и завтра и послезавтра и которых еще много нужно будет перенести, прежде чем его имя назовут в таком же приказе, в каком сегодня назвали имена его друзей.

«Да. Звезды еще не близко, — вздохнул Алексей. — А значит, снова за тренировки, за учебу!»

Он шел по дорожкам засыпающего городка, жадно вдыхая лесной воздух ночи. Он знал, что путь в космос начинается с этих дорожек.

Он знал, что его час придет.

Июль 1964—июль 1965

СОДЕРЖАНИЕ

Геннадий Александрович Семенихин
КОСМОНАВТЫ ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ
М., Воениздат, 1966, 360 с.

* * *

Редактор *Н. В. Логинов*
Художественный редактор *Г. В. Гречихо*
Художник *Е. И. Селезнев*
Технический редактор *Л. Г. Репнина*
Корректор *Л. П. Миронова*

* * *

Сдано в набор 27.11.65 г.
Подписано к печати 9.3.66 г.
Г-37076.
Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$ — $11^1/_4$ печ. л =
= 18,45 усл. печ. л. 19,129 уч.-изд. л
Тираж 200 000 экз.
Изд. № 4/6312 Зак. 1205

* * *

1-я типография
Военного издательства
Министерства обороны СССР
Москва, К-6,
проезд Скворцова-Степанова, 3

Цена 77 коп.

Просим отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, К-160, Военное издательство